

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1952 ГОДУ

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

6

НОЯБРЬ — ДЕКАБРЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

МОСКВА — 1987

СОДЕРЖАНИЕ

Домашнев А. И. (Ленинград). Проблемы социальной диалектологии в трудах В. М. Жирмунского	3
--	---

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

Перельмутер И. А. (Ленинград). Семантическое определение залога	10
Красухин К. Г. (Москва). К вопросу о соотношении индоевропейского активного и среднего залога	21
Морковкин В. В. (Москва). Об объеме и содержании понятия «теоретическая лексикография»	33
Лукин М. Ф. (Донецк). К вопросу о лексико-грамматическом статусе числительных в современном русском языке	43
Мушин А. М. (Ленинград). Валентность и сочетаемость глаголов	52
Гусейнов Р. И. (Махачкала). О взаимодействии ономастологии и грамматики	65

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

Шульга М. В. (Москва). К истории восточнославянского генитива . . .	72
<u>Канделаки Т. Л.</u> Основные группировки терминологических единиц упорядоченных терминологий	84
Нитинь Д. П. (Лиепая). Местоменя в системе частей речи латышского языка	90
Чеснокова Л. Д. (Таганрог). Процесс счета и способы его выражения в современном русском языке	101
Сушинский И. И. (Москва). Коммуникативно-прагматическая категория акцентирования ее роль в вербальной коммуникации (На материале немецкого языка)	110

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Николаева М. А. (Москва). О логико-семантических работах современных французских лингвистов	121
---	-----

Рецензии

Максимов В. И. (Ленинград). Кузнецова О. Д. Актуальные процессы в говорах русского языка (Лексикализация фонетических явлений)	134
Шелихова Н. Т. (Москва). Азарх Ю. С. Словообразование и словообразование существительных в русском языке	137
Чокаев К. З. (Грозный). Сукунов Х. Х. Структурно-типологический анализ развития национально-русского двуязычия	140
Шахелишвили Б. А. (Тбилиси). Цова-тушинско-грузинско-русский словарь	142
Хузангай А. П. (Чебоксары). Корнилов Г. Е. Императивы в чувашском языке	144

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Хроникальные заметки	147
Абаев В. И. <u>Жорж Дюмезиль</u>	153
От редколлегии	156
Указатель статей, опубликованных в 1987 г.	157

РЕДКОЛЛЕГИЯ

В. Г. Гак, А. В. Десницкая, Ю. Д. Дешериев, А. И. Домашнев,
Ю. Н. Караулов, Г. А. Климов (отв. секретарь), А. Н. Кононов,
В. З. Панфилов (зам. главного редактора), Б. А. Серебrenников, Н. А. Сяусарева,
В. М. Солнцев (зам. главного редактора), Г. В. Степанов (главный редактор),
О. Н. Трубачев, Д. Н. Шмелев

Адрес редакции: 121019 Москва, Г-19, ул. Воллонка, 18/2. Институт русского языка,
редакция журнала «Вопросы языкознания». Тел. 203-00-78

Зав. редакцией И. В. Соболева

ДОМАШНЕВ А. И.

ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ДИАЛЕКТОЛОГИИ В ТРУДАХ В. М. ЖИРМУНСКОГО

Известно, что зарождение и развитие немецкой диалектологии в нашей стране неразрывно связано с деятельностью выдающегося советского германиста акад. В. М. Жирмунского. Для начального периода развития немецкой диалектологии в СССР, охватывающего 20—30 годы, характерен интерес к полевому обследованию и описанию бытовавших на территории нашей страны диалектов немецких поселенцев, проводившемуся В. М. Жирмунским и его ближайшими учениками (А. Штрём, Э. Иогансон, В. П. Погорельская, Л. Р. Зиндер, Т. В. Строева и др.). Вспоминая об этом, Л. Р. Зиндер и Т. В. Строева писали: «До середины 20-х годов интересы В. М. Жирмунского лежали в основном в области литературоведения. Путь, который привел его в языкознание, проходил через диалектологию. Начав с полевой, собирательской, описательной работы, которая позволила ему накопить огромный материал для дальнейших наблюдений, он пришел к широкому теоретическим обобщениям и не только в области диалектологии, но и языковедения вообще» [1, с. 157—158]. Уже в самый ранний период этой деятельности В. М. Жирмунского сформировались основные положения его взглядов на диалектологию, при этом значительное внимание уделялось изучению процессов смешения диалектов и проблем социальной диалектологии. Обращение к этим проблемам стимулировалось первоначально возможностью применения в уникальных условиях бытования «островных» диалектов методики немецкой лингвистической географии, представленной в капитальных трудах Ф. Вренке и Т. Фрингса, а также использования анкеты немецкого лингвистического атласа, включавшей 40 предложений (так называемые «предложения Венкера» — Wenker-Sätze), которая была дополнена В. М. Жирмунским списком из 200 слов, учитывающим местные языковые особенности. Эти исследования В. М. Жирмунского определялись также большей актуальностью для советского языкознания вопросов социальной обусловленности языка и тем благоприятным обстоятельством, что в начале 30-х годов в стенах Института речевой культуры он «тесно общался с Л. П. Якубинским, Б. А. Лариним и др., занимавшимися разными аспектами социальной лингвистики» [1, с. 159]. В связи с этим подчеркнем, что творческим продуктом деятельности В. М. Жирмунского в Институте речевой культуры явилась не только социологизация диалектологии (известно, что в этот период В. М. Жирмунский руководил Кабинетом социальной диалектологии Института), но и разработка целостной теории образования национальных языков, изложенной в его труде «Национальный язык и социальные диалекты» [2]. Как подчеркивал автор этого труда, его концепция «в основном совпадает с положениями, выдвинутыми Л. П. Якубинским в 1930 г.» [2, с. 3], что было возможно в условиях творческой атмосферы Института, которая, как отмечает А. В. Десницкая, «несом-

ненно содействовала разработке выдвинутой проблемы на разнообразном языковом материале, с выделением различных ее аспектов» [3].

Результаты обследования «островных», или поселенческих, немецких диалектов в СССР были отражены в ряде опубликованных в этот период работ. Одной из первых явилась большая статья, написанная В. М. Жирмунским совместно с А. Штремом и опубликованная в немецком ежегоднике «Teuthonista» за 1926 и 1927 гг. [4]. Уже здесь указывалось, что в результате смешения различных диалектов в новых условиях их бытования возникают ранее не свойственные этим диалектам качества и свойства. Кроме того, в статье был объяснен феномен так называемой диалектографической иллюзии. Речь идет о явлении, при котором смешанный переселенческий говор по своей форме (составу структуры и субстанции) может совпасть с диалектом, локализующимся на основной территории распространения немецкого языка, тогда как на самом деле компоненты этих совпадающих образований различны. В связи с этим В. М. Жирмунский подчеркивал значение вопросов социальной истории языка и, в частности, роль точных исторических сведений, опираясь на которые «можно установить особенности функционирования сложного механизма образования смешанных говоров» [5, с. 507].

Особенно важное теоретическое значение имели две работы В. М. Жирмунского, относящиеся к этому первому периоду его деятельности в области диалектологии, а именно «Проблемы переселенческой диалектологии» [5] и «История языка и колониальные диалекты» [6], изданная в Германии. В этих трудах получили научное обобщение итоги широких диалектологических изысканий автора и были выдвинуты основные положения из области «островной» и общей диалектологии, сохраняющие свое значение для языковедения по настоящее время.

Успешному проведению В. М. Жирмунским всей программы диалектологических исследований этого периода способствовали его научные командировки в лингвистические центры Германии в 1925, 1927 и 1929 гг., которые он использовал для ознакомления с методикой исследования в области диалектологии, а также для обработки собранных в научных диалектологических экспедициях в СССР языковых материалов и для обмена опытом работы. После этих поездок он писал: «Я работал в Центральном диалектологическом институте в Марбурге и в Центральном архиве немецкой народной песни во Фрейбурге и посетил большинство провинциальных центров, в которых ведется работа по составлению диалектологических словарей и собиранию фольклорного материала: Бонн (Институт исторического краеведения и Рейнский словарь), Марбург (Гессен-Нассауский словарь), Гессен (Южногессенский словарь), Кайзерслаутерн (Пфальцский словарь), Фрейбург (Баденский словарь), Лейпциг (Саксонский словарь), Кенигсберг (Прусский словарь и Фольклорный архив). Кроме того, в качестве докладчика на Съезде фольклористов в Берлине (1929) я имел возможность присутствовать на заседании комиссии по организации Этнографического атласа Германии, на котором сообщались результаты пробной анкеты этого атласа, и познакомился с работой нового Этнографического института (Zentralstelle des Volkskundeatlas), где разрабатываются материалы этнографических анкет и подготавливаются карты будущего атласа» [7, с. 425—426].

Конечно, предпринятые поездки в диалектологические центры Германии имели большое значение для научных исследований В. М. Жирмунского. Однако, по нашему убеждению, при этом менее всего речь шла о своего рода «импорте» научных идей. Напротив, здесь имел место, если

оставаться в сфере избранной образности, научный экспорт, демонстрация высокого уровня отечественного языкознания. Об этом свидетельствует то обстоятельство, что труды В. М. Жирмунского по вопросам диалектологии были опубликованы в Германии либо до очередных поездок, либо вскоре после них, и многие важные теоретические понятия и положения вошли с тех пор в научный обиход немецких исследователей (ср., например, понятие смешанных диалектов и диалектографической иллюзии, а также понятие первичных и вторичных признаков диалекта, ставшее опорным при установлении механизма языковых изменений во взаимодействующих диалектах). Этот тезис требует более полного изложения. Одним из важнейших направлений в изучении диалектов в Германии 20-х годов было так называемое лингвогеографическое направление, в центре внимания которого стояло горизонтально-пространственное членение диалектов. При этом первоначально исследовались звуковые и морфологические признаки диалектов, а позднее методика изучения пополнилась так называемой словарной географией (ср., с одной стороны, звуковой атлас Венкер-Вреде, ориентированный на словарные границы, а с другой — словарный атлас Мицка). Лишь постепенно в диалектологии, прежде всего благодаря усилиям Т. Фрингса, при определении границ диалектов стали учитываться и социальные факторы: политическая и религиозная история ареала, история заселения, история становления хозяйства, т. е. все то, что было названо исторической географией культуры (*historische Kulturgeographie*). Проблема так называемого третьего (социального) измерения, наряду с факторами времени и пространства, была выдвинута значительно позднее, уже в послевоенное время, главным образом в недрах лейпцигской школы Т. Фрингса (П. Поленц, Р. Гроссе, В. Флейшер, Г. Бельман и др.), хотя, как отмечал В. М. Жирмунский, исследователи немецких диалектов «издавна должны были обратить внимание на их социальную дифференциацию» [8, 25]. Между тем сам В. М. Жирмунский еще в работе, опубликованной в 1932 г., говорил о необходимости применения принципа социологической интерпретации к явлениям диалектологии [7, с. 424—425]. Когда впервые читаешь эти выводы, может сложиться впечатление, что речь идет об оценке исследовательской практики немецких диалектологов, с которой В. М. Жирмунский познакомился по их трудам и впечатлениям, полученным во время пребывания в Германии. На самом же деле В. М. Жирмунский определяет свое понимание этих проблем и свое отношение к исследовательским задачам в области диалектологии. Так, приведя сформулированное немецкими диалектологами положение о том, что современные диалектологические границы в большинстве случаев совпадают с границами средневековых феодальных территорий, он подчеркивает: «Этот вывод требует обоснования с точки зрения социальной диалектологии» [7, 424]. Далее В. М. Жирмунский говорит о положении местных диалектов в эпоху сложения общепотребительного языка и излагает в сжатой форме основные тезисы, которые в его более поздней работе [2] были развернуты в концепцию национального языка. Таким образом, мы можем заключить, что разрабатывавшаяся в трудах В. М. Жирмунского немецкая диалектология с первых шагов имела социологическую направленность, она с самого начала была социальной.

Исследуя диалекты немецких поселенцев в нашей стране, В. М. Жирмунский стремился раскрыть механизм процессов языковой эволюции с тем, чтобы выводы из его наблюдений над современными говорами могли послужить основанием для заключений относительно аналогичных процессов в диалектах далекого прошлого. Он писал: «Изучение говоров по-

селенцев представляет для лингвистики большой интерес не только с фактической стороны — как описание говоров, до сих пор почти не исследованных, но также и с точки зрения принципиальной, методологической: изолированные среди иноязычного населения немецкие поселения являются как бы экспериментальной лингвистической лабораторией, в которой на протяжении сравнительно краткого промежутка времени в 100—150 лет в обстановке, удобной для наблюдения, совершались языковые процессы, обычно развертывающиеся на протяжении целых столетий. Методологическое значение изучения поселенческих говоров становится особенно очевидным с точки зрения теоретических принципов современной диалектографии...» [5, 402].

В. М. Жирмунскому удалось установить закон отмирания первичных, т. е. наиболее резких и характерных, диалектных признаков, и сохранения вторичных, т. е. наименее резких и заметных, признаков. Действие этого закона проявляется как при смещении диалектов, так и при столкновении диалектов с литературным языком. В последнем случае в качестве фактора, определяющего результат изменения, выступает литературный язык. Первичные признаки, резко противостоящие литературной норме, устраняются, в то время как вторичные, менее явно осознаваемые носителями, в диалекте удерживаются. Иные закономерности, как показал В. М. Жирмунский, выявляются при образовании междиалектных койне (Gemeinsprache) в районах немецких поселений в СССР, где фактором, определяющим направление смещения, оказались признаки, общие для взаимодействующих говоров. Позже этот закон был использован В. М. Жирмунским при изучении исторически более отдаленных случаев диалектного смещения, которые не могут быть предметом непосредственного наблюдения. Здесь выдвигается и обосновывается принципиально новое положение, согласно которому и в смешанных говорах более раннего происхождения, какими являются восточносреднемецкие говоры Верхней Саксонии, Тюрингии и прилегающих областей Германии, сложившиеся в условиях колониального смещения, составляющие их элементы представлены по преимуществу своими вторичными признаками. Развивая эту линию анализа, В. М. Жирмунский подчеркивает, что сказанное о смешанных колониальных говорах применимо в широком смысле ко всем диалектам вообще, и показывает это на примере верхненемецких влияний на нижненемецкой почве [8]. Разработанная В. М. Жирмунским концепция развития восточносреднемецких говоров имела большую объяснительную силу при изучении причин и условий, в соответствии с которыми происходило формирование немецкого национального литературного языка [9].

Общетеоретическое значение исследований В. М. Жирмунского в области смещения диалектов состоит прежде всего в том, что они явились, по сути дела, первыми научными разработками проблем контактирования и интерференции языковых систем на уровне диалектов. Новым этапом в развитии идей и принципов социальной диалектологии было опубликование труда В. М. Жирмунского «Национальный язык и социальные диалекты», в котором впервые не только в советской германистике, а в науке в целом намечаются пути становления немецкого национального литературного языка, показаны роль и функции различных социально-функциональных типов языка, признаков совокупной структуре языка нации (диалекты, полудиалекты, разговорная форма литературного языка), а также взаимоотношения тех или иных форм существования языка и отдельных социально-классовых групп общества. Оценивая значение этой

своей работы с позиций современного уровня развития языкознания. В. М. Жирмунский в докладе на юбилейной сессии Отделения литературы и языка АН СССР, посвященной 50-летию Великой Октябрьской социалистической революции (19—20 октября 1967 г.), с редкой для других ученых самокритичностью говорил: «В довоенных работах по социальной диалектологии, в частности и в моей книге „Национальный язык и социальные диалекты“, принято было слишком прямолинейное, механическое приурочение этих слоев, или „уровней“, общенародного языка к общественным классам: „собственно диалект“ рассматривался как язык крестьянства („деревни“), полудиалект — как язык городского мещанства (мелкой буржуазии), разговорная форма литературного языка — как средство общения господствующих классов („образованных“). Хотя это деление и отражает в очень упрощенной и потому искаженной форме какой-то подлинный аспект общественной действительности, однако в настоящее время ясно, что оно не учитывало реальной сложности социального функционирования языка в условиях взаимодействия местных диалектов и складывающейся или уже сложившейся письменной и устной национальной нормы» [10, с. 22].

На исходе 30-х годов заканчивается, по существу, первый период в развитии немецкой диалектологии в СССР, связанный первоначально и в основном с обследованием немецких переселенческих диалектов, на основе чего, и прежде всего в трудах В. М. Жирмунского, складывалась советская социальная диалектология, а также получила свое развитие теория формирования национального литературного языка и концепция строения или совокупной структуры языка эпохи нации.

Начало второго периода в развитии немецкой диалектологии в СССР относится к 50-м годам, когда на передний план выдвигается задача систематизации, обобщения, теоретического осмысления монографических описаний немецких говоров и построения сравнительно-исторической фонетики и морфологии немецких диалектов. Для этого периода характерен широкий интерес к проблеме взаимоотношения диалектов с литературным языком, к процессам становления не только немецкого, но и ряда других германских национальных литературных языков (английский, нидерландский). Именно в это время были опубликованы такие уникальные научные труды, как двухтомная монография М. М. Гухман [11], работы В. Н. Ярцевой [12], С. А. Миронова [13]. В конце 60-х годов была опубликована книга В. Н. Ярцевой [14], явившаяся первым в советской германистике монографическим описанием процессов формирования английского языка. В эти же годы вышла в свет работа Н. Н. Семенюк [15], в основе которой лежит анализ обширных материалов немецких диалектов и других форм существования языка, оказавших влияние на процессы нормализации немецкого литературного языка. Большой интерес в теоретическом плане вызвала монография А. В. Десницкой [16], навеянная проблематикой структуры речи, разрабатывавшейся на материале германских языков и диалектов. Позднее, уже в 80-е годы, был опубликован коллективный труд [17], выполненный под руководством М. М. Гухман, а также другие книги [18, 19]. Вышла в свет также книга С. А. Миронова [20]. Все это, как мы видим, было потом, а начиналось основополагающими трудами В. М. Жирмунского, опубликованными в далекие 20—30-е годы. Ведущая роль и в этот второй период развития немецкой диалектологии как науки по-прежнему принадлежала В. М. Жирмунскому.

Плодом многолетних исследований В. М. Жирмунского, начало которых приходится на 20-е годы, является его фундаментальный обобщающий

труд «Немецкая диалектология» [21], удостоенный академической премии и получивший высокую оценку не только в советском языковедении, но и нашедший широкое международное научное признание. В 1962 г. эта монография В. М. Жирмунского была опубликована на немецком языке в ГДР [22]. Книга представляет собой первую сравнительно-историческую грамматику немецких диалектов, в которой на основе детального сопоставительного анализа раскрываются важнейшие закономерности развития их фонетического и грамматического строя. В. М. Жирмунский уделяет самое пристальное внимание вопросам методики и методологии диалектологического исследования. Показывая достижения немецкой диалектологической школы, он дает также критический анализ ее недостатков, главным из которых является одностороннее увлечение проблемами лингвистической географии, для которой характерна фетишизация методики изоглосс, неизбежно приводившая исследователей к изолированному рассмотрению отдельных языковых явлений вне связи с общей фонетической и грамматической системой диалекта [23].

Внимание к социологическим аспектам бытования диалектов и языка в целом проявилось и в этом труде, казалось бы специально посвященном внутрисистемному анализу немецких диалектов. В. М. Жирмунский исследует здесь положение диалектов внутри совокупной структуры языка эпохи нации и, в частности, отмечает: «С лингвистической точки зрения этот процесс, предполагающий длительный период взаимодействия между диалектом и национальной нормой языка, совершается путем последовательного вытеснения из диалекта, как родного языка говорящего, местных отклонений от этой нормы, могущих в большей или меньшей степени служить препятствием или затруднением для речевого общения, начиная с наиболее резких и заметных, которые я назвал бы „первичными признаками“ диалекта. Остаются как местные особенности менее значительные отклонения от нормы — „вторичные признаки“» [21, с. 27—28]. Далее он подчеркивает, что там, где между местным диалектом и национальным языком наличествуют очень значительные расхождения, между ними в результате этого взаимодействия образуется ряд переходных ступеней, называемых в германистике «полудиалектом» (Halbmundart). Эта, относительно поздняя форма существования языка складывается, как правило, в городах, а потому нередко (в частности, и В. М. Жирмунским) относится к городским полудиалектам. В заключительной части своей монографии В. М. Жирмунский по этому поводу говорит: «Изучение городских полудиалектов представляет одну из важнейших очередных задач немецкой диалектологии, поскольку именно эта форма существования местных диалектов определяет путь их поглощения национальным языком» [21, с. 574]. Говоря об исторической предначертанности развития диалектов в условиях дальнейшего утверждения национального литературного языка, В. М. Жирмунский заключает: «Таким образом, лишь всестороннее историческое изучение всех последовательных этапов языкового развития от местных диалектов через полудиалекты к необходимым формам литературного языка, еще сохранившим местные особенности, может дать исчерпывающую картину процесса поглощения диалектов национальным языком» [21, с. 577].

Окидывая взглядом теоретическое наследие в области диалектологии, оставленное В. М. Жирмунским отечественной и мировой языковедческой науке, трудно провести разделительную линию в его творчестве, чтобы сказать, что сначала он был просто диалектологом, а затем стал социолингвистом. В. М. Жирмунский создавал и развивал диалектологию всегда

как социологическую лингвистическую науку. Сам он высказал свое понимание диалектологии следующими словами: «...традиционное деление диалектов на территориальные и социальные в сущности является мнимым, ... всякая территориальная диалектология в соответствии с самой языковой действительностью должна быть и диалектологией социальной» [10, с. 23].

ЛИТЕРАТУРА

1. Зиндер Л. Р., Строева Т. В. В. М. Жирмунский как полевой диалектолог // Проблемы ареальных контактов и социолингвистики. Л., 1978.
2. Жирмунский В. М. Национальный язык и социальные диалекты. Л., 1936.
3. Десницкая А. В. Как создавалась теория национального языка (Из истории советского языкознания) // Современные проблемы литературоведения и языкознания М., 1974. С. 415.
4. Ströt A., Schirmunski V. Deutsche Mundarten an der Newa // Teuthonista. 1926—1927. Bd. 3. S. 39—62, 153—165.
5. Жирмунский В. М. Проблемы переселенческой диалектологии // Жирмунский В. М. Общее и германское языкознание. Л., 1976.
6. Schirmunski V. M. Sprachgeschichte und Siedlungsmundarten // Germanisch-romanische Monatsschrift. 1930. Jg. 18. Hf. 3—4. S. 113—122; Hf. 5—6. S. 174—188.
7. Жирмунский В. М. Методика социальной географии (Диалектология и фольклор в свете географического исследования) // Жирмунский В. М. Общее и германское языкознание. Л., 1976.
8. Жирмунский В. М. Восточносреднемецкие говоры и проблема смешения диалектов // Жирмунский В. М. Общее и германское языкознание. Л., 1976.
9. Жирмунский В. М. Проблема социальной дифференциации языков // Язык и общество. М., 1968. С. 34—35.
10. Жирмунский В. М. Марксизм и социальная лингвистика // Вопросы социальной лингвистики. Л., 1969.
11. Гужман М. М. От языка немецкой народности к немецкому национальному языку. I—II. М., 1955, 1959.
12. Ярцева В. Н. Об изменении диалектной базы английского национального литературного языка // Тр. Ин-та языкознания АН СССР. X. М., 1960.
13. Миронов С. А. Диалектная основа литературной нормы нидерландского национального языка // Тр. Ин-та языкознания АН СССР. X. М., 1960.
14. Ярцева В. Н. Развитие национального литературного английского языка. М., 1969.
15. Семенюк Н. Н. Проблемы формирования нормы немецкого литературного языка. М., 1967.
16. Десницкая А. В. Наддиалектные формы устной речи и их роль в истории языка. Л., 1970.
17. Типы наддиалектных форм языка. М., 1981.
18. Гужман М. М., Семенюк Н. Н. История немецкого литературного языка IX—XV вв. М., 1983.
19. Гужман М. М., Семенюк Н. Н., Бабенко Н. С. История немецкого литературного языка XVI—XVIII вв. М., 1984.
20. Миронов С. А. История нидерландского литературного языка (IX—XVI). М., 1986.
21. Жирмунский В. М. Немецкая диалектология. М.—Л., 1956.
22. Schirmunski V. M. Deutsche Mundartkunde. Berlin, 1962.
23. Филичева Н. И. Диалектология современного немецкого языка. М., 1983. С. 29—30.

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

ПЕРЕЛЬМУТЕР Н. А.

СЕМАНТИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАЛОГА

Вопросы, связанные с разграничениями в сфере залоговой семантики, с выделением отдельных залоговых значений, принадлежат в языкознании к числу остро дискуссионных. Традиционные способы описания различных функций косвенно-залоговых форм глагола в конкретных языках навлекли на себя справедливые упреки в произвольности и субъективизме. Отдельные значения форм косвенного залога часто выделяются по разным основаниям [1], отсутствует четкость и однородность деления, непоследовательное семантическое дробление [2, с. 26] оказывается несовместимым с предельностью, конечностью решения [2, с. 26] в сфере залоговой семантики. В настоящее время назрела необходимость выработки непротиворечивых критериев, которые позволили бы адекватно определить сущность залоговых значений. Установлению таких критериев и посвящена настоящая статья.

Наличие грамматической категории залога в системе глагола признается по отношению к самым различным и.е. языкам. В и.е. языках представлены специальные показатели и особые формы, традиционно рассматриваемые в качестве показателей и форм косвенного залога. Вместе с тем не подлежит сомнению и тот факт, что во многих случаях формы косвенного залога не отличаются по своему залоговому значению от исходных немаркированных форм глагола, далеко не всегда оппозиции залоговых форм соответствует семантическое противопоставление залогового характера. По отношению к русскому языку факт этот был уже давно отмечен выдающимися отечественными лингвистами — А. А. Шахматовым и В. В. Виноградовым. Так, у А. А. Шахматова мы читаем: «Различные оттенки возвратного залога (речь идет о различных значениях глагольных форм с аффиксом -ся. — П. И.) только отчасти залоговые... Другие оттенки в сущности не залоговые, а видовые» [3]. В. В. Виноградов, подводя итог рассмотрению пятнадцати значений аффикса -ся в современном русском языке, пишет: «Система значений глаголов на -ся лишь частично связана с выражением синтаксического отношения действия к субъекту (а соотносительно с субъектом — и к объекту). С ней органически срослись и видовые различия действия, и сложные изменения и переходы лексических значений глаголов» [4].

На современном этапе изучения соответствующего круга вопросов вполне ясно, что даже самое детальное описание функционирования так называемых залоговых форм в отдельных языках не может решить проблемы залога. В первую очередь необходимо определить, что представляет собой залог в плане семантическом, какова природа залогового значения. Ситуация, в которой оказалось исследование проблем залога, породила необходимость более углубленного теоретического подхода, поисков в таких сферах, которые непосредственно не связаны с конкретной грам-

матикой того или иного языка, пути исследования, идущего не от формы к функции, а от функционально-семантического уровня к уровню формально-грамматическому. Иными словами, возникла необходимость в применении метода научной дедукции.

Особенно важную роль призван сыграть семантический анализ залоговой сферы по отношению к древним и.-е. языкам — древнегреческому, древнеиндийскому, хеттскому. В новых и.-е. языках (славянских, балтийских, германских, романских) проведение разграничений в сфере залога может в большей мере опираться на формальные критерии, т. к. в этих языках систему залоговых форм, противопоставленных активу, составляют два отчетливо различающихся между собой в формальном отношении компонента — рефлексивные (местоименные) глаголы и аналитические причастные конструкции. В древних и.-е. языках все косвенно-залоговые значения передаются единообразным путем — с помощью медиальных форм; формальные же разграничения, имеющиеся в отдельных языках видо-временной системы (например, в аористе древнегреческого глагола), связаны с семантическими различиями не прямо и непосредственно, а лишь отдаленно и непоследовательно. Поскольку формальные критерии не могут служить основой для проведения разграничений в сфере залога в древних и.-е. языках, решающая роль должна здесь принадлежать семантическому анализу. Семантическое определение залога, проведение разграничения между такими значениями, которые могут быть признаны залоговыми, и такими, которые не могут быть признаны в этом качестве, представляет бесспорный интерес и для новых и.-е. языков, как, впрочем, и для других языков.

Начнем с положений вполне общепризнанных, не являющихся объектом научных дискуссий. Никто не будет спорить с тем, что различие между конструкциями *Мастер затачивает инструмент* и *Инструмент затачивается мастером* есть различие залоговое: первая конструкция является активной, вторая — пассивной. Залоговое различие нельзя рассматривать как чисто смысловое: в плане внеязыковой семантики оба высказывания вполне тождественны друг другу, они отражают одну и ту же реальную ситуацию. С другой стороны, невозможно определить залоговое различие между двумя приведенными конструкциями, опираясь только на данные языковой формы и полностью игнорируя смысл. Тот факт, что во втором высказывании в качестве глагола-сказуемого выступает глагольная форма с аффиксом *-ся*, не является решающим; формы с *-ся* по своему залоговому значению часто не отличаются от соответствующих немаркированных форм глагола. Различие между приведенными высказываниями в плане залогового значения заключается только в том, что в первом из них подлежащее соответствует субъекту действия, но не соответствует объекту действия, а во втором — подлежащее соответствует объекту действия, но не соответствует субъекту действия. Таким образом, залоговое значение детерминировано наличием определенных соответствий между единицами синтаксического и семантического уровней [5; 6, с. 211; 7].

Попытаемся ответить на вопрос, какие именно единицы обоих указанных уровней должны быть приняты во внимание при выделении и разграничении залоговых значений. Рассмотрим этот вопрос сначала применительно к уровню семантики. Поскольку термины «субъект» и «объект» употребляются в языковедении в разнообразных значениях, в качестве семантических единиц, определяющих в соотношении с единицами синтаксического уровня залоговое значение глагола-сказуемого, целесооб-

рашно рассматривать такие понятия, как «субъект действия» и «объект действия». В подавляющем большинстве случаев пассивному преобразованию подвергаются глаголы, которые обозначают подлинные действия. сопряженные с преднамеренностью и приложением усилий. Исключения все же имеются. В некоторых случаях пассивному преобразованию подвергаются глаголы, не означающие действия в прямом смысле этого слова, в частности — глаголы со значением эмоционального состояния: *Все любят Петра.¹ Петр любим всеми.* Грамматическим субъектом глагола, подвергающегося пассивному преобразованию, могут быть обозначения стихий, сил природы. *Молния сожгла дерево / Дерево сожжено молнией.* В случаях последнего типа мы, правда, сталкиваемся со значением «приложение энергии, силы», но о намеренности, целенаправленности действия здесь говорить, разумеется, нельзя. Наличие подобных исключений не свидетельствует, на наш взгляд, о неприменимости соответствующих понятий и терминов к сфере залоговых преобразований. Необходимо учитывать, что непосредственно противостоят единицам уровня языкового выражения единицы уровня языковой семантики. При этом единицы языковой семантики, хотя и опираются в конечном счете на отражение внеязыковых реальностей, не сводятся к ним целиком. В единицах уровня языковой семантики присутствуют элементы прямого отражения внеязыковой действительности, но, наряду с ними, также элементы, порожденные фактором языковой интерпретации. С учетом этого фактора в понятие «субъект действия» включаются, наряду с подлинными производителями действия, подлинными агенсами, также квазиагенты, в реальности не являющиеся производителями действия, но уравниваемые с таковыми языковым сознанием. С соответствующими изменениями все сказанное должно быть отнесено также к понятию «объект действия».

Теперь предстоит ответить на вопрос о том, в соотношении с какими единицами синтаксического уровня выделенные выше единицы семантического уровня формируют залоговые значения. Вопрос этот далеко не новый, его изучение имеет давнюю историю. Вполне естественно поэтому, что мы вступаем здесь в область острых научных дискуссий. Наибольшее значение имеют две противостоящие друг другу точки зрения. В соответствии с одной из них, в определении залогового типа конструкции играют роль как подлежащее, так и дополнение; сторонники второй точки зрения считают определяющей для залога только функцию подлежащего. На наш взгляд, точка зрения, согласно которой на формирование залоговых значений оказывают одинаковое влияние как подлежащее, так и дополнение, может вызвать определенные возражения. Прежде всего обращает на себя внимание тот факт, что подлежащее и дополнение участвуют в формировании залоговых значений совершенно различным образом, на совершенно различных основаниях. Различия между активной конструкцией предложения, возвратной конструкцией, пассивной конструкцией связаны, с одной стороны, с функцией подлежащего, а с другой стороны — с наличием или отсутствием дополнения. Уже это показывает, что подлежащее и дополнение играют далеко не одинаковую роль в формировании залоговых значений. Более того, наличие или отсутствие дополнения в различных залоговых конструкциях выступает во многих языках как находящееся в прямой зависимости от функции подлежащего, как факт вторичный и производный, целиком определяемый функцией подлежащего. Рассмотрим конкретные залоговые конструкции: *Он великолепно защищался на судебном процессе.* Перед нами прямо-возвратное значение. Прямого дополнения при глагольной форме

защищался нет. Но отсутствие прямого дополнения при глагольной форме с прямо-возвратным значением объясняется тем, что действие не распространяется здесь ни на какой внешний по отношению к субъекту объект, поскольку оно направлено на сам субъект, — отсутствие прямого дополнения в данном случае представляет собой факт вторичный, производный, целиком определяемый функцией подлежащего в данной конструкции, соотносительностью подлежащего как с субъектом действия, так и с объектом действия. Возьмем еще один пример, на сей раз — глагольную форму со значением, которое в русской грамматической традиции принято называть средне-возвратным или обще-возвратным: *Он пробудился.*¹ Здесь также нет при глаголе прямого дополнения, а это вполне объяснимо. Ведь речь здесь идет о смене состояний, а вовсе не о действии; подлежащее в этой конструкции не соответствует субъекту действия, а там, где нет действия, не может быть и объекта действия. Следовательно, и в данном случае отсутствие прямого дополнения вторично и производно. Сходную картину мы наблюдаем и при пассивной конструкции, подлежащее которой также не обозначает субъекта действия. Если подлежащее не соответствует субъекту действия, сказуемое не может выражать действия, а при отсутствии действия не может быть и объекта действия¹. Во всех указанных случаях отсутствие прямого дополнения вторично и производно, оно целиком определяется факторами семантического порядка, а именно функцией подлежащего, соотношением подлежащего с единицами семантического уровня. В соответствии со всем этим можно дать определение залоговых значений, принимая во внимание только подлежащее в его соотношении с элементами семантического уровня, поскольку именно функция подлежащего оказывает решающее влияние на все особенности построения конструкции того или иного залога.

В пользу того, что наличие или отсутствие прямого дополнения не играет решающей роли в определении залогового значения глагола-сказуемого, можно привести некоторые дополнительные данные. Если в современных и.-е. языках, в частности в русском, наличие или отсутствие прямого дополнения определенным образом коррелирует с залоговым характером соответствующей конструкции (прямое дополнение представлено в исходной конструкции действительного залога, оно отсутствует в конструкциях с пассивным, прямо-возвратным и некоторыми другими залоговыми значениями), то в древнегреческом наличие или отсутствие дополнения в винительном падеже не находится даже в строгой корреляции с залоговыми значениями. В древнегреческом языке при конструкциях с пассивным, прямо-возвратным и некоторыми другими залоговыми значениями дополнение в винительном падеже обычно отсутствует, однако, в отличие от русского языка и других современных европейских языков, отсутствие аккузативного дополнения в древнегреческом языке не является в подобных случаях строгим, неукоснительно соблюдаемым правилом. В древнегреческом языке в синтаксической зависимости от глагольной формы с пассивным и прямо-возвратным значениями может стоять имя в форме винительного падежа, выполняющее роль дополнения.

¹ В состав пассивной конструкции может, правда, входить так называемое агентивное дополнение, но факт наличия или отсутствия так называемого агентивного дополнения не определяет собой залоговой статус конструкции. Хорошо известно, что многим языкам (в том числе и некоторым и.-е., например, латышскому [8]) трехчленные пассивные конструкции не свойственны, но и в тех языках, в которых трехчленные пассивные конструкции в принципе возможны, они встречаются все же очень редко, много реже двучленных пассивных конструкций.

Так, например, глагол φυλάσσω может выступать в значении «оберегать кого-л. или что-л. от кого-л. или чего-л.». При медиальной форме этого глагола с прямо-возвратным значением может наличествовать аккузативное дополнение, обозначающее лицо или предмет, от которого оберегают себя; медиальная форма глагола φυλάσσω с прямо-возвратным значением, сочетающаяся с дополнением в форме винительного падежа, встречается, в частности, у Эсхила (A. Pr. 715; A. Pr. 804) ² и Геродота (Hdt. 1.108). От глаголов со значением «пугать, устрашать» формы с косвенно-заложенным значением «пугаться, устрашаться» в русском языке и в других современных европейских языках выступают как интранзитивные, в древнегреческом же языке в подобных случаях медиальные формы глаголов могут управлять аккузативным дополнением, обозначающим лицо или предмет, которого страшатся. Медиальные формы глагола φοβέω «пугать, страшить», выступающие в значении «пугаться, страшиться», встречаются в сочетании с дополнением в форме винительного падежа, в частности, у Эсхила (A. Supp. 893), Софокла (S. Ph. 1250), Ксенофонта (X. Cyr. 3.1.24). Формы косвенного залога могут управлять винительным падежом дополнения и в тех случаях, когда они имеют явно выраженное пассивное значение. В текстах памятников древнегреческого языка встречаются медиальные формы с пассивным значением, управляющие дополнением в форме винительного падежа, в частности, от глагола ἀποστέρω «лишать кого-л. чего-л.»: ὁ δὲ Αἰάλης... ὑπὸ τοῦ Μιλήσιου Ἀριστάρχου ἀποστέρητο τὴν ἀρχήν (Hdt. 6.13) «Эак... был лишен (ἀποστέρητο — медиальный плюсквамперфект с пассивным значением от глагола ἀποστέρω) власти (τὴν ἀρχήν — форма винительного падежа) Аристархом из Милета». Сходным образом функционируют в древнегреческом языке также медиальные формы с пассивным значением и от некоторых других глаголов.

Рассмотренные выше случаи употребления винительного падежа в древнегреческом языке представляют собой одно из проявлений большого своеобразия функционирования аккузатива в этом языке, обнаруживают «характерные для древних индоевропейских языков более широкие возможности управления глаголов винительным падежом» [9] по сравнению с новыми и.-е. языками. «Древнегреческий язык... часто имеет конструкцию с винительным прямым дополнением в тех случаях, где в новых индоевропейских языках используются другие падежи или предложные обороты» [10]. Функционирование аккузативного дополнения в древнегреческом языке в некоторых отношениях, безусловно, отличается от функционирования дополнения в форме винительного падежа в новых и.-е. языках. Во всяком случае, приведенный материал показывает, что имеются языки, в которых косвенно-залоговые глагольные формы с прямо-возвратным значением, с пассивным значением могут сочетаться с винительным падежом дополнения. А это, в свою очередь, предоставляет еще один важный довод в пользу того воззрения, согласно которому определяющую роль в формировании залоговых значений играет подлежащее в его функционировании, а роль дополнения является вторичной и подчиненной. Вывод об определяющей роли подлежащего в формировании залоговых значений и залоговых конструкций вполне традиционен, его придерживались многие видные языковеды прошлого, с ним солидаризуются многие современные специалисты в области теоретической грамматики.

² В статье приняты следующие сокращения: A. Pr.—Aeschylus. Prometheus Vinctus; Hdt.—Herodotus. Historiae; A. Supp.—Aeschylus. Supplices; SPh.—Sophocles. Philoctetes; X. Cyr.—Xenophon. Cyropaedia.

Приведу здесь мнение лишь одного современного советского исследователя: «При определении залога необходимо и достаточно учитывать лишь отношение действия к его субъекту и глагола-сказуемого к его подлежащему» [11].

Итак, в ходе предшествующего рассуждения выделены две единицы семантического уровня — субъект действия и объект действия, и одна единица синтаксического уровня — подлежащее. Теперь можно перейти к вопросу о формирующих залоговые значения типах соотношения между единицами семантического уровня и подлежащим предложению. Вопрос этот решается по-разному. В настоящее время наиболее распространенной можно считать точку зрения, согласно которой в качестве формирующих залоговое значение типов соотношения между единицами семантического уровня и подлежащим предложению следует рассматривать только соотношение двух типов: 1) подлежащее соответствует субъекту действия, и в этом случае перед нами конструкция действительного залога; 2) подлежащее соответствует объекту действия, и в этом случае мы наблюдаем конструкцию страдательного залога. По-видимому, все же для ограничения сферы залога лишь одной оппозицией «актив/пассив» нет достаточных оснований. При активе подлежащее соответствует субъекту действия; при пассиве подлежащее соответствует объекту действия, но не соответствует субъекту действия; при возвратности подлежащее соответствует и субъекту действия, и объекту действия одновременно. Если исходить из этих данных, то трудно понять, почему многими исследователями оспаривается залоговый статус возвратности; ведь вполне очевидно, что залоговое значение возвратности может быть выделено на основе тех же признаков, посредством которых устанавливается залоговое значение актива и пассива. Некоторые исследователи настаивают на том, что глагольные формы с возвратным значением представляют собой самостоятельные лексемы, что они связаны с исходным немаркированным глаголом не словообразовательными, а словообразовательными отношениями. Так, Б. Ю. Норман пишет: «Значение возвратного глагола не выводится как сумма значений невозвратного глагола и возвратно-личного местоимения. Вся конструкция слилась в смысловое единство, образовав новое словарное значение, которое обычно далеко отходит от значения своих этимологических компонентов, в том числе — от семантики невозвратного глагола...» [2, с. 88]. При этом автор специально подчеркивает, что возвратные глаголы с собственно-возвратным значением представляют собой самостоятельные лексемы по отношению к соответствующим невозвратным глаголам, как и все прочие возвратные глаголы: «...функция возвратного элемента в собственно-возвратных глаголах та же, что и во всех возвратных глаголах: образование новой лексемы» [2, с. 100].

Нельзя полностью исключить то, что в некоторых случаях выражение собственной возвратности может быть осложнено какими-либо добавочными значениями, но наряду с этим наблюдения над множеством возвратных глаголов с собственной-возвратной семантикой показывают, что значения этих глаголов вполне сводимы к сумме значений соответствующего невозвратного глагола и местоименного показателя: на один из компонентов значения исходных составляющих не исчезает, никаких новых компонентов значения не появляется. Ср.: *Она долго причислялась (причисляла себя) перед зеркалом. / Она долго причисляла своего ребенка; Постарайся настроиться (настроить себя) на серьезный лад. / Постарайся настроить его на серьезный лад; Не казнись (не казни себя) напрасно. / Не казни меня напрасно; Ты оправдываешься (оправдываешь себя) очень*

неумело. Ты оправдываешь своего друга очень неумело; Зачем ты унижаешься (унижаешь себя)?! Зачем ты унижаешь этого ни в чем неповинного человека?

У всех приведенных глаголов и у множества других семантика возвратных форм с собственно-возвратным значением полностью сводима к сочетанию семантики исходного глагола и местоименного показателя. Возвратные и невозвратные формы глаголов, построенные в цепочку, образуют в подобных случаях вполне безупречную пропорцию, не уступающую по своей регулярности соотношению пассивных и активных форм одного глагола. Таким образом, сопоставление значений возвратных глаголов, выражающих собственную возвратность, со значениями соответствующих невозвратных глаголов не дает, на наш взгляд, основания для того, чтобы усматривать между теми и другими глаголами семантические различия лексического характера, чтобы относить эти формы к разным лексемам. В качестве важного довода против залогового, грамматического статуса возвратности часто указывают на то обстоятельство, что далеко не все глаголы, будучи маркированными в залоговом отношении, могут служить для выражения собственной возвратности, — это значение может быть придано лишь ограниченному числу глаголов. Но факт ограниченного охвата глагольной лексики прямой возвратностью не лишает ее статуса грамматического значения. «Грамматическая классификация, связанная с тем или иным категориальным значением, может охватывать лексический материал полностью или частично» [12, с. 18]. «Отдельные, грамматические категории могут быть более лексичны, чем другие, а вследствие этого их степень зависимости от значения оформляемой лексемы может быть большей» [12, с. 30]. Напомним здесь о том, что некоторые падежные значения (например, темпоральные значения родительного и винительного падежей в русском языке) также могут быть выражены лишь ограниченным числом существительных, принадлежащих к определенным лексико-семантическим группам. Тем не менее все признают эти значения падежей грамматическими, никто не пытается вывести эти значения за пределы грамматики, за пределы словоизменения и рассматривать формы, наделенные этим значением, в качестве самостоятельных лексем.

Наряду с широко распространенным взглядом на оппозицию «актив/пассив» как на единственную подлинно залоговую оппозицию, в современном языкознании представлено воззрение, согласно которому в качестве залогового надлежит рассматривать также и собственно-возвратное значение. К числу сторонников этого воззрения принадлежат и современные советские исследователи В. З. Паффилов [6, с. 214], Е. В. Падучева [13], В. Г. Гак [14].

Те лингвисты, которые рассматривают собственно-возвратное значение, наряду с активным и пассивным, в качестве залогового значения, признают также залоговый статус взаимного (взаимно-возвратного) значения. В конструкциях с взаимно-возвратным значением грамматический субъект обозначает множество лиц (или живых существ), каждое из которых совершает одно и то же действие по отношению к остальным лицам, входящим в это множество, и подвергается как объект тому же действию со стороны этих лиц. Взаимно-возвратное значение характеризуется тем же типом соотношения подлежащего с единицами семантического уровня, что и собственно-возвратное значение: подлежащее соответствует одновременно субъекту действия и объекту действия. Остается открытым вопрос о том, исчерпываются ли перечисленными залоговыми значениями

все возможные залоговые значения вообще, могут ли быть выделены какие-либо залоговые значения дополнительно к указанным выше.

Итак, в конструкции с глагольным предикатом, выступающим в значении действительного залога, подлежащее соответствует субъекту действия, но не соответствует объекту действия; в конструкции с глагольным предикатом страдательного значения подлежащее соответствует объекту действия, но не соответствует субъекту действия; в конструкции с глагольным предикатом собственно-возвратного (или взаимно-возвратного) значения подлежащее соответствует одновременно и субъекту действия, и объекту действия. Здесь рассмотрены все возможные варианты соответствия подлежащего двум единицам семантического уровня (субъекту действия и объекту действия), кроме одного. Имеется еще одна, во всяком случае — чисто теоретическая, чисто логическая возможность: подлежащее не соответствует ни субъекту действия, ни объекту действия. Естественно возникает вопрос, согласуется ли с этой возможностью, выявленной на чисто теоретическом, логическом уровне, какая-либо языковая реальность. На этот вопрос можно ответить утвердительно. Ср.: *В это утро Петр пробудился позже обыкновенного. Девотат подлежащего здесь, безусловно, не является субъектом действия; никакого действия, сопряженного с намерением и приложением усилий, Петр не совершал. С другой стороны, девотат подлежащего нельзя рассматривать как объект действия: Петр не подвергался никакому воздействию, его никто не разбудил, его ничто не разбудило, пробуждение произошло непроизвольно, спонтанно, само собой. К предикату приведенного высказывания уместен не вопрос «Что сделал Петр?», а вопрос «Что произошло с Петром?» Девотат подлежащего, не соотносимо ни с субъектом, ни с объектом действия, может быть неодушевленным: *За эту зиму ветхая изба развалилась совсем*. Приведенные формы глагола описывают некое происшествие, некое событие, приводящее к изменению состояния девотата подлежащего. Формы глагола, обозначающие самое состояние, также характеризуются в плане своего залогового значения тем, что грамматически связанное с ними подлежащее не соответствует ни субъекту, ни объекту действия. В высказывании *Петр сердится* нет речи о каком-либо действии Петра, здесь не уместен вопрос «Что делает Петр?», но так же, как и по отношению к высказыванию, приведенному выше, здесь следует задать вопрос «Что происходит с Петром?». Различие между обозначением события и обозначением состояния лежит в плане вида, в плане аспектальном, в плане залога они вполне тождественны друг другу.*

Значение непроизвольно происходящего события и состояния характеризуется в плане соотношения подлежащего с единицами семантического уровня только с отрицательной стороны, а именно — это значение возникает у глагольного предиката в тех случаях, когда подлежащее данного предиката не соответствует ни субъекту действия, ни объекту действия. Следует учесть, что наличие положительной соотнесенности с субъектом или объектом действия вовсе не обязательный признак подлежащего, при именном предикате подлежащее такой соотнесенностью обладать не может. Отсутствие соотнесенности подлежащего с субъектом и объектом действия при глагольном предикате связано с определенными положительными признаками. Глагольный предикат, подлежащее которого не соответствует ни субъекту, ни объекту действия, всегда обозначает 1) некое событие, происходящее не вследствие целенаправленных усилий с чьей-либо стороны, а самопроизвольно, спонтанно, само собой; 2) состояние, возникновение и течение которого также представляет собой

процесс самопроизвольный. Современное языкознание подошло достаточно близко к установлению данного залогового значения. Так, М. М. Гухман проводит разграничение между тремя типами подлежащего, отличающимися друг от друга по характеру функционирования, на основе признаков соотношения подлежащего с единицами семантического уровня. По мнению М. М. Гухмана, подлежащее может соответствовать агенту, может соответствовать пациенсу, но может не соответствовать ни тому ни другому (нейтральный носитель признака) [15]. Сходные показатели использовались исследователями для выделения разрядов глагольной лексики. Б. Гавранек проводит разграничение между глаголами действительности и глаголами состояния, подлежащим которых «не является ни *agens*, ни *patiens* глагольного предиката» [16]. О демиактивных и демипассивных глагольных предикатах пишет Т. Б. Алисова, устанавливающая, наряду с оппозицией «актив/пассив», также оппозицию «активность/неактивность» [17]. Пассив включает М. М. Гухман в более общую категорию инактивности [18], а это значит, что наряду с пассивной инактивностью существует и некая инактивность, отличная от пассива, непассивная инактивность. Идея непассивного инактива распространена достаточно широко, хотя большей частью она не связывается с понятием залога или залогового значения. Ближе других к рассмотрению непассивной инактивности в рамках залоговой проблематики подошли специалисты в области английского языка. Так, например, рассматривая предложения типа *The door opened* «Дверь открывалась», Л. С. Бархударов приходит к следующему заключению: «В предложениях этого типа подлежащее не обозначает ни деятеля, ни объект действия; оно обозначает предмет, в котором действие проявляется, в пределах которого оно протекает... У нас есть основание усматривать в этих конструкциях наличие особого значения формы действительного залога, которое можно назвать средним или медиальным» [19]. Современные специалисты в области английского языка применяют для обозначения интересующего нас явления в сфере залоговых значений термины «общий залог», «немаркированный пассив», «полупассив» [20]. Во всяком случае, залоговый статус так называемого непассивного инактива признается по отношению к материалу английского языка многими исследователями.

Из всего сказанного можно сделать вывод, что идея непассивного инактива распространена достаточно широко, а рассмотрение этого значения в качестве залогового также получило определенное признание. Новое в предлагаемом нами освещении вопроса о непассивной инактивности заключается только в одном: в статье показано, что значение непассивного инактива может быть выявлено на основе тех же признаков, что и другие залоговые значения — значения актива, рефлексива, реципрока и пассива.

Итак, выше были рассмотрены все возможные варианты соответствия подлежащего двум единицам семантического уровня — субъекту действия и объекту действия. Выяснилось, что каждый из вариантов этого соотношения соотносится с определенным залоговым значением. Поскольку, кроме уже рассмотренных, не может быть никаких иных типов соотношения подлежащего с единицами семантического уровня, то в рамках разрабатываемой здесь концепции никаких иных залоговых значений, кроме рассмотренных выше, не может быть выявлено.

В уточнении нуждаются названия залоговых значений: никаких возражений не могут вызвать традиционные названия «актив» и «пассив», но у того значения, которое определено нами как значение непассивного

инактив, характеризующего специфику обозначения самопроизвольно протекающих процессов, событий и состояний, традиционного названия нет. Для обозначения пассивной инактивности можно предложить термин «инертив» (от латинского прилагательного *iners, eris* «бездеятельный»). Широко признается, что возвратное и взаимное значения представляют собой разновидности одного более общего залогового значения. Выше было показано, что оба указанных значения характеризуются одним и тем же типом соотношения подлежащего с единицами семантического уровня. Тем не менее то залоговое значение, разновидностями которого являются возвратное и взаимное значения, не имеет еще специального наименования: в языкознании отсутствует термин, который мог бы служить общим названием для рефлексива и реципрока. В качестве такого общего названия можно предложить термин «реверсив», по своей внутренней форме совпадающий с терминами «рефлексив» и «реципрок» («реверсив» — от латинского глагола *revertor, reverti* «возвращаться»). Это слово обладает тем преимуществом, что оно не связано в лингвистике ни с каким специальным значением.

На основании всего изложенного можно сформулировать общее определение залоговых значений: залоговые значения — это такие значения глагольного предиката, которые определяются функцией подлежащего, отражая все возможные типы соотношения между подлежащим и единицами семантического уровня — субъектом действия и объектом действия. Предлагаемая нами классификация залоговых значений («актив, реверсив, инертив, пассив») основана на одном эксплицитно выраженном принципе, что обеспечивает однородность и последовательность деления, а также предельность, конечность решения задачи. Основываясь на признаке соотнесенности подлежащего с единицами семантического уровня, можно решить еще одну задачу, а именно провести разграничение между двумя типами оппозиций залоговых форм — между оппозициями, в которых формальному противопоставлению соответствует семантическое залоговое противопоставление, и оппозициями, противопоставленные члены которых не отличаются друг от друга по своему залоговому значению. Выше уже говорилось о том, что оппозиции залоговых форм далеко не всегда соответствует семантическое противопоставление залогового характера. Так, например, в оппозиции залоговых форм, немаркированный член которой обозначает каузацию некоего действия, а маркированный — само это действие (*отправлять/отправляться, возвращать/возвращаться* и т. д.), оба члена оппозиции выражают залоговое значение актива, т. е. грамматический субъект обоих членов соответствует субъекту действия и не соответствует объекту действия (*Петр отправил племянника в город / Племянник Петра отправился в город*). Сходная картина наблюдается и при оппозициях залоговых форм, противопоставленные члены которых обозначают действия, которые осуществляются участниками одной ситуации, играющими в ней различную роль: *учить / учиться, лечить / лечиться* и т. д. Оба участника ситуации (*Петр учит Александра / Александр учится у Петра*) выступают как дейтели, грамматические субъекты обоих членов оппозиции соответствуют субъекту действия и не соответствуют объекту действия, причем формальное залоговое преобразование в указанной оппозиции не сопровождается изменением залогового значения: по своей залоговой семантике оба члена данной оппозиции залоговых форм принадлежат активу.

Таким образом, использование признака соотнесенности подлежащего с единицами семантического уровня позволяет, с одной стороны, разрабо-

тать отчетливую и последовательную классификацию залоговых значений и, с другой стороны, провести разграничение между явлениями, относящимися к сфере залоговой семантики, и явлениями, находящимися за пределами этой сферы.

ЛИТЕРАТУРА

1. Генюшене Э. Ш. Рефлексивные глаголы в балтийских языках и типология рефлексивов. Вильнюс, 1983. С. 11.
2. Норман В. Ю. Переходность, залог, возвратность (На материале болгарского и других славянских языков). Минск, 1972.
3. Шахматов А. А. Синтаксис русского языка. Л., 1941. С. 476.
4. Виноградов В. В. Русский язык (грамматическое учение о слове). М.—Л., 1947. С. 637.
5. Панфилов В. З. О залоге глагола в нивхском языке // Вопросы грамматики. Сб. статей к 75-летию акад. И. И. Мещанинова. М.—Л., 1960. С. 103.
6. Панфилов В. З. Взаимоотношение языка и мышления. М., 1971.
7. Холодович А. А. Залог. I: Определение. Исчисление // Холодович А. А. Проблемы грамматической теории. Л., 1979. С. 289.
8. Endzelin J. Lettische Grammatik. Heidelberg, 1923. S. 763.
9. Десницкая А. В. О происхождении винительного падежа в индоевропейских языках // Десницкая А. В. Сравнительное языкознание и история языков. Л., 1984. С. 80.
10. Десницкая А. В. К истории развития грамматической категории винительного падежа в индоевропейских языках (Функции винительного падежа в языке гомеровской «Илиады») // Десницкая А. В. Сравнительное языкознание и история языков. Л., 1984. С. 114.
11. Степанов Ю. С. Вид, залог, переходность (Балто-славянская проблема. I) // ИАН СЛЯ. 1976. № 5. С. 414.
12. Ярцева В. Н. Взаимоотношение грамматики и лексики в системе языка // Исследования по общей теории грамматики. М., 1968.
13. Падучева Е. В. О семантике синтаксиса. Материалы к трансформационной грамматике русского языка. М., 1974. С. 230.
14. Гак В. Г. О грамматическом значении и его объяснении // ИЯШ. 1976. № 6. С. 10.
15. Гухман М. М. Позиции подлежащего в языках разных типов // Члены предложения в языках различных типов. Л., 1972. С. 21—22.
16. Гагарин Б. Залог (genetiv verbi) в старославянском языке в сравнительном плане // Исследования по синтаксису старославянского языка. Прага, 1963. С. 16.
17. Алисова Т. Б. К вопросу о так называемых «стативных» предикатах // Всесоюзная научная конференция по теоретическим вопросам языкознания. 11—16 ноября 1974 г.: Тез. докл. секционных заседаний. М., 1976. С. 55, 58.
18. Гухман М. М. Историческая типология и проблема диахронических констант. М., 1981. С. 47, 51.
19. Барзударов Л. С. Очерки по морфологии современного английского языка. М., 1975. С. 110.
20. Шубия Э. Г. Залоговое значение пассивных конструкций в современном английском языке: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Л., 1973. С. 5.

КРАСУХИН К. Г.

К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ ИНДОЕВРОПЕЙСКОГО АКТИВНОГО И СРЕДНЕГО ЗАЛОГА

В древнеиндийской грамматической традиции со времен Панини (IV—III в. до н. э.) глагольный залог рассматривался как противопоставление действия, направленного не на его субъект (*parasmaipada*, дословно «другому-шаг»), и действия, направленного на субъект (*atmanepada* — «себе-шаг»). Именно в таком ракурсе определяет глагольную диатезу современное сравнительно-историческое языкознание. Ср. такие пары, как греч. *λοβει* «моет», *λοβεται* «моется», весьма распространенное в надгробных надписях *ἐποικήσατο* «сделал себе» (имеется в виду гробница), др.-инд. *yajati* «приносит жертву», *yajate* «приносит в жертву» [первый глагол относится к жрецу (лицу незаинтересованному), второй — к заинтересованному лицу (аналогично греч. *θίβει* — *θίβεται* [1, с. 270)]].

В традиционной науке сложилось мнение, в соответствии с которым медий — производная от актива категория, обозначающая самонаправленность действия [2, с. 305; 3, с. 151; 4; 5, с. 270; 6, с. 202]. Особую сложность представляет вопрос о происхождении медия. В последние 50 лет появилась новая точка зрения на этот вопрос, связанная с исследованиями Х. Недерсена, Е. Куриловича, Хр. Станга. Эти ученые установили наиболее древнюю и.-е. оппозицию «категория действия» — «категория состояния». К первой категории восходит ведийский инфинитив (затем — аорист и презенс), а ко второй — перфект. Медиальный залог был объяснен как результат воздействия перфекта на презентно-аористную категорию. Такая реконструкция основана на близости личных окончаний медия и перфекта. Усилия исследователей были направлены также на то, чтобы вскрыть процесс преобразования перфекта в медий. Хр. Станг предположил существование двух диатез — презентно-аористной и перфектной, каждая из которых могла иметь настоящее время [7]. На основе презентно-перфектной диатезы в конечном счете и сформировался медий. Включение медия в систему глагола зашло так далеко, что в древнегреческом и санскрите образовалась новая категория — медиальный перфект. Следы архаической перфектной диатезы Станг видел в вед. *śáye* = греч. *κείται* в претерите типа вед. *adūha* (флексия *-a* отражает форму и.-е. 3-го л. ед. ч. перфекта **-e*), а также в спряжении на *-hi* в хеттском. В дальнейшем эта мысль получила развитие. Я. Сафаревич указывал на категорию, непосредственно отражающую и.-е. перфект-презенс, — латинский перфект [8]. Развитие перфекта-презенса и аориста-презенса шло следующим образом: в обеих сериях к окончанию мог присоединяться элемент *-i*. Свидетельство того, что форма латинского 3-го л. перфекта могла отражать и.-е. **ei*, можно найти в др.-лат. *fuveid*, *adieid*. Элемент *-i* не имел вначале ни презентного, ни перфектного значения, но, возникнув в перфекте, он перешел на презенс и породил медиальные окончания типа греч. *-μαι*, *-σαι*, *-ται*, *-υται*, др.-инд. *-e*, *-se*, *-te*, *-nte* (*-a* — показав-

тель перфекта). Воздействие флексий *-ha*, *-tha* на *-m*, *-s*, *-t* привело к формам *-ma*, *-sa*, *-ta*.

Е. Курилович, К. Уоткинс также выводят медию из перфекта. Однако Е. Курилович полагает [9, гл. 1], что меднопассив — это непосредственное продолжение перфекта в презенсе, причем пассивная семантика по отношению к медиальной является первичной, т. к. категория состояния должна была сначала привести к пассивной семантике. Но эта точка зрения не находит поддержки у других исследователей. Так, Э. Ной решительно высказался в пользу первичности меди, который, с его точки зрения, есть нечто среднее между активом и перфектом [10, с. 250—251]. Процесс образования среднего залога Э. Ной реконструирует в общем так же, как Хр. Станг и Я. Сафаревич. К. Уоткинс вслед за Е. Куриловичем сконцентрировал внимание на окончании 3-го л. перфекта **-e*. Это окончание, являясь по сути нулевым, породило перфект, медию и тематическое спряжение [11, с. 111]. Весьма решительно высказался в пользу связи меди с перфектом А. Н. Савченко: по его мнению, первичное значение меди — состояние, значение же действия, направленного на субъект, — вторично. Эта точка зрения подкреплена анализом семантики некоторых гомеровских и ведийских глаголов (типа греч. *νέμω* — *νέμομαι* [12]), где медиальный залог обозначает непереходное действие, а активный — переходное, каузативное. Но оппозиция и.-е. актива и меди не может быть сведена только к переходности/непереходности. Поэтому возникает необходимость подробно остановиться на ее семантическом наполнении.

Э. Швицер, рассматривая глагольную диатезу в греческом, устанавливает следующие семантические оттенки в употреблении меди: 1) непереходность при переходном активе: *νέμω* «делит» — *νέμομαι* «жить, обитать»; *κλίνω*; «гнуть» — *κλίνομαι* «прислоняться» (значение, близкое к рефлексиву); актив может выступать в качестве каузатива к медию: *καθώ* «прекращать» — *καθόμαι* «переставать»; 2) медию в значении аттаперада (некоторые примеры см. выше; к этой же категории относится и средний залог с посессивным значением: *ἵππους δ' ἐξέστυγοντο* «они запрягали своих лошадей»); 3) медию с итеративно-усилительным значением (ср. русск. *прожигиваться*): *πολιτεύομαι* «быть деятельным, активным гражданином»; 4) в оппозиции *νίχω* — *νίχομαι* Швицер видит различие в охвате субъектом среды (сферы) действия: *νίχω* «плавать» вообще, *νίχομαι* — речь идет о водных животных; 5) взаимный (реципрокальный) медию: *ἐρίζομαι*, *πυκτεύομαι*; 6) диатеза, зависящая от префикса: *ἐπομαι* — *μετά-στω*; 7) в некоторых случаях, по мнению Швицера, медию является первичным по отношению к активу: *ἵσταμαι* — *ἵσταναι*, *ἄλλομαι* — *ἄλλαιμι*. Непрезентные времена у этих форм меди действительно первичны по отношению к активу: *ἔστην* — *ἔστηρα*, *ἔδωκα* — *ἔδωλχα*; 8) наконец, медию может не иметь существенных отличий от актива: *οἶω* — *οἶομαι*, *ἐφθι* — *ἐφατο*. Ряд непереходных глаголов со значением передвижения и изменения положения составляет немногочисленную группу *activa tantum*: *εἶμι*, *βαίνω* «идти». Другие глаголы подобного рода, но без активного оттенка, являются *media tantum*: *κείμαι* «лежать», *ἵμαι* «сидеть»; ср. также активный по значению, но медиальный по форме *ἄλλομαι*. К *media tantum* относятся также некоторые *verba affectuum* [13; 11, с. 250]. Отношения между *activum* и *medium* могут быть самыми разнообразными. Иногда эта оппозиция получает лексический характер (*σβέννυμι* «гасить», *σβέννυμαι* «гаснуть»). Данные соотношения подробно рассмотрены с позиций функциональной грамматики И. А. Перельмутером [6, с. 171].

Классификация Ж. Одри во многом совпадает с классификацией Э. Швицера. Для и.-е. медиопассива исследователь устанавливает пять медиальных значений [усилительное, посессивное, рефлексивное, взаимное, просессивное (термин В. И. Георгиева)] и одно пассивное [14, с. 71]. Здесь уместно вспомнить замечание А. Ф. Лосева о том, что никакая классификация значений грамматической формы в языке не может охватить всех особенностей ее употребления в текстах. Обращаясь к категории залога, исследователь находит здесь случаи, классификации не поддающиеся: *ἀνδάνω* «я скрыт», *θαύμαζω* «удивляюсь чему-либо» (по смыслу здесь, казалось бы, должен быть меди́й). А. Ф. Лосев ставит задачу — найти такую общую функцию для грамматической категории, которая могла бы развиться в бесконечное множество значений [15, с. 183]. Подобные задачи, как известно, успешно решает фонология, имеющая дело, с одной стороны, с бесконечной варианностью звуков в потоке речи, а с другой стороны — с инвариантностью фонемы, заданной пучком дифференциальных признаков (ДП). Представляется, что в исследовании глагольной диатезы эту задачу успешно решил А. Эрхарт. Для характеристики глагольного действия ученый избрал три ДП: прогрессивность (действие исходит от субъекта), регрессивность (воздействие на субъект) и трансгрессивность (переходность). В классификации Эрхарта наиболее полным пучком ДП обладает просессивный меди́й, который может терять отдельные ДП, развиваясь в рефлексивный меди́й, пассив и статив. Статив может быть выражен с помощью активных или рефлексивных показателей, ср. русск. *смеяться* — нем. *lachen*. Пассив может утрачивать регрессивную семантику и превращаться в статив, ср. чеш. *dopis je psan* «письмо пишется», но *dopis je napsan* «письмо написано» [16]. Объем статьи не позволяет подробно остановиться на концепции А. Эрхарта. Отметим только, что разработанная им идеальная модель глагольной диатезы и ее преломление в и.-е. языках позволяет наиболее адекватно описать эту грамматическую категорию¹.

Однако в диахроническом исследовании было бы методологической ошибкой исходить только из семантики грамматической формы, объяснив одно из значений первичным, тем более, когда речь идет о таком сложном явлении, как и.-е. меди́й. Задачей исследователя является анализ и реконструкция грамматической формы, на основании которых и можно судить о развитии значения.

В настоящее время можно считать общепринятым, что окончания и.-е. глагола в конечном счете восходят к двум рядам: *-m*, *-s*, *-t* (прототип презенса-аориста) и *-he*, *-thel-e* (*-e* — прототип перфекта; последнее окончание представляет собой тематическую гласную, т. е. является нулевым). По мнению многих исследователей, окончание *-a*, воспринимаемое как показатель перфективной диатезы, легло в основу медиальных окончаний *-m/ai*, *-sai*, *-tai*, к которым восходят санскр. *-e*, *-se*, *-te*, греч. *-αι*, *-αι*, *-ται*². Однако флексия в санскрите может восходить также к прототипу *-toi* [вариант с *-o* зафиксирован в ахейских (аркадском и кипрском) диалектах греческого, а также в близкородственном им крито-микенском (*e-u-ke-to* = арк. ΕΥΗΕΤΟΙ)]. По-

¹ Пользуюсь случаем выразить проф. А. Эрхарту сердечную признательность за присланный отклик его статьи.

² Э. Ной [10, с. 250—252] полагает, что более архаичный перфект имел флексии **-ho*, **-tho*, **-o*; вариант с *-a* был использован в более новом презентном перфекте. По мнению Ноя, меди́й претерита восходит к неперезентному перфекту, меди́й презенса — к презентному, что в свете крито-микенских данных вряд ли верно.

сколько крито-микенский является наиболее древним из всех греческих диалектов, флексия *-toi* следует считать первичной [17, с. 351], постулируя ее и для индо-иранских языков. Тем самым «первичные» (презентные) окончания медиа в греко-арийском ареале оказываются тесно связанными с «вторичными» (*-so, -to*). В графическом изображении структура форм 3-го л. ед. ч. в указанных языках может быть представлена так: *-t — -ti — -to — -toi* (*-o* указывает на медиальность, *-i* — на презентность). Формы же *-sai, -tai* — более позднего происхождения.

Еще в начале XX в. Г. Хирт [18, с. 56] обратил внимание на то, что аблаут *-sl-so, -tl-to* вызван смещением акцента, о чем неопровержимо свидетельствует германская форма 3-го л. ед. ч. медиопассива типа гот. *habada*, восстанавливаемая для прагерманского по закону Вернера как **carpeþ*. В ведийском медиальном презенсе ударение стоит также на окончании: *dādhāti — dadhaté, bódhati — budhité*. Простое объяснение получает корневой аблаут в греческих и санскритских глаголах: санскр. *adāt/adāta, adhāt/ahita*, греч. *ἔδω-κα — ἔδωτο, ἔθην-κα — ἔθεντο* с имбибилизацией ударения в греческом. В ведийском ударение стояло на слоге полной ступени. Оппозицию активного *-t* и медиального *-to* можно наблюдать в большинстве и.-е. языков; так, в хеттском форма 3-го л. ед. ч. медиопассива имеет флексию *-ia* (с факультативным наращением *-ri*), форма же 3-го л. ед. ч. активного претерита имеет форму *-i*. Сходная оппозиция существует и во фригийском (*-t — -or*)³.

Весьма убедительная идея связи окончаний 3-го л. активного и среднего заложена не была поддержки у многих ученых. По мнению К. Уоткинса формы 3-го л. ед. ч., будучи безусловно именными и первичными для глагольного спряжения, возникли в результате переразложения суффикса-детерминатива *-ti* и нулевого окончания. В качестве примера К. Уоткинс приводит корень **nek^h-t-θ > nek^h-t* [14, с. 50]. Действительно, для нулевого окончания 3-го л. ед. ч. существуют широкие типологические параллели; в и.-е. оно засвидетельствовано в перфектной серии [4, с. 80]. Окончание греческих тематических глаголов *-ε-ι* состоит из собственно тематической гласной и особого показателя *-ι*⁴. Суффикс (точнее, детерминатив) *-ti* К. Уоткинс находит в лат. *sacerdos*, др.-сакс. *dot*, др.-в.-нем. *īdt*. Однако здесь необходимо сделать небольшое уточнение: у нас нет уверенности в том, что в латинском *-dot-* отражен архетип **dhōt*, а не **dhōti*. В архаической латыни представлена форма род. п. мн. ч. *sacerdoti-um*. Суф. *-ti* в латинском языке продуктивен, когда имеет приращение *-on*; в чистом виде он встречается редко в архаических образованиях типа *fortis, fortis* (ср. др.-инд. *bhṛtis*). Более надежным является пример типа вед. *yakṣ-t* «печень». Переразложение основы превратило суф. *-t* в окончание⁵.

Медиальное же окончание, по Уоткинсу, возникло из скрещения окончания актива *-t* с медиальным окончанием *-o*. Здесь К. Уоткинс следует за Е. Куриловичем, который полагал [9, с. 60, 64; 22], что медио-

³ К. Х. Шмидт [19, с. 266] считает, что указанные окончания, а также др.-ирл. *-thir*, итал. *-tur* восходят к архетипу **-tro*. Представляется, однако, что это может быть верным в отношении тохарского, но не фригийского, который не знал подобных метате. Вероятно, окончание медиа сформировалось из суф. *-to + -ro*. Таким образом, *-to* и *-ro* соотносятся по принципу подвижного аблаута (Schwabeablaut).

⁴ Иначе у В. И. Георгиева [20, с. 7—10], где греческий признается исконным.
⁵ Ср. [21, с. 273], где аффикс *-t* назван «маркером инактивного класса», т. е. он присутствует в гетероклассической парадигме; однако эта же парадигма оказывается связанной с суф. *-nt*, маркирующей активный класс! Ввиду такой противоречивости лучше признать за суф. *-t* значение простого детерминатива.

пассив, образовавшийся из перфекта, изменил как семантику его, так и окончания; воздействие перфекта на презенс в семантическом плане привело к возникновению пассива, который маркировался окончанием -о. С точки зрения Куриловича, и.е. -о, являясь производным от -е, маркирует производные имена. Синхроническое расчленение -то на -t + o вполне обосновано, но в диахроническом плане сомнительно: если -о — древнейшее окончание медиа, то -t скорее всего присоединилось бы к нему, а не стояло бы впереди него, т.е. мы имели бы окончание *-ot. Именно такую форму находим в ведийском претеритальном медиапассиве *ādūhat* (наряду с *aduha*). Поэтому гипотеза Г. Хирта представляется более правдоподобной, тем более, что она подтверждается и ведийскими данными.

Однако почти никто не попытался объяснить морфологическую природу передвижения акцента, в то время как объяснение самого Г. Хирта — малоубедительно: по его мнению, перенос акцента на начало слова произошел благодаря присоединению к глаголу префиксов, что мотивируется префиксальным способом образования глагольных видов в германском, балтийском и славянском; виды же могли войти во временную систему (так, презенс совершенного вида в современных славянских языках развился в футурум, перфективные образования с префиксом *ge-* в немецком превратились в претерит [18, с. 67]). Однако залоговая оппозиция не выражалась с помощью префиксов. Мало что дает и сопоставление с кельтской коррелицией абсолютного и связанного спряжения: она отражает чередование -t/-ti, не имеющее отношения к фонетической редукции безударного гласного.

Представляется целесообразным сопоставить передвижение акцента в медиа с противопоставлением некоторых баритонных и окситонных имен типа *τόμος* — *τομός* в греческом. Здесь баритональные формы обозначают абстрактные понятия, а окситонные — конкретные: *τόμος* «разрез, том», *τομός* «нож для разрезания» («режущий»), ср. др.-инд. *sōda* «толчок» — *sodā* «подстрекатель» («толкающий»). Как указывает А. Мейе, данный способ маркировки имен весьма архаичен. Указанный способ лежит в основе распределения ряда именных суффиксов на показатели имен деятеля и действия. Так, в греческом к имени деятеля относятся суф. -τήρ и -τωρ (ἀροτήρ, γεωτήρ), -τής, -ών (ἡγεμών, ποιητής) к именам же действия — -τρ- (ἑλετρών «ложка»), -μα (ποίημα, πλῆρομα). Полная ступень суффикса в *nomina agentis* и нулевая в *nomina actiones* наглядно демонстрируют их распределение на баритональные и окситонные. Естественно, имя деятеля и имя действия по семантике противопостоят друг другу как конкретное абстрактному. Ударение на корне или аффикс здесь играют ту же роль, что и в типе *τόμος* — *τομός*. В санскрите сходным образом противопостоят абстрактные имена на -āna и отглагольные прилагательные на -na (с пассивным значением): *chédāna* «резание» — *chinās* «разрезанный»; в первом слове присутствует полная ступень корня (-oi), во втором — нулевая (ср. лат. *scissus*, греч. *σχιστός*). Р. Бирве считает, что санскритские имена на -āna репрезентируют отглагольный и.е. суф. *-nno. Это никак не влияет на нашу концепцию, т.к. суффикс имени деятеля -tap в древнеиндийском засвидетельствован [23, с. 61]. Аналогично соотносятся в греческом именной суффикс -τός и суффикс отглагольного прилагательного со значением долженствования -τέρος. Правда, имена на -τός являются окситонными; но нулевая ступень суффикса и полная ступень корня (там, где полная ступень представлена в презенсе) свидетельствуют о том, что в период раннеиндоевропейского

(аблаутного) ударения [22, с. 194] суффикс у этих имен не был ударным. Перейдем к баритонным *poimā agentis* на *-tor*. Э. Бенвенист, подробно исследовавший существовавшие в греческом и индо-иранском имена типа *dātār* и *datār*, установил, в частности, что в ведическом баритонное имя обозначает творца действия, а окситонное — деятеля (*l'agent voué à une fonction*). Окситонные имена часто употребляются в качестве постоянных эпитетов. Аналогично распределение баритональных и окситональных форм в Авесте; в греческом *δατορ* в контексте может быть переведен как «даритель» (*δατορ εὖδων* «даритель благ»), *δοτήρ* в гом. *ἀγοτοῖο δοτήρ*с «интендант», т. е. тот, кто обязан совершить действие. Из этого Э. Бенвенист делает вывод, что баритональные имена обозначали абстрактное имя, а окситонные — конкретное. Таким образом, после формирования системы имен деятеля с полной ступенью суффикса произошло их вторичное разделение на абстрактные и конкретные. Такая оппозиция могла возникнуть благодаря передвижению акцента в абстрактных именах с суффикса на корень. Аналогичным образом можно объяснить окситонность имен на *-tōs*. По классификации Э. Бенвениста, и. -е. имена на **-ti-* являются абстрактными, а имена на *-tu-* — конкретными. Передвижение акцента на суффикс *-tōs* подчеркивало эту оппозицию [24, с. 37, 45].

Следует отметить, что различие в вокализме суффиксов *-tār* и *-tor* также объясняется передвижением ударения. К. Бругман и Г. Хирт указывали, что *e* переходит в *o* в безударном положении; ср.: *φῆνυ* — *ἄφρων*, *πατήρ* — *ἐπάτωρ* [25, с. 562; 26]. В. Манчак вывел следующую закономерность: *e* > *o* в безударном положении между смычным и сонорным. Этот качественный аблаут происходил после становления количественного [27]. Следовательно, передвижение акцента, разделявшее конкретную и абстрактную семантику, было в и. -е. языковом состоянии весьма продуктивным грамматическим способом. Это относится к самым различным периодам существования и. -е.: когда смещение ударения меняло количество гласного, далее — когда менялся тембр гласного, и — как реликт — когда ударение перестало быть апофоническим.

Апофонические чередования сыграли также существенную роль в становлении и. -е. падежной системы. Здесь флексии основных падежей относятся друг к другу как нуль и полная ступень: им. п. *-s*, *genetivus subiectivus* — *-os*, вин. п. — *-m*, *genetivus obiectivus* — *-om*, локатив — *-i*, датив — *-oi*. Анализ падежной семантики показывает, что падежи с нулевой и полной ступенями формантов соотносятся друг с другом соответственно как независимые и зависимые. Так, номинатив — это падеж подлежащего или именного сказуемого, самый независимый член предложения; аккузатив в своей собственной (т. е. не зависящей от управляющего глагола) функции обозначает предел действия. Субъектный и объектный родительный падежи маркируют соответственно периферийные субъект и объект [28]. Локатив указывает на сферу протекания действия, но сам независим от действия; датив же — это падеж косвенного дополнения или лица, претерпевающего воздействие, т. е. он зависит от действия [32]. Таким образом, в падежной системе передвижение акцента на конец словоформы указывало на ее подчиненное положение в предложении.

Общая семантика подчиненности — производности по-разному реализуется в каждом конкретном случае. В рамках глагольных имен она трансформируется в оппозицию абстрактности — конкретности, частным проявлением которой является оппозиция активных и медиальных

глагольных форм. Смысл передвижения удара на аффикс в меди был четко выражен в работе А. Эрхарта, который указал, что «посредством удара местоименный субъект выделялся как цель действия» [16, с. 47]. Форма с акцентом на основе (**bhère-to*) обозначала абстрактное действие, с ударением на аффиксе (**bhere-tó*) — конкретное. Последующая редукция безударного гласного способствовала появлению оппозиции *t/to*.

В рамках глагольной семантики это различие реализуется как оппозиция действия, в котором субъект не заинтересован (центробежное), и действия, направленного на субъект (центростремительное). Следовательно, семантика *atpaepa* может считаться для меди архаичной и исконной, а не возникшей под действием других глагольных категорий. Совершенно прав Я. Сафаревич, отмечая, что «актив обращен на объект, меди обращен на субъект» [8, с. 76]. Дальнейшее развитие семантики меди можно представить так: субъективное (центростремительное) действие → продленное действие (греч. *πέτοι* «летать» в сравнении с *πίπτω* «падать») → состояние (*vémo* — *vémorai*) → пассив.

Следует заметить, что именной суффикс *-to* имеет сходную семантику с аналогичным глагольным окончанием: он служит для образования медиопассивных отглагольных прилагательных, ср.: санскр. *vittah/viditah*, лат. *visus/умбрск. vifitu*, греч. *ἰστός*. Однако пассивное значение данного суффикса, по-видимому, не является первичным⁶. Ж. Одри вообще полагал, что данный суффикс был первоначально посессивным и это находит отражение в лат. *anima-tus*, *barba-tus*, литов. *duobė-tas* (*duobė* «дыра»). В рамках глагола этот суффикс сформировал сначала посессивный меди, затем всю систему меди и соответствующих причастий [14, с. 59]. Первоначально он мог обозначать просто абстрактность действия: в архаической латыни была распространена конструкция *facto opus* (или *usus*) *est* (зафиксирована у Плавта 60 раз). Иногда аккузатив этого отглагольного прилагательного мог конкурировать с инфинитивом в выражении типа *ductum (servatum) volo — dicere (servare) volo*. К таким конструкциям близки выражения типа *ante solum occasum, ab urbe condita*. В последних примерах уже налицо пассивная семантика, но в целом, как указал Э. Бернерт, можно сказать, что перфектно-стативная семантика переходит в данном случае в пассивную; в выражении же типа лат. *factum habeo* (прототип романского аналитического перфекта) вообще трудно определить точную семантику причастия [31].

Весьма существенно также наблюдение Э. Бернерта над семантикой глаголов, управляющих аккузативом отглагольного прилагательного. В большинстве случаев это глаголы долженствования, желания, соиздания (не следует, конечно, забывать о влиянии сущина, который употреблялся при глаголах движения). В общем можно говорить о тенденции развития семантики субъективности у причастий на *-to* в латинском. При этом субъективная семантика переходит в перфективную и стативную, а затем — в пассивную. В других и.-е. языках отглагольные прилагательные на *-to* в общем имеют аналогичную семантику. В греческом они обозначают статив или пассив, в древнеиндийском они пассивны у переходных глаголов и активны у непереходных, в германских языках преобладает перфектное значение. По-видимому, германский слабый претерит (гот. *habaida*, рун. *fahido* «нарисовал», др.-исл. *kallado* «звал»,

⁶ Как установил М. М. Покровский, имена, в том числе и отглагольные, были индифферентны к залоговой диатезе (голодный год — голодный человек) [30].

нем. *machte*, англ. *made*) происходит от этой категории ⁷. Формирование его склонения можно сравнить с польским претеритом (*miałem, miales* — формы с личными показателями от исконого причастия *miał*) и с португальским семинфинитивом (2-е л. ед. ч. *jalares* от инфинитива *jalar*). Заметим, что и глагольное окончание *-to* иногда приобретает значение претерита, ср. в хеттском 3-е л. ед. ч. *daišta* наряду с простым *daiš*. Засвидетельствованные же в лувийских (клинописных и иероглифических) и палайских текстах формы 3-го л. ед. ч. претерита маркируются только окончанием *-ia*. Таким образом, именной суффикс и формы 3-го л. ед. ч. обнаруживают параллелизм в происхождении и семантике, что подтверждает неоднократно высказывавшееся мнение об общем происхождении имени и глагола.

Переходя от рассмотрения формы к значению, мы можем сказать: суф. *-to*, маркировавший 3-е л. ед. ч., придавал форме агентивность, смещение на него акцента — рефлексивность, наличие дополнительного объекта — переходность. Достаточно абстрактная семантика конкретности и самонаправленности действия в зависимости от контекста могла реализоваться в рамках классификации Э. Швицера и Ж. Одри: речь идет о возникновении значений посессивности, усилительности, взаимности. Самонаправленное действие могло преобразоваться в статив, интранзитив и пассив. А. Эрхарт исходит главным образом из того, что первичные формы с положительными ДП их постепенно утрачивают. Поэтому он считает, что пассив древнее статива. Однако вместе с тем Эрхарт указывает, что пассив с ауториальным падежом является более поздним, чем простой пассив. Промежуточной категорией между рефлексивом и стативом было длительное действие (*ἡτορμαι «лечу», κίττω «падаю»*). Видимо, значение прогрессивности и регрессивности при сосуществовании могли взаимно ослабить друг друга: новая категория обозначала как статив, так и пассив.

Медиальное и пассивное значения могли быть выражены не только с помощью окончания *-to*, но и аналитическим способом. Здесь следует отметить прежде всего сочетание медиальных и пассивных причастий с глаголом-связкой «быть, становиться», а также возвратные формы глагола. Оба этих способа широко распространены в и.-е. языках. Развитие их семантики в общем сходно с синтетической формой. Сочетание причастия с глаголом-связкой обозначает статив и пассив, практически не имея рефлексивного значения. Возвратные же формы в греческом были сугубо рефлексивны, конкурируя с классическим медиум [13, с. 43]. В балтийских языках они обозначали рефлексив и интранзитив (без пассивного значения): литов. *praustis* «умываться» — *keltis* «вставать»; в славянском рефлексивные глаголы аналогичны древним медиальным формам в плане семантики. Так, независимо от того, что в следующих русских примерах всюду представлена возвратная частица *-ся*, они могут выражать рефлексивность (*мыться*), итеративность (*прожизиваться*), стативность (*держаться*), пассивность (*строиться*). В скандинавских же языках рефлексивные формы употребляются преимущественно в

⁷ Этот вопрос достаточно сложен: так, Г. Хирт [32, с. 285—287] считает, что в основе этого суффикса лежит вспомогательный глагол **dhe*; с точки зрения В. А. Серебрянникова [33] более правдоподобно все же первое предположение, т. е. глагол **dhe* практически не засвидетельствован в значении вспомогательного; однако 3-е л. ед. ч. *-dedun* лучше всего объясняется именно благодаря импликацией глагола **dhe*. Иная точка зрения принадлежит В. Краузе [34]: 2-е л. ед. ч., распространившееся на все спряжение. Более подробно — см. обзор в [35].

значении пассива [16]. Наконец, в немецком языке «медальная» семантика выражается с помощью винительного или дательного падежей личных местоимений, т. е. чисто синтаксически. К. Бругман справедливо указал на наличие определенной факультативности в морфологических средствах медальной семантики. Итак, общее развитие семантики окситонной морфемы *-to* можно представить следующим образом: субъектность, самонаправленность → итеративность → перфективность → стативность → пассивность.

В целом как с формальной, так и с содержательной точки зрения форма 3-го л. ед. ч. медиа не требует воздействия перфекта, а находит простое объяснение в структуре «активных» окончаний. Однако нельзя отрицать того, что значение среднего залога во многом сблизились с перфективным. Взаимодействие между медиа и перфектом действительно существует. Активнее всего оно проявляется в 1-м л. ед. ч. в греческом и в санскрите: санскр. *-e*, греч. *-μαι* происходит от формы 1-го л. ед. ч. перфекта *-ha-i* (*-i* в греческом возникло по аналогии с 1-м л. ед. ч. актива *-μi*). Указанная морфема в санскрите формально подобна аналогичной перфектной: лат. *-i* (**-ai*), слав. *etъ* (**oidai*). Элемент *-i* первоначально не был связан с презенсом (что доказывает, в частности, лат. перфект). Я. Сафаревич определил его как «элемент с усилительным смыслом». Присоединяясь к окончаниям, этот формант придавал им не временное, а эмфатическое значение [8, с. 109]. Но медальные окончания языков греко-арийского ареала сформировались не столько под влиянием перфекта на *-i* (как полагал Сафаревич), сколько под влиянием активного презенса. Под воздействием флексий *-*mi*, *-*si*, *-*ti* окончания **-mo*, **-so*, **-to* преобразовались в *-*ai*/*-*mai*, *-*sai*/*-*soi*, *-*tai*/*toi*.

Данные языков греко-арийского ареала (подтвержденные фактами других и.е. языков) свидетельствуют о том, что медальный залог и перфект связаны не общим происхождением, а скрещиванием. Отметим также некоторые характерные неточности сторонников гипотезы общего происхождения перфекта и медиа. Так, вряд ли можно согласиться с Хр. Стангом, постулировавшим наличие «перфектной диатезы» в презенсе [7, с. 32—35]. Есть все основания полагать, что перфект был совершенно индифферентен к временной оппозиции, чем и объясняется его функционирование в одних языках в качестве презенса (ср. германские претерито-презентные глаголы), а в других — в качестве претерита (латинский, хеттский, а также германский сильный претерит). Поэтому неудачными являются поиски материальных субститутов временной оппозиции в перфекте. Так, Я. Сафаревич считал перфект на *-i* возможным предшественником медального презенса [8, с. 48]. Э. Ной реконструировал особый непрезентный перфект на *-o* [10, с. 250—251]. Главный же аргумент в пользу происхождения медиа из актива заключается в тесной связи их окончаний.

В одной из недавних статей И. А. Перельмутер вновь вернулся к вопросу о соотношении медиа и актива. Показав с позиций функциональной грамматики их глубокую взаимосвязь, исследователь выразил надежду, что детальная реконструкция флексии позволит обнаружить эту связь и на формальном уровне [36]. Представляется, что апофонический подход к морфологии позволяет решить эту задачу.

В системе форм 3-го л. ед. ч. удастся выявить неаблаутное *-t* и аблаутное *-to*, находящиеся в дополнительном распределении по принципу абстрактности — конкретности действия. Эти окончания способны при-

нимать приращения, происходящие, по-видимому, из детерминативов. Так формируется широко распространенная флексия *-ti* и окончание императива 3-го л. ед. ч. *-tu* (в санскрите и хеттском). Такая структура глагольной флексии 3-го л. ед. ч. (*-i* с приращениями) находит аналог в именных суффиксах. Как уже отмечалось, именные суф. *-ti/-tu* четко противопоставлены друг другу по семантике: *-ti* маркирует объективное действие, в котором субъект не заинтересован, *-tu* — субъективное действие. Э. Бенвенист надежно обосновал этот вывод сопоставлением имен на *-ti* и *-tu* в индо-иранских языках, ср.: лат. *-tus, -tura* и *-ti(on)*, а также греч. *-σι/-τός*, где указанное различие носит лексический характер (*βρώσις* у Гомера означает «пища вообще», *βρωτός* «пища, к которой стремятся герои» [24, с. 50]). Следует заметить, что в ведическом герундии эта оппозиция отчасти нейтрализовалась: здесь используются суф. *-tūā* (твор. пад. имени на *-ti*), *-tū* (твор. пад.) и *-tūi* (притяж. форма ж. р. имени на *-tu*). Семантика ведического герундия отличается разнообразием: он может выражать совместное действие, предшествование, причину [37]. Думается, что модальное значение герундий унаследовал от субъективного имени, немодальные — от объективного.

Материал, не привлеченный Э. Бенвенистом, также свидетельствует в пользу его концепции, ср.: славянский инфинитив на *-ти*, греч. прилагательное со значением долженствования на *-τέος* (оно отличается от существительного на *-τός*; как конкретное имя от абстрактного). В рамках глагольной семантики объектное действие преобразовалось в дуратив и индикатив, выражающие действие, которое не зависит от воли говорящего, а субъектное действие — в императив, передающий волю говорящего, стремление к действию. Поскольку формы императива 3-го л. характеризуются отсутствием непосредственного адресата волеизъявления, они могут выражать пожелания⁶; поэтому готский императив и опатив обслуживает один показатель. Структура 3-го л. ед. ч., таким образом, отличается четкостью и упорядоченностью: *-t* обозначает немаркированное действие, *-ti* — объективное действие, *-to* — самонаправленное действие, *-tu* — стремление к действию. Результатом дальнейшего развития являясь окончания *-toi* (греко-индо-иранский меди) и, может быть, *-tou* (если фриг. *-το* восходит к такому архетипу). С. С. Мисра полагает, что *-toi* древнее, чем *-ti*, поскольку полная ступень архаичнее [38]. Но для древнейшего этапа и.-е. языкового состояния различие между активом и медиом находилось, как мы стараемся показать, на суперсегментном уровне: безударной была флексия актива, а ударной — флексия меди.

Представленную модель следует охарактеризовать как основную тенденцию развития и.-е. флексии 3-го л. ед. ч. Полнее всего она реализовалась в древнеиндийском и хеттском; греческий и италийский отличаются главным образом отсутствием флексии *-tu*, вместо которой представлена флексия *-tod* [греч. *-τω*, лат. *-tō(d)*, умбр. *-tu*]. В германском существовало окончание индикатива **-ti* и императива **-tou*.

Дальше всего от санскрито-хеттской модели стоят кельтские и балтийские языки. В первых оппозиция *-t/-ti* не имеет отношения ко времени и связана с морфологической структурой глагола. В последних отсутствует

⁶ Как отмечал Е. Курплович, для использования императива в речи необходим непосредственный адресат, поэтому 2-е л. ед. ч. как включающее говорящего и слушающего является доминирующим и немаркированным членом подсистемы императив; оно может быть обозначено нулевым аффиксом 3-е л. императива выражает не столько приказ, сколько пожелание.

медальная флексия *-to*. Утрата этого окончания была связана с формированием рефлексива на *-si*. Окончание же на *-tu* и² в кельтском, ни в балтийском не развивалось в императивное. В общем тенденция развития флексии 3-го л. ед. ч. путем присоединения к ней детерминативов и образования новых грамматических значений связана с членением и.-е. языковой общности: ярче всего эта тенденция проявляется в юго-восточных ареалах, менее всего — на северной (балтийской) и западной (кельтской) периферии. Если же представить в пространстве отдельные диалекты по мере развития указанной флексии, полученная схема в общем будет соответствовать данным и.-е. лингвистической географии.

К. Уоткинс считает первичной глагольной флексией нулевую, отраженную в 3-м л. ед. ч. перфекта. Эта форма очень близка тематическому имени. Однако и особое окончание 3-го л. ед. ч. не разделяет, а объединяет имя и глагол. Видимо, в праи.-е. субъект и предикат различались главным образом благодаря семантике и отчасти — порядку слов, который в немаркированной ситуации выглядел как S(O)V [39], а в маркированной (например, в поэтическом тексте) VS [40]. Морфологическое различие сформировалось, когда к субъекту присоединились специальные окончания, превратившиеся затем в именные. К предикату же в 1-м и 2-м л. присоединились энклитические частицы местоименного словообразовательного и эмфатического характера. К этому времени стала складываться аспектно-модусная система глагола. Структуру имени и глагола можно, таким образом, описать так. Имя может состоять из корня, общего для имени и глагола, аффикса и флексии. Глагол может состоять из корня, собственно глагольного суффикса, аффикса, общего для имени и глагола, или же собственно глагольной флексии. В словообразовании имени и глагола есть и некоторые другие общие черты. Но это — тема особого исследования.

ЛИТЕРАТУРА

1. Семецьки О. Введение в сравнительное языковедение. М., 1980. С. 270.
2. Мейе А. Введение в сравнительно-историческое изучение индоевропейских языков. М., 1938.
3. Шантрел П. Историческая морфология древнегреческого языка. М., 1955.
4. Бенвенист Э. Общая лингвистика. М., 1974.
5. Климов Г. А. Типология языков активного строя. М., 1977.
6. Перельмутер И. А. Общеславянский и греческий глагол. Л., 1977.
7. Stang Ch. Perfektum und Medium // NTS. 1932. Bd. VI.
8. Słowacki J. Studia językoznawcze. Warszawa, 1967.
9. Kurylowicz J. The inflectional categories of Indo-European. Heidelberg, 1964.
10. Neu E. Zur Rekonstruktion der indogermanischen Verbalflexion // Studies in Greek and Latin linguistics to honour L. Palmer. Innsbruck, 1976.
11. Watkins C. Die Geschichte der indogermanischen Verbalflexion // Heidelberg, 1969.
12. Савченко А. Н. Происхождение среднего залога в индоевропейских языках. Ростов н/Д, 1964.
13. Schwyzler E. Griechische Grammatik. Bd. 1. München, 1939.
14. Haudry J. L'indo-européen. P., 1979.
15. Лосев А. Ф. Языковая структура. М., 1983.
16. Erhart A. Zur Entwicklung der Verbalbithese im Indoeuropäischen // Sborník prací filosofické fakulty Brněnské university. 1981. A 29.
17. Ventris M., Chadwick J. Documents in Mycenaean Greek. Oxford, 1956.
18. Hirt H. Zur Ursprung der indogermanischen Verbalflexion // IF. 1906. Bd. 17.
19. Schmidt K. H. Zu altirischen Passiva // IF. 1963. Bd. 68.
20. Georgiev V. Die Entwicklung der indoeuropäischen Verbalbithese // Балканско-езиковедение. 1975. Bd. XVIII. N 3.
21. Гамкрелидзе Т. В., Иванов Вяч. Вс. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Т. I. Тбилиси, 1984.

22. *Kurylowich J.* L'apophonie en indo-européen. Wrocław, 1956.
23. *Birwé R.* Griechisch-arische Sprachbeziehungen. Walldorf, 1956.
24. *Benveniste E.* Noms d'agent et noms d'action. P., 1948.
25. *Brugmann K.* Kurze vergleichende Grammatik der indogermanischen Sprachen. Berlin, 1922.
26. *Hirt H.* Der indogermanische Ablaut. Heidelberg, 1900.
27. *Manzák W.* Origines de l'apophonie *e/o* en indoeuropéen // *Lingua*. 1960. № 3.
28. *Красухин К. Г.* К истокам и функции индоевропейского родительного падежа // Вестник МГУ. Сер. 9. 1985. № 3.
29. *Адмони В. Г.* Структура простого предложения в индоевропейском // ВЯ. 1960. № 3.
30. *Покровский М. М.* Избранные труды по языкознанию. М., 1959.
31. *Bernert E.* Das Verbalsubstantiv und Verbaladjektiv auf *-to* im Lateinischen // *Glotta*. 1943. 30.
32. *Hirt H.* Zur Verbalflexion // *IF*. 1906. Bd. 17.
33. *Серебрянников Б. А.* Вероятностные обоснования в компаративистике. М., 1974.
34. *Krause W.* Gotisches Elementarbuch. Heidelberg, 1953.
35. Сравнительная грамматика германских языков. Т. IV. М.—Л., 1964.
36. *Перельмутер И. А.* К вопросу о соотношении индоевропейского актива и медиа // ВЯ. 1984. № 3.
37. *Tikkanen B.* On the Sanskrit gerund // *Studia orientalia*. 1984. V. 55.
38. *Misra S. S.* Bearing of the Indo-European comparative grammar on the Aryan problem // Этнические проблемы истории Центральной Азии в древности. М., 1981.
39. *Lehmann W. P.* Proto-Indo-European syntax. University of Texas Press, 1974.
40. *Dressler W.* Eine Textsyntaktische Regel der indogermanischen Wortstellung // *KZ*. 1969. Bd. 83.

МОРКОВКИН В. В.

ОБ ОБЪЕМЕ И СОДЕРЖАНИИ ПОНЯТИЯ «ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЛЕКСИКОГРАФИЯ»

Человеческий язык, каким он видится его носителям, — это прежде всего и главным образом язык слов. Такое наивное представление во многом отражает действительное положение вещей, поскольку, как пишет А. И. Смирницкий, «слово выступает не только как основная единица словарного состава, но и как центральная узловая единица вообще языка» [1, с. 183], или, говоря словами Ф. де Соссюра, «как нечто центральное в механизме языка» [2, с. 143].

Единственной языковедческой дисциплиной, в которой слово (или сходная с ним по функциям единица) рассматривается в совокупности всех своих свойств, является лексикография. Лексикография как явление *suí generis* представляет собой основной канал, через посредство которого лингвистика обнаруживает и обнаруживает результаты своей деятельности. В этом смысле лексикография может рассматриваться как своего рода служба общения между лингвистикой, являющейся наукой о языке, и обществом, заинтересованным в познании языка, а словарная продукция — как главное, чем лингвистика отчитывается перед обществом. Кроме того, любые рассуждения о лексикографии должны принимать во внимание тот немаловажный факт, что в глазах лингвистически неискушенного человека словари — это чуть ли не единственное, что оправдывает само существование лингвистики. Но вот парадокс: лексикография, представляющая собой древнейшую отрасль филологической деятельности человечества, до сих пор не располагает хорошо разработанной теорией. Достаточно сказать, что примерно до половины пятидесятих годов нашего столетия незаконченная щербовская работа «Опыт общей теории лексикографии» [3] оставалась единственной попыткой подняться над уровнем аналитического комментирования уже принятых или принимаемых конкретных лексикографических решений и взглянуть на лексикографию как на отдельную научную дисциплину. Отсутствие теории лишало и лишает лексикографическую практику ясных перспектив и весьма болезненно сказывается на качественной стороне создаваемых лексикографических трудов.

Не останавливаясь на причинах очевидной несбалансированности теоретических основ и практических достижений словарного дела, перейдем непосредственно к рассмотрению понятия «теоретическая лексикография», в рамках которой прежде всего выделяется «теория лексикографии». В качестве исходного пункта в настоящей работе принимается известная интерпретация понятия «теория лексикографии», в соответствии с которой оно включает в себя типологию словарей и учение о структуре и элементах словаря. Это понимание, предложенное во французской науке о словарях, без каких-либо оговорок принимается и в последнем по времени крупном отечественном общелексикографическом исследо-

вании, выполненном П. Н. Денисовым, который, в частности, пишет: «... теорию лексикографии делают на типологию (научную классификацию) словарей и на учение о структуре, или элементах словаря. Такое деление принимается и в нашей работе» [4, с. 5].

О том, что проблема типологического разнообразия лексикографических трудов, равно как и вопрос о структурных элементах словаря являются объектом теории лексикографии, спорить не приходится. Однако эти два несомненно важных проблемных блока отнюдь не исчерпывают содержания последней. Приведенная выше интерпретация теории лексикографии оставляет без внимания, по крайней мере, еще пять существенно важных аспектов лексикографической деятельности.

Первым таким аспектом является определение и структурирование самого понятия «лексикография». Действительно, если обнаружение содержания понятия «лексикография» не является задачей теории лексикографии, то, следовательно, это либо задача какой-то другой науки, либо нечто само собой разумеющееся. И то и другое неверно. Важнейшая задача любой теории состоит именно в установлении сущности и границ того явления, рассмотрение которого составляет ее содержание. И это вполне понятно, поскольку странно полагать, что определение и характеристику объекта теории той или иной научной дисциплины можно заимствовать из какой-нибудь другой дисциплины. Дополнительным подтверждением отсутствия общезначимого понимания термина «лексикография» может служить настоящее рассуждение, а также далеко не всеми признаваемый факт расщепления недавно еще целостного понятия «лексикография» и выделение в ее рамках «учебной лексикографии», «машинной лексикографии», «тезаурусной лексикографии» и некоторых других.

Во-вторых, критикуемое понимание теории лексикографии основывается, как кажется, на мысли о том, что имеется некая общезначимая лингвистическая интерпретация языковых явлений, которую лексикографу остается только взять и использовать. Между тем, если обратиться к описаниям языка, как они излагаются в существующих общелингвистических трудах, нетрудно убедиться, что общезначимые решения в лингвистике скорее исключение, чем правило. Правилom же является нечто противоположное — наличие широкого спектра альтернативных, несходных и взаимно дополнительных точек зрения практически по каждому из существенных вопросов, начиная от определения понятия «слово» и кончая интерпретацией целых лексико-грамматических классов (ср. местоимения, числительные, категория состояния и некот. др.). Такая ситуация делает неабсурдным предположение о том, что существенное место в теории лексикографии должна занять разработка специальной, ориентированной именно на потребности практического лексикографирования лексикологии. В этой лексикологии — ее можно было бы назвать словарной — языковые единицы и категории должны быть рассмотрены так, чтобы в самой их интерпретации содержалось указание на те блоки сведений, которые требуют обнаружения в ходе лексикографирования.

Но лексикограф — и в этом тоже особенность его деятельности — имеет дело не с закрытыми, а с принципиально открытыми перечнями языковых фактов. Это значит, что никакое закрытое лингвистическое описание даже в рамках специально разработанной словарной лексикологии не в состоянии учесть все конкретные случаи, с которыми может столкнуться создатель того или иного лексикографического произведения. В связи с этим помимо словарной лексикологии он должен иметь в своем

распоряжении еще и методологические рекомендации, которые позволяли бы ему справляться с трудностями, не отраженными в специальном описании языковых единиц и лингвистических категорий.

Таким образом, мы устанавливаем второй необходимый компонент теории лексикографии, не учитываемый ни одной из известных интерпретаций обсуждаемого понятия. В идеале этот компонент должен быть представлен, во-первых, перечнем методологических рекомендаций (ориентиров), определяющих оптимальный в лексикографическом отношении подход к трактовке языковых и метаязыковых фактов, а во-вторых, курсом словарной лексикологии, содержанием которого была бы ориентированная на нужды лексикографической практики трактовка наиболее важных языковых и метаязыковых явлений. Отличительной чертой словарной лексикологии должны стать, с одной стороны, преодоление в значительной мере искусственного разделения ряда дисциплин внутренней лингвистики и рассмотрение фонетики, фонологии, морфологии, словообразования, присловного синтаксиса в рамках лексикологии, а с другой — расширенное понимание всех реализуемых в словаре языковых категорий с особым вниманием к адекватной интерпретации так называемых системных швов [16].

В-третьих, из того факта, что теория лексикографии ограничивается учением о типах словарей и учением об элементах словаря, вытекает, что остается открытым вопрос о статусе одного из важнейших аспектов лексикографической деятельности, а именно вопрос об источниках словарей, формах и методах накопления и хранения первичных словарных материалов. А ведь это весьма непростой вопрос, тем более, что от его решения во многом зависит успех любого лексикографического предприятия. Определение корпуса источников планируемого словаря, характер и особенности использования других словарей в качестве источника, виды и методика расписывания общелитературных и специальных произведений, целесообразность, методика и границы использования в качестве одного из источников записей устной речи, использование информантов (демоскопия), характер и длина текстового отрезка, в составе которого извлекается и хранится соответствующая языковая единица, количество текстовых отрезков, иллюстрирующих употребление одной и той же языковой единицы, виды словарных картотек и методика их ведения, инструкция для выборщиков как особый жанр лексикографической литературы, возможности малой и большой механизации картотечного дела — вот далеко не полный перечень относящихся к этому аспекту проблем, которые требуют специального углубленного рассмотрения в рамках теории лексикографии.

В-четвертых теория лексикографии, как она складывается в настоящее время, совершенно недостаточно учитывает одну, может быть, и не бросающуюся в глаза, но тем не менее весьма существенную особенность лексикографии. Речь идет об имманентной неоднородности лексикографической деятельности, в которой совмещаются два неблизкородственных творческих процесса. Содержанием первого процесса является чисто филологическая деятельность в ее классической форме (скрупулезный анализ и описание различных фактов языка). Содержание второго — деятельность инженерно-конструкторская, направленная на преобразование разрозненных информационных блоков (они получают в результате филологического анализа) в целостную информацион-

ную систему. С этой точки зрения традиционный словарь с его содержательной многоаспектностью, композиционной неоднородностью, аппаратом однонаправленных и взаимных отсылок, значимыми выделениями и т. п. может быть в определенном смысле уподоблен механическому устройству, обеспечивающему читателю доступ к сведениям о языке. Вполне понятно, что создание такого «устройства» — задача прежде всего инженерно-конструкторская. Отсутствие ясного осознания важности инженерно-конструкторской стороны лексикографии и обусловленное этим обстоятельством пренебрежение к проблемам лексикографического конструирования является, как кажется, основной причиной очевидно-го несоответствия между значительным информационным потенциалом большинства современных словарей русского языка и ограниченными возможностями доступа к содержащейся в этих словарях информации. Таким образом, все многообразие проблем, связанных с определением оптимального вида отдельных компонентов словаря, всего словаря в целом, всей словарной серии или системы рассматривается в рамках того раздела теории лексикографии, который можно назвать лексикографическим конструированием. Важность этого раздела особенно очевидна для некоторых функционально связанных филиаций лексикографии, таких, как учебная лексикография, машинная лексикография и т. д. Применительно, например, к учебной лексикографии указанное обстоятельство объясняется тем, что она обычно имеет дело с меньшими массивами языковых единиц, и, следовательно, обладает большими возможностями в манипулировании ими. Кроме того, учебная лексикография должна согласовывать свои решения с методикой обучения языку, которая в концептуальном отношении находится в постоянном движении (не всегда, правда, поступательно).

В-пятых, теория лексикографии не может уклоняться и от рассмотрения проблем планирования и организации словарной работы, тем более что здесь немало загадок и трудностей, требующих объяснения с учетом специфики именно лексикографической деятельности. Известный теоретик лексикографии Л. Згуста, например, пишет: «Я, конечно, не могу судить о всех лексикографических проектах, реализованных в прошлом или реализуемых в настоящем, но из тех, о которых я знаю, ни один не был завершен в положенное время и на те средства, которые первоначально считались достаточными для его реализации» [7, с. 348]. То же самое можно сказать и о практически обязательном превышении запланированного объема создаваемых словарей.

Чем можно объяснить эти удивительные факты? Главной причиной неадекватности планирования является, как кажется, явление, которое можно назвать лексикографическим идеализмом. Планируя срок завершения словарного проекта, лексикограф интуитивно основывается на двух неверных предположениях. Первое состоит в том, что языковой материал, который ему предстоит рассматривать, аналогичен тому материалу, с которым он уже имел дело в своем прошлом опыте или в ходе пробного лексикографирования в рамках данного проекта. Между тем универсальный закон, согласно которому будущее никогда не повторяет прошлого, в полной мере сохраняет свою силу и применительно к лексикографии. Практически каждая новая языковая единица в том или ином отношении и в той или иной мере неповторима, практически каждая чревата неожиданным поворотом в плане выражения и/или плане содержания. Если так (а практика лексикографической работы не оставляет здесь места для сомнений), то любое планирование в области

лексикографии должно непременно предполагать использование коэффициента непредсказуемого сопротивления языкового материала или, проще, коэффициента непредсказуемых трудностей. Второе неверное предположение, на основе которого осуществляется лексикографическое планирование, заключается в убеждении, что подробный проспект словаря (инструкция для составителя), написанный на пределе возможностей, обсужденный на всех положенных уровнях, исправленный и дополненный в соответствии с замечаниями рецензентов и оппонентов, содержит окончательные для данного словарного проекта решения всех связанных с ним проблем. В действительности дело обстоит несколько иначе.

Создавая проспект, лексикограф, во-первых, описывает в нем, если быть точным, не сам словарь, а его модель, т. е. объект неизмеримо более простой, чем собственно словарь, а во-вторых, он опирается при этом только на общую идею словаря и результаты пробного лексикографирования ограниченного массива языковых единиц. Но ведь анализирующее сознание лексикографа не выключается после написания проспекта. Наоборот, в ходе сплошного лексикографирования отобранного языкового материала лексикограф продолжает работать в заданном направлении, постоянно проверяя на все новых и новых языковых единицах (т. е. учитывая обратную связь) оптимальность зафиксированных в проспекте решений. Таким образом, в процессе реализации любого «затяжного» лексикографического проекта неизбежно появляются и накапливаются решения лучшие, чем те, которые положены в его основание. Иначе говоря, «созревание» концепции происходит в ходе ее воплощения и параллельно с ним. В результате лексикограф оказывается обычно перед дилеммой: либо пренебречь лучшими, но несколько запоздалыми решениями, либо по ходу работы вносить изменения, заменяя худшие решения лучшими.

Первый путь, создавая необходимые условия для соблюдения графика работы над словарем, приводит, однако, к парадоксальной ситуации, следствием которой является то, что после окончания работы над словарем отражаемая им концепция представлена уже по меньшей мере в двух вариантах. В первом варианте она воплощена в самом словаре. Ее характерная черта — отражение, главным образом, таких представлений об объекте и характере лексикографирования, которые сложились у автора (авторов) в самом начале реализации словарного проекта. Во втором варианте концепция существует в невоплощенной форме. Но, впитав в себя весь накопленный автором (авторами) опыт, пройдя проверку на обширном языковом материале, она представляет собой уже нечто несравненно более последовательное, внутренне организованное и зрелое.

Другой путь — использование результатов «созревания» концепции в самом реализуемом проекте — предполагает переработку уже сделанного словарного массива и, следовательно, определенно рушит график работы и отодвигает в неизвестность срок ее завершения.

Несмотря на формальные преимущества первого пути, ожидать, что будет избран непременно он, — значит предъявлять явно чрезмерные требования к профессиональной совести лексикографа. Чтобы дело обстояло именно так, руководить реализацией лексикографического проекта должен не лингвист, а чистый администратор. Поскольку же во главе лексикографических проектов стоят, как правило, лексикографы-лингвисты, избирается обычно средний путь. В согласии с ним те альтернативные решения, которые не требуют полной переработки уже подготовленного словарного массива, принимаются, а идеи более радикальные откладываются

в долгий ящик для реализации в последующем издании словаря или в каком-нибудь параллельном словарном проекте. Ясно, конечно, что такой «ремонт» концепции по ходу работы над словарем оборачивается, как правило, пусть не катастрофическим, однако весьма заметным нарушением сроков завершения работы. Коль скоро это так, планирование в словарном деле требует учета и специального коэффициента, отражающего неизбежность замедления работы из-за необходимости внесения уточнений и изменений в исходную концепцию (его можно было бы назвать коэффициентом следящего совершенствования концепции словаря).

Кроме приведенных причин нарушения сроков реализации лексикографических проектов — а они, как кажется, обладают наибольшей объяснительной силой — в научной литературе можно найти указание на существенную роль таких факторов, как трудности, связанные с работой авторских коллективов; распространенное, но в корне ошибочное представление о легкости и механическом характере лексикографической работы; постоянные изменения в языке и непрекращающееся порождение новых текстов, в результате чего слова всегда сохраняют семантическую неопределенность, и др.

Что касается практически обязательного превышения планируемого объема словаря, то оно также должно предусматриваться посредством использования соответствующего коэффициента. Сам факт превышения объема определяется двумя основными причинами. Первая состоит в следующем. Существенным моментом первоначальной разработки любого словаря является установление разумных ограничений на количество заголовочных единиц и на полноту их описания. В период планирования принятые ограничения, сформулированные обычно в виде определенных принципов и/или критериев, кажутся достаточно строгими, а их соблюдение представляется делом простым и естественным. Такая ситуация объясняется тем, что, планируя, лексикограф также ориентируется скорее на модель словаря, чем на сам словарь, скорее на некие абстрактные (усредненные) языковые единицы, чем на реальные слова и лексические объединения. Идиллия кончается вскоре после начала практической работы над словарем. Заранее принятые ограничения, как правило, оказываются далеко не настолько совершенными и строгими, чтобы на их основе можно было однозначно отделить то, что необходимо включить в словарь, от того, что можно было бы и не включать.

Вторая причина — боязнь ущемить слово, недораскрыть его, утаить от читателя информацию, которая может оказаться ему полезной. Поскольку же границы существенного в семантике и употреблении лексики далеко не всегда четки и определены, часто бывает трудно не поддаваться соблазну интерпретировать слово «с походом», придерживаясь известного житейского принципа: сократить всегда успеется. На самом же деле сокращать уже созданное много труднее, чем восполнять недостающее, в первых, потому, что сокращение — это далеко не механический процесс (оно связано с перестройкой определенного гармонического целого), а во вторых, сокращение только ради того, чтобы уложиться в заданный объем, сопряжено для лексикографа с известным психологическим дискомфортом, что вполне понятно. Ясно, что выработка всех перечисленных коэффициентов возможна только в рамках теории лексикографии.

Среди проблем, связанных с организацией словарной работы, существенное место занимает формирование оптимального в количественном и качественном отношении авторского коллектива для работы над опре-

деленным словарным проектом. Идеальный лексикограф, по моему разумению, совмещает в себе, с одной стороны, способность к теоретическому восприятию и задатки хорошего конструктора, а с другой — склонность к монотонной и скрупулезной филологической работе, не угасающий интерес к живому, пульсирующему слову с его большими и маленькими загадками и тайнами. Поскольку качества эти чрезвычайно редко соединяются в одном человеке, постольку в постоянно действующих лексикографических коллективах желательно иметь специалистов того и другого склада, которые таким образом могли бы дополнять друг друга.

Специалист, обладающий в достаточной мере качеством лексикографа-теоретика, но вовсе лишенный качества лексикографа-практика, может заниматься практическим лексикографированием только в составе авторского коллектива. Специалист, обладающий в достаточной мере вторым качеством, но вовсе лишенный первого, может вполне успешно заниматься словарной работой как в составе авторского коллектива, так и самостоятельно, если, конечно, в последнем случае от него не требовать принципиально нового словаря или остроумных лексикографических решений. Если же человек лишен обоих упомянутых качеств, ему лучше лексикографией не заниматься: он может быть только покупателем или читателем словаря.

Таким образом, теория лексикографии включает в себя по меньшей мере семь разделов, каковыми являются: а) определение объема, содержания и структуры понятия «лексикография», б) словарная лексикология, в) учение о типах словарей, г) учение об элементах словаря, д) учение об основах лексикографического конструирования, е) учение о первичных словарных материалах, ж) учение о планировании и организации словарной работы.

Однако теория лексикографии, составляя ядро теоретической лексикографии, не исчерпывает последнюю. В качестве элемента, различающего эти понятия, выступает история лексикографии.

Действительно, любая лексикографическая деятельность осуществляется на фоне огромной совокупности уже созданных словарей, т. е. на фоне исключительно богатой, многообразной, часто противоречивой лексикографической традиции. Поскольку проблемы, с которыми сталкиваются создатели словарей, в значительной степени однотипны и поскольку все они в уже существующих словарях непременно получили какое-то решение¹, настоятельно необходимым представляется постоянное следящее обобщение опыта практического лексикографирования, причем крайне желательно, чтобы такое обобщение осуществлялось именно лексикографами². Указанное обобщение и должно быть главной задачей истории лексикографии.

Здесь, однако, уместно, как мне представляется, еще раз коснуться вопроса об определенных особенностях специалиста-словарника как субъек-

¹ В своей практической деятельности лексикограф лишен привилегии выбирать для рассмотрения только такие проблемы, которые ему по душе; проблемы перед ним ставятся самим лексикографируемым материалом, и он должен их решать независимо от того, имеют ли они решение в теоретической лингвистике или нет. В этом смысле можно сказать, что не лексикограф выбирает проблемы, а проблемы выбирают лексикографа.

² Ценность описательно-лексикографических работ, написанных языковедами, не имеющими опыта самостоятельного практического лексикографирования, состоит, вероятно, только в привлечении внимания научной общественности к проблемам словаря. Самой же лексикографии они (за редчайшим исключением) не дают ровным счетом ничего.

екта лексикографического процесса. Дело в том, что по роду своего занятия, а часто и по самому своему характеру словарник обычно не склонен обобщать свой опыт, считая достаточным, чтобы решения *ad hoc*, положенные в основание определенного лексикографического проекта, хорошо согласовывались именно с тем языковым материалом, который этим проектом охватывается. Стремление специалистов-словарников к обобщению накопленных практических знаний, к сличению своего профессионального опыта с опытом коллег и предшественников — явление относительно новое как для нашей, так и для зарубежной лексикографии. Оно привело к тому, что в нашей науке сейчас складывается новый (щербовский) тип лексикографа. Современный лексикограф (я имею в виду прежде всего наших ведущих специалистов) не только занимается составлением словарей или не просто совмещает работу над словарем с традиционной академической деятельностью, но и активно участвует в разработке теоретических основ своей науки-искусства-ремесла. Именно в этом я вижу знаменное время, в этом усматриваю существенную отличительную черту современной советской лексикографии. Качественная новизна сегодняшней лексикографической ситуации представляется особенно очевидной на фоне достойной сожаления реальности недавнего прошлого, когда наши лучшие лексикографы, создавая выдающиеся лексикографические произведения и аккумулируя в процессе их создания огромные массы знания, уклонялись, однако, от формулирования эксплицитных лексикографических концепций. Единичные исключения из этого печального правила (хрестоматийный пример — Л. В. Щерба) только оттеняют само правило.

Конечно, существуют определенные объективные причины того, что лексикографы относительно редко позволяют себе выступать в роли теоретиков. Одной из таких причин является, например, тот очевидный факт, что хорошим лексикографом-практиком может стать, как уже говорилось, далеко не любой лингвистически грамотный или даже лингвистически талантливый человек. Чтобы заниматься созданием словарей, надо обладать особым темпераментом, особыми наклонностями и особым складом ума. Готовность изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год исследовать и описывать слова, бесконечные вереницы слов предполагает, в частности, определенное превышение аналитических способностей над способностями синтезирующими. Кроме того, постоянное общение со словами, каждое из которых в большинстве случаев неповторимо, неизбежно вырабатывает у лексикографа известный скепсис относительно ценности широких обобщений. Ведь теоретические концепции, объектом рассмотрения в которых выступает слово, строятся, как правило, на относительно небольших, и что самое важное, специально подобранных (т. е. показательных) массивах языковых единиц. Лексикограф же обычно имеет дело со сплошными массивами лексических единиц и не имеет возможности абстрагироваться от случаев, которые не укладываются в ту или иную теоретическую схему.

История лексикографии неоднородна. В ее пределах могут быть выделены, по крайней мере, два раздела. Первый раздел — история словарей и целостных лексикографических концепций. Объектом исследования в этом разделе является общая или выборочная совокупность лексикографических произведений. Цель исследования состоит в аналитической каталогизации и содержательной систематизации рассматриваемого массива произведений, в выявлении приуроченных к определенным временным и событийным вехам лексикографических приоритетов, а также в установлении места отдельных словарей или концепций в национальном и ми-

ровом лексикографическом процессе. К работам, выполненным в русле обсуждаемой филиации истории лексикографии, относятся, например, лексикографические разделы в традиционных курсах лексикологии современного русского языка, а также такие произведения, как [8—10] и др. Вторым разделом истории лексикографии может считаться история решения типовых лексикографических проблем. Объектом рассмотрения в этом разделе выступают зафиксированные в словарях и теоретических работах осмысления отдельных элементов словаря или, другими словами, совокупность уже предложенных решений таких вечных лексикографических проблем, как формирование словника, расположение заголовочных единиц, грамматическая характеристика, толкование, иллюстративные речения, отражение разного рода относительно ценностных характеристик и т. п. Целью рассмотрения является оценка, систематизация и представление в удобном для ознакомления виде всего накопленного по данной проблеме знания или его определенной части.

Итак, теоретическая лексикография включает в себя теорию лексикографии и историю лексикографии. Теоретическая лексикография вместе с практической (в нее входят: а) создание словарей, б) накопление и хранение первичных словарных материалов) составляют содержание понятия «лексикография», которую в самом общем виде можно определить как область филологической и инженерно-филологической деятельности, состоящей в создании словарей и других произведений словарного типа, а также в осмыслении всей суммы относящихся к этому проблем. В обобщенном и иерархически упорядоченном виде содержательное разнообразие понятия «лексикография» может быть представлено так:

0.0. ЛЕКСИКОГРАФИЯ

1.0. теоретическая лексикография,

1.1. теория лексикографии,

1.1.1. определение объема, содержания и структуры понятия «лексикография»,

1.1.2. словарная лексикология,

1.1.3. учение о жанрах и типах словарей,

1.1.4. учение об элементах и параметрах словаря,

1.1.5. учение об основах лексикографического конструирования,

1.1.6. учение о первичных словарных материалах, т. е. учение о картотеках,

1.1.7. учение о планировании и организации словарной работы,

1.2. история лексикографии,

1.2.1. история словарей,

1.2.2. история решения типовых лексикографических проблем,

2.0. практическая лексикография

2.1. создание словарей и других произведений словарного типа,

2.2. накопление и хранение словарных материалов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Смирницкий А. И. К вопросу о слове (Проблема «отдельности слова») // Вопросы теории и истории языка в свете трудов И. В. Сталина по языкознанию. М., 1952.
2. Соссюр Ф. де. Труды по языкознанию М., 1977.
3. Щерба Л. В. Опыт общей теории лексикографии // Щерба Л. В. Языковая система и речевая деятельность. Л., 1974.
4. Денисов П. Н. Основные проблемы теории лексикографии: Автореф. дис. ...докт. филол. наук. М., 1976.

5. Морковкин В. В. О базовом лексикографическом знании // Учебники и словари в системе средств обучения русскому языку как иностранному / Под ред. В. В. Морковкина и Л. Б. Трушиной. М., 1986. С. 102—117.
6. Морковкин В. В. Русская лексика в аспекте педагогической лингвистики // Научные традиции и новые направления в преподавании русского языка и литературы: Доклады советской делегации на Шестом международном конгрессе преподавателей русского языка и литературы. М., 1986. С. 214—228.
7. Zgusta L. Manual of lexicography. Praha, 1971.
8. Цейтлин Р. М. Краткий очерк истории русской лексикографии. М., 1958.
9. Виноградов В. В. Толковые словари русского языка // Язык газеты. М.— Л., 1941.
10. Морковкин В. В. Идеографические словари. М., 1970.

ЛУКИН М. Ф.

К ВОПРОСУ О ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКОМ СТАТУСЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ

О частеречном объекте числительных. В морфологии современного русского языка весьма существенным является вопрос о частях речи. Но что такое части речи, какова их лексико-грамматическая природа, у языковедов нет единого мнения: ими предлагаются различные принципы частеречной классификации. По этой же причине у нас до сих пор нет какой-либо одной общепринятой классификации слов на морфологическом уровне.

В грамматиках в основном правильно определяется грамматический объект каждой части речи. Исключение составляют числительные. Отечественные грамматики (прошлого и настоящего времени) традиционно трактуют их как слова, обозначающие преимущественно количество (или число) предметов: «Между прилагательными особо примечаются имена числительные, то есть число вещей показывающие...» [1]; «И м я ч и с л и т е л ь н о е — это часть речи, обозначающая количество и выражающая это значение в морфологических категориях падежа (последовательно) и рода (непоследовательно)...» [2, с. 573]; «К числительным как части речи относятся такие лексемы, которые имеют значение количества» [3, с. 297]; «Значение имени числительного как части речи — точное обозначение количества предметов...» [4].

Серьезным недочетом в понимании частей речи в последнее время, на наш взгляд, является их сугубая морфологизация, т. е. «объединения морфологических форм слов на основе общности их словоизменительных морфологических значений, а также тех формальных средств, с помощью которых эти значения выражаются» [2, с. 459], не учитывающая возможность частеречной омонимии. В сфере числительных, например, это привело к тому, что: 1) числительное *один* квалифицируется как прилагательное, а *тысяча*, *миллион*, *миллиард* — как существительные [2, с. 573; 5, с. 387]; 2) порядковые числительные исключаются из системы числительных и рассматриваются как порядковые [6, с. 192; 2, с. 573] или количественные прилагательные [3, с. 293], а собирательные числительные из количественных числительных выделяются в самостоятельный разряд [2, с. 573; 3, с. 299]; 3) дробные числительные лишаются права даже называться числительными, потому что «эти феномены представляют собою такое сочетание количественного числительного с порядковым прилагательным, в котором опущено подразумеваемое существительное *часть*» [7].

Такая трактовка числительных, по нашему мнению, неверна, потому что не учитывает специфики исторического развития данной категории. Назрела настоятельная потребность в ее научном пересмотре.

Для правильного понимания лексико-грамматической природы числительных и специфики их исторического развития прежде всего важно

выяснить, что является объектом числительных как части речи, какие явления действительности они называют и каковы средства их выражения. Если бы числительные обозначали только количество лиц или предметов, то к ним следовало бы отнести и так называемые счетные существительные типа *пара, пятерка, сотня* и это нисколько не противоречило бы приводимым определениям. Однако никто этого не делает.

Объект имени числительного как части речи, на наш взгляд, в синхронном плане — это сложившаяся к настоящему времени счетная система (количественная и порядковая) и каждая единица этой системы, в диахронном — история их развития.

Есть различие между словами *количество* и *число*. Количество всегда имеет конкретный характер, а число — абстрактный. Счетная система непосредственно связана с абстрактными числами, а не с количеством. Число, основное математическое понятие, в устной речи воспроизводится в форме слов, в письменной — обозначается специальными знаками (цифрами или буквами). В многовековом опыте поколений сложилось представление об отвлеченном характере чисел, а следовательно, и слов, выражающих эти числа.

В. В. Иванов говорит уже об абстрактных числах как системе и связывает ее формирование с развитием абстракции в мышлении человека: «Развитие системы абстрактных чисел свидетельствует о степени развития абстракции в мышлении людей, и поэтому важно учитывать наличие системы таких чисел (разрядка наша. — Л. М.) в том или ином языке» [8, с. 327]. Эта система чисел — *с четная система*.

Современная русская счетная система основана на десятичной нумерации. В ней все числа от 1 до 9 обозначаются индивидуальными символами 1, 2, 3, ... 9. К ним присоединяется еще знак 0 для обозначения нуля. Каждое число может быть изображено только при помощи этих десяти знаков по принципу позиционного значения, сущностью которого в том, что каждый знак может изменять свое значение в зависимости от позиции (места) в числе. Благодаря своей краткости, возможности записи бесконечно большого или, наоборот, бесконечно малого числа, удобству разных математических действий над числами, десятичная система полностью удовлетворяет потребности в счете.

Единицы счетной системы — это числа, выражаемые счетными словами — числительными. Но не все слова, имеющие числовую семантику, могут быть рассмотрены как числительные. К числительным нельзя отнести так называемые счетные существительные, потому что они не представляют собой последовательной счетной системы и, кроме числового значения, имеют еще и другую, дополнительную семантику — значение предметности (ср., например: *тройка*¹ (лошадей) и *тройка*² (оценка)]).

Следует отметить такие виды счетной системы: количественную, порядковую (как особый тип количественной) и порядковую.

Общая характеристика количественной счетной системы. Абстрактных чисел бесконечное множество. Расположенные в определенной последовательности (от одного — меньшего числа к другому — следующему, большому), они образуют счетную систему, выражаемую словами: *один, два, три, ... сто, сто один... девяносто девять, тысяча, ... миллион, ... миллиард, ... триллион, ... квадрильон*.

Натуральных чисел бесконечное множество, но слов для их выражения не так уж много — всего 41. Комбинация же этих слов способна выразить все бесконечное множество чисел.

Как ни одно число не может быть исключено из счетной системы, так

и ни одно числительное, выражающее числовую единицу этой системы, тоже не может быть исключено из нее. В самом деле, если *один* исключить из состава числительных и отнести к прилагательным, то наша счетная система, выражаемая числительными, останется без своей начальной единицы, начнется сразу с *двух*. Если слово *тысяча* исключить из состава числительных, то счетная система после *девятисот девяносто девяти* останется без последующей единицы счета, в системе образуется словесный пробел, и т. д. То же самое можно сказать и относительно слов *миллион*, *миллиард* и им подобных.

Собирательные числительные (одна из групп количественных числительных) представляют собой замкнутую, весьма ограниченную счетную систему, образованную от определенно-количественных числительных только первого десятка (за исключением его начальной единицы).

Русская счетная система в математико-лингвистическом аспекте. Структуру современной русской счетной системы количественных числительных (основного разряда имени числительного) в математико-лингвистическом аспекте можно представить следующим образом. Математики выделяют иерархические классы натуральных (целых) чисел: 1) единицы, 2) десятки, 3) сотни, 4) тысячи, 5) миллионы, 6) миллиарды (= биллионы), 7) триллионы, 8) квадрионы, 9) квинтильоны, 10) секстильоны, 11) септильоны и т. д., каждый в 1000 раз больше предшествующего. Эти классы образуют циклы — более крупные числовые системы. Циклы — это последовательные этапы формирования счетной системы.

Рассмотрим несколько подробнее структуру циклов.

Первый цикл. Он состоит из четырех классов. Первый класс — класс единиц, содержащий числа от 0 и 1 до 9. В математике они называются *у з л о в ы м и*, т. е. не разложимыми на составные числовые наименования. Числительные первого класса по структуре представляют собой простые однокорневые слова.

Второй класс — от 10 до 19. К *десяти* последовательно прибавляем числа первого класса. *Десять* — простое однокорневое числительное. Остальные — сложные слова. Мы говорим: *один-на-дцать*, *...девят-на-дцать*. Здесь на отражает древний предметный счет: «положить *один* (какой-то предмет) *на десять* (других предметов)».

Третий класс — круглые десятки от 20 до 90. Числительные, называющие круглые десятки, представляют собой сложные слова: *двадцать*, *тридцать* (за исключением *сорок*). При склонении сложные определенно-количественные числительные, начиная с *пятидесяти*, обнаруживают две флексии: внешнюю и внутреннюю (например, *о восьмистах*). При дальнейшем счете к каждому десятку последовательно прибавляются единицы первого класса, сочетание с которыми образует уже составные числительные: *двадцать один*, *...девяносто девять*. Прибавление еще одной единицы к 99 вызывает появление нового класса (сотен).

Четвертый класс — класс круглых сотен (от 100 до 900). По морфемному составу это сложные числительные (за исключением *сто*). В сочетании же с числительными первого, второго и третьего классов они рассматриваются как составные. Последовательное прибавление к каждой сотне чисел предшествующих классов вызывает появление новой сотни. Число 999 замыкает первый цикл счетной системы. Прибавление к нему еще одной единицы рождает новое число — 1000 (*тысячу*), первую единицу пятого класса, нового — второго цикла.

Второй цикл. Пятый класс — класс тысяч, образующих новый

цикл. Особенности его в том, что счет в нем, как и в первом классе, начинается с единицы, но единицы более высокого иерархического класса — *тысячи*: счет в этом цикле идет уже на тысячи. Последовательно прибавляются счетные единицы первого, второго, третьего, четвертого классов (от 1001 до 999 999). Числительные этого цикла — составные. Числом 999 999 замыкается второй цикл. Прибавление к этому числу еще одной единицы образует новое узловое число (*миллион*), новый класс (*миллионов*) и новый цикл.

Третий цикл. Шестой класс — класс миллионов. Как цикл он представляет сложную многоступенчатую числовую иерархию. Здесь так же, как и в предыдущих циклах, счет начинается с единиц, но с единиц более высокого класса — с единиц миллионов и последовательно присоединяемых к нему чисел первого и второго циклов — до 999 999 999.

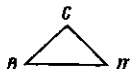
С *миллиарда* начинается новый класс и новый (четвертый) цикл. Такова специфика русской счетной системы, построенная на принципе последовательно расширяющихся чисел.

Как показывает структура счетной системы, специфика второго, третьего и четвертого циклов в том, что каждый из них начинается с узловых чисел первого класса, которые подвергают счету эти самые начальные единицы высших циклов (*тысяча, миллион, миллиард*). Счет обычно начинается с *двух (две тысячи, два миллиона и т. д.)*. Правда, следует заметить, что нормативным считается употребление начальной единицы высшего цикла не только в эллиптической форме сочетания (т. е. просто *тысяча, миллион, миллиард*), но и в полной (*одна тысяча, один миллион, один миллиард*). В полной форме структура первой части таких сочетаний создается по аналогии с моделью именных словосочетаний, имеющих числительные первого цикла (*одна туча, пятьдесят лимонов, сто отрядов*), но только объектом счета в них являются уже не предметы, а, повторю, начальные единицы счетных циклов (*одна тысяча, пятьдесят миллионов, сто миллиардов*). В этом, оказывается, секрет того, что числительные *тысяча, миллион, миллиард* лингвистами принимаются за существительные. И это неудивительно: начальные единицы (узловые числа) высших циклов имеют признаки существительного, в то же время не являясь им. Это ложные существительные, грамматические миражи существительных, так долго вводившие в заблуждение ученых. Если бы вместо *тысяча, миллион, миллиард* были бы какие-то другие слова-думералы, употребленные в значении узловых чисел высших циклов, то и они подверглись бы счету и имели признаки существительных. Такова уж особенность русской системы счисления с ее циклами, такова ее неумолимая логика: в высшем цикле не только повторяются счетные единицы низших циклов и классов, но и подвергаются счету сами начальные единицы этих циклов, сами низшие числовые циклы. Об этом убедительно свидетельствует и то, что и в древности начальные единицы циклов имели признаки существительных и наши предки подвергали счету начальные единицы циклов своей счетной системы. Это подтверждает этимология современных числительных. Например, у В. В. Иванова: *три десате* > *тридцать, двѣ сътъ* > двести, *пять сътъ* > *пятьсот* [8, с. 324—327]. Счет числительных в древнерусском языке вообще был обычным явлением. И. И. Срезневский отмечает, что у наших предков «был в ходу счет по девяностам»: *два девяноста, съ тремя девяноста* [9, стлб. 650],

а иногда и по д е в я т к а м: *тридцать*, от которого образовался фразеологизм *«тридцатое царство»* [9, стлб. 651].

Еще одно веское доказательство. Хотя А. А. Реформатский отрицает то, что *тысяча*, *миллион*, *миллиард* являются числительными, в то же время он дает удивительно простой ключ к правильному решению этого вопроса:

«В обычном треугольнике слова (слово — вещь — понятие)



для числительных отсутствует левый угол. Число не вещь, а понятие» [5, с. 388]. Применим этот треугольник по отношению к словам *тысячица*, *миллионер*, *миллиардер* — треугольник будет заполнен: они существительные, а при рассмотрении слов *тысяча*, *миллион*, *миллиард* левый угол у треугольника будет отсутствовать. И неудивительно: ведь они никакой «вещи», никакого предмета не называют. Их номинативные значения выражают не предметность, а понятие числа, причем конкретного числа счетной системы русского языка. В заключение хочется отметить, что слова *тысяча*, *миллион*, *миллиард* в русском языке появились как числительные, выполняли и сейчас выполняют роль числительных. Правда, «Словарь современного русского языка» указывает, что эти слова могут быть употреблены: 1) в своем обычном значении числительных: *тысяча рублей*; *двести тысяч десяти тысяч лесу*; состояние, равное *шести миллионам рублей*; в *два миллиарда раз* обильнее и 2) в значении большого количества, множества кого или чего-либо: *тысяча извинений*; *тысячи людей*; *миллион снежинок*, *миллион ужинок*, *миллиарды людей*, *миллиарды звезд*, *миллиарды миллиардов* [10, т. 6, стлб. 985, 987; т. 15, стлб. 1199].

Во втором случае, как видим, наблюдается передвижение этих слов из разряда определенно-количественных в разряд неопределенно-количественных числительных. Среди примеров, приводимых в данном словаре, встречаются и случаи употребления этих числительных в значении существительных: *разговаривать с т ы с я ч а м и* (людей), *судьбы м и л л и о н о в*, *мечтать о м и л л и о н а х* (большом состоянии, капитале). Одно ясно: первичная их функция — функция числительных, употребление же в значении неопределенно-количественных числительных и в значении существительных — позднейшая трансформация, а не первичное их значение [11, 12].

Партитивная счетная система. Дробь в математике — число, составленное из целого числа долей единицы, качественно однородной, а поэтому и принятой за единицу измерения. Существуют дробные числа — существуют и слова, выражающие их значения. Эти слова — дробные числительные.

Дробные числительные могут последовательно выражать систему партитивных чисел: *одна вторая*, *одна третья*, *одна четвертая*, ... *одна тысячная*, ... *одна миллионная*, ... и т. д.; *две третьих*, ... *две сотых* и т. д.; *девятьсот девяносто девять миллиардных* и т. д. Они оформились на основе эллипсиса существительного ч а с т ь или д о л я в количественном словосочетании и обозначают дробную (не целую) величину, по своей структуре являющуюся составным числительным: в них количество долей (числитель) выражается определенно-количественным числительным, а название частей (знаменатель) — родительным падежом множественного числа порядковых числительных.

Грамматическая специфика дробных числительных охарактеризована

Н. М. Шанским и А. Н. Тихоновым [13]. В «Русской грамматике» о дробных числительных говорится: «В некоторых классификациях к составным числительным причисляются так называемые дробные числительные типа *две пятых* (подразумеваются доли единицы), *семь двадцатых*, *девять тридцать вторых*... Однако такие сочетания не могут быть отнесены к числительным. Они представляют собой имеющие количественное значение сочетания слов (часто союзом *и*), относящихся к разным частям речи» [2, с. 574].

Из заключительного предложения этого отрывка можно сделать вывод, что в «Русской грамматике» аксиомой считается то, что сочетания слов разных частей речи не могут образовать новой — третьей части речи. Однако это не аксиома, а гипотеза, требующая доказательств. Легче доказывается противоположное: сочетания разных слов (предлога и существительного) в *обзават, на дом, на ходу, с налету* рассматриваются в «Русской грамматике» (и вполне справедливо!) как наречия [2, с. 405—406], а сочетания служебных слов с существительными или деепричастиями *без сопровождения, в течение, по направлению, по поводу, несмотря на, исходя из* — как предлоги [2, с. 707—709].

Из приводимых примеров можно сделать вывод: сочетания слов разных частей речи могут образовать новую часть речи (конечно, одну из тех, которые уже имеются в частеречной системе русского языка). К тому же дробные числительные — сочетание не разных частей речи, а двух разрядов одной и той же части речи — количественных и порядковых числительных.

Порядковая счетная система. Числа, кроме указания на количество предметов, выполняют еще и функцию порядкового счета — счетного порядка следования однородных предметов: *первый, второй, третий, ... сотый, ... тысячный, ... миллионный*.

Порядковые числа выражаются счетными словами, называемыми **порядковыми числительными**. По морфологическим и синтаксическим признакам порядковые числительные очень сходны с прилагательными. Это и послужило основанием включать их в разряд относительных прилагательных и рассматривать как порядковые прилагательные.

Однако порядковые слова все же следует отнести к системе числительных, а не прилагательных, и вот почему.

1. Относительные прилагательные и порядковые числительные объединены в одну часть речи искусственно: они имеют разные объекты отражения действительности. Признак предмета, выраженный относительными прилагательными, раскрывается через его отношение к предмету (*кожаный портфель*), действию (*спасательная лодка*) или обстоятельству (*вечерние новости*). А порядковые числительные своим объектом имеют только порядковый счет, только порядковую счетную систему, т. е. такой признак, который прилагательным несвойственен.

Правда, относительные прилагательные могут указывать на отношение к числу: *двадцатиградусный мороз* (*мороз и двадцать градусов*), *пятнадцатилетний возраст* (*возраст и пятнадцать лет*). Но это сложные относительные прилагательные. Они указывают на количественный признак, а не на порядковый счет: мороз на сколько градусов? на двадцать и т. п. А порядковые числительные, употребляемые в значении прилагательных, приобретают качественную семантику, переставая при этом обозначать порядковый счет. Ср., например: *десяти тысячный трактор*, выпущенный заводом, и *десяти тысячный город* (в значении «имеющий десять тысяч жителей»). Способ их различения —

постановка вопроса: «который?» — для порядковых числительных и «какой?» — для относительных прилагательных.

2. Порядковые числительные образуются от определенно-количественных числительных и поэтому между ними наблюдается такая семантическая и словообразовательная связь, которая допускает их взаимное преобразование: *три стола* ↔ *третий стол*, *пять домов* ↔ *пятый дом*.

3. Окончания порядковых числительных -ый, -ой, -ий омонимичны флексиям прилагательных, а это дает основание порядковые числительные и прилагательные рассматривать как грамматические (частеречные) омонимы. Ср., например: *столовая комната* и *студенческая столовая*; *раненый осколком снаряда боец*; *раненый боец тихо стонал* и *раненый отправлен в госпиталь*. Ведь в подобных однокорневых словоформах их флексии рассматриваются как омонимичные и даже как суффиксы-окончания разных частей речи [6, с. 158]. Так почему же разнокорневые слова (порядковые числительные и относительные прилагательные), семантически и деривационно далекие между собой, объединяются в одну часть речи? Серьезного научного ответа на этот вопрос современные грамматики не дают.

«В мире нет ничего, кроме движущейся материи, и движущаяся материя не может двигаться иначе, как в пространстве и во времени» [14]. Любая из форм движущейся материи может быть охарактеризована в счетном аспекте. Мерой форм движущейся материи (дискретной и предварительно дискретизированной для счета) является число, система чисел, которые выражают различие между их единичностью и точным множеством даже в разноструктурных языках [15]. В русском языке число, система чисел выражается счетными словами, которые в грамматике называются числительными.

При рассмотрении некоторых основных вопросов лексико-грамматического статуса числительных мы исходили из комплекса критериев выделения частей речи, предложенного «Русской грамматикой»: «Части речи — это грамматические классы слов, характеризующиеся совокупностью следующих признаков: 1) наличием обобщенного значения, абстрагированного от лексических и морфологических значений всех слов данного класса; 2) комплексом определенных морфологических категорий; 3) общей системой (тождественной организацией) парадигм и 4) общностью основных синтаксических функций» [2, с. 457]. Такое понимание частей речи в целом заслуживает положительной оценки, хотя, следует заметить, нет ни одной части речи, которая строго отвечала бы всем этим требованиям.

Глагол, например, представляет собой соединение весьма разнородных грамматических явлений: прежде всего форм (спрягаемых и неспрягаемых, подразделяющихся на склоняемые и неизменяемые), затем многочисленных категорий — классифицирующих и дифференцирующих (вид, залог, наклонение, время, лицо, число, род, а если причастие — падеж, полная и краткая форма). Глагол и синтаксически неоднороден: его формы (то одни, то другие) могут выполнять функции всех членов предложения — главных и второстепенных. Однако такая их грамматическая пестрота не явилась препятствием к объединению всех глагольных форм в одну самостоятельную часть речи — глагол, потому что у них имеется три общих постоянных признака: значение действия в широком понимании, переходность — непереходность и категория вида.

Поразительна частеречная пестрота и категории наречий, которая, по образному выражению В. В. Виноградова, «истари являлась свалочным местом для всех так называемых „неизменяемых“ слов» [6, с. 569]. Поэтому-то «Русской грамматикой» они как часть речи определяются преимущественно по семантическому признаку [2, с. 703].

Числительные по своей деривационной и морфологической пестроте, по многообразию синтаксических функций не представляют частеречного исключения:

1) каждый их лексико-грамматический разряд, каждая их группа выделяется своей словообразовательной спецификой;

2) характерной чертой количественных числительных является полное отсутствие у них категории рода (за исключением *один, два*) и числа (за исключением *один*): ведь они выражают абстрактные числа, а при обозначении точного количества предметов сочетаются с существительными разных родов;

3) каждая семантико-деривационная группа количественных числительных имеет свою парадигматику. У нумератива *один* она омонимична парадигматике прилагательных, а у числительных *тысяча, миллион, миллиард* — падежно-числовым формам существительных;

4) у порядковых числительных материальное выражение категорий рода, числа и падежа омонимично материальному выражению этих же категорий у прилагательных.

Но объединяет все числительные общий объект — сч е т н а я с и с т е м а русского языка, которую они выражают в различных аспектах, — и общемуна категория падежа.

В связи с этим возникает необходимость пересмотреть существующую ныне точку зрения, согласно которой числительные — это слова, обозначающие только количество предметов. Числительным, на наш взгляд, следует дать такое определение: «Ч и с л и т е л ь н о е — это именная часть речи, выражающая существующую в современном русском языке количественную и порядковую счетную систему, а также единицы этой системы, имеющие общую парадигматику по семантико-деривационным разрядам и группам».

История русского языка показывает эволюционное развитие счетной системы в течение ряда эпох. Числительные для выражения счетных единиц выделялись из синкретичного древнерусского имени, и поэтому неудивительно, что одни числительные имеют омонимичные формы существительных, другие — прилагательных [16]. Выделились. Так зачем же теперь снова числительные объединять с ними?

На основе конкретного количества предметов формируется понятие абстрактного числа, а затем на основе конкретного количества предметов и последовательно расширяющихся абстрактных чисел сформировалась современная счетная система. Таким образом, специфика исторического развития числительных — от названия количества конкретных предметов к абстрактному числу и к выражению абстрактной счетной системы.

История формирования числительных — убедительная иллюстрация жизненности одного из законов марксистской диалектики — перехода количества в качество.

ЛИТЕРАТУРА

1. «Российская грамматика» Антоха Алексея Барсова. [М.], 1981. С. 99.
2. Русская грамматика. Т. I. М., 1980.
3. Современный русский язык / Под ред. Белошапковой В. А. М., 1981.

4. Яко-Триницкая Н. А. Русская морфология. М., 1982. С. 59.
5. Реформатский А. А. Число и грамматика // Вопросы грамматики: Сб. статей к 75-летию акад. И. И. Мещанинова. М.— Л., 1960.
6. Виноградов В. В. Русский язык (грамматическое учение о слове). М., 1972.
7. Милославский И. Г. Морфологические категории современного русского языка. М., 1981. С. 123.
8. Иванов В. В. Историческая грамматика русского языка. М., 1983.
9. Срезневский И. И. Материалы для словаря древнерусского языка. Т. 1. СПб., 1893. С. 650, 651.
10. Словарь современного русского литературного языка. Т. 1—17. М.— Л., 1948—1965.
11. Лукин М. Ф. Трансформация частей речи в современном русском языке. Донецк, 1973. С. 53—54.
12. Лукин М. Ф. Морфология современного русского языка. М. 1973. С. 103.
13. Шанский Н. М., Тихонов А. Н. Современный русский язык. Ч. II. Словообразование. Морфология. М., 1981. С. 146.
14. Ленин В. И. Материализм и эмпириокритицизм // Полн. собр. соч. Т. 18. С. 181.
15. Шевченко С. А. Языковые средства выражения количества в современном английском, русском и украинском языках. Киев, 1981.
16. Иванов В. В., Потиха З. А. Исторический комментарий к занятиям по русскому языку в средней школе. М., 1985. С. 102.

МУХИН А. М.

ВАЛЕНТНОСТЬ И СОЧЕТАЕМОСТЬ ГЛАГОЛОВ

В последние десятилетия при исследовании структуры предложений внимание языковедов все более концентрируется на глаголе, особенно его личных формах, которым фактически отводится роль структурного центра предложения. На этой основе в лингвистике возникло и получило довольно широкое распространение понятие валентности глагола, истолкование которого, однако, наталкивается на целый ряд трудностей¹.

В частности, нельзя пройти мимо следующих принципиальных неясностей, связанных с трактовкой глагола как структурного центра предложения. Во-первых, глаголы в их личных и неличных формах не относятся к числу синтаксических единиц, получаемых в результате членения предложений на основе их внутренних синтаксических связей, подобно тому как не являются синтаксическими единицами и существительные в их различных формах или прилагательные. Во-вторых, далеко не каждое предложение, например, в английском или русском языках, содержит в себе глагол, который можно было бы изучать со стороны его валентности. В-третьих, кроме валентностных характеристик, устанавливаемых в предложениях, глаголы обладают еще специфически лексической сочетаемостью, которая отражается в словарях и без учета которой часто нельзя понять значения глагола. Из указанных трех принципиальных положений, имеющих отношение к изучению роли глагола в предложении, в настоящей статье мы сосредоточим внимание главным образом на последнем положении, которое предполагает разграничение единиц лексического и синтаксического уровней языка, обладающих соответственно лексической или синтаксической семантикой.

Последовательное изучение тех и других единиц в их системных отношениях и с учетом их взаимодействия имеет несомненную значимость для сопоставительного исследования языков. Сочетаемость как дистрибутивная особенность глагола, в которой проявляется его лексическая семантика, устанавливается по отношению к единицам того же уровня, т. е. речь может идти о сочетаемости глагольных лексем с другими лексическими единицами, в частности и в особенности с субстантивными лексемами, причем такая сочетаемость может осуществляться с помощью

¹ Под валентностью глагола обычно понимается количество дополнений, которыми он управляет. См. об этом, например, в одной из позднейших работ Г. Сомерса [1], где достаточно полно показаны трудности и неопределенности, возникающие в этой области исследований при разграничении дополнений (complements) и адъюнктов (adjuncts), а также разнообразие используемой терминологии и методов. В настоящей статье нет возможности осветить литературу, весьма значительную, посвященную проблеме валентности глагола. Свою задачу автор усматривает в обосновании понятий, внесенных в название статьи, в рамках общей проблемы уровней языка (с учетом специфики лексических и синтаксических единиц, существующих между теми или другими связями и отношений и т. д.).

служебных элементов или без них². Существенно также заметить, что изучение сочетаемости глагольных лексем неизбежно приводит к различению среди них, с одной стороны, переходных глаголов, определяемых по их способности к предложному или беспредложному управлению, а с другой — непереходных глаголов, лишенных этой способности. Например, английские глаголы *wait* «ждать», *expect* «ожидать» и *look (for)* «искать» являются переходными, точнее однопереходными, и как таковые они управляют посредством предлога *for*: *to wait for a chance*, *to wait for news*, *to look for a book* и т. д. Однопереходным же является и глагол *love* «любить», которому свойственно беспредложное управление: *to love one's parents*, *to love one's country*, *to love finance* и т. д. В русском языке указанным трем английским глаголам соответствуют однопереходные глаголы, управляющие без помощи предлога, соответственно, родительным или винительным падежом: *ожидать случая*, *ожидать известия*; *искать книгу*; *любить родителей*, *любить родную страну* и т. д. Наличие у каждого переходного глагола совершенно определенного управления позволяет исследователю строить знаковые модели, подобные следующим [буква С (лат. complementum) обозначает лексему-дополнение, которая в русском языке имеет показатель падежа — родительного (C_г) или винительного (C_в)]: V_{tr} + *for* + С (*to wait for a chance*; *to look for a book* и т. п.), V_{tr} + С (*to love one's parents* и т. п.), V_{tr} + C_г (*ожидать случая* и т. п.), V_{tr} + C_в (*искать книгу*; *любить родителей* и т. п.).

Такое истолкование переходных глаголов через управление, предложное или беспредложное, обретает опору в лексикографической практике, причем независимо от принятого в словарях традиционного понимания переходности (наличие управляемого винительного падежа в русском языке или беспредложного дополнения в английском). Дело в том, что если глагол действительно является переходным, т. е. способным к управлению, предложному или беспредложному, то более или менее полные словари, как правило, отражают особенности присущего данному глаголу управления: указывают предлог, посредством которого осуществляется управление этого переходного глагола, а также падеж управляемого имени, будь то родительный или винительный, или дательный, или творительный, как в русском языке [4]⁴. В случае же непереходного

² Соответственно и в самом определении лексемы должна получаться отражение сочетаемость с лексическими единицами того же рода, как ее дистрибутивная особенность, общая для различных форм — вариантов данной лексемы. Например, лексема определяется как элементарная лексическая единица, принадлежащая к определенной части речи и обладающая лексической семантикой, которая проявляется в ее сочетаемости с другими лексемами [2].

³ Мы используем здесь сложный термин «лексема-дополнение» (или «комплементарная лексема»), чтобы подчеркнуть тот факт, что речь идет именно о лексемах в составе конструкций (глагольных словосочетаний или фраз), возникающих на основе предложного или беспредложного управления. Поэтому в моделях таких конструкций предлог как средство управления представлен отдельно. В предложениях же предлог образует неделимое сочетание с существительным или местоимением, которое служит средством выражения синтаксемы — элементарной синтаксической единицы, обладающей синтаксической семантикой [3].

⁴ Если же за переходный принимается только глагол, управляющий винительным падежом (без предлога), теоретическое истолкование переходности лишается опоры в лексикографической практике. При этом возникают трудности и несоответствия, подобные следующим: переходные глаголы рассматриваются в разделе морфологии (хотя в их морфологической структуре в целом нет ничего специфического, что отличало бы их от непереходных глаголов), управление же, включая управление винительным падежом, на основании которого они собственно и отграничиваются от непереходных глаголов, трактуется в разделе синтаксиса [5, 6].

глагола в словарях нельзя найти указания на какой-либо предлог, характерный для этого глагола, не указывается также падежная форма существительного или местоимения, с которой сочетается глагол. И это естественно, т. к. непереходный глагол лишен способности к управлению, его лексическая семантика не обуславливает употребления именно данного предлога или данной падежной формы. Поэтому, между прочим, часто становится возможным отграничить переходный глагол от непереходного с помощью экспериментов, сводящихся к замене предлога или падежной формы имени при глаголе: при наличии управления такая замена не допускается (если только переходному глаголу не свойственно вариативное управление), тогда как непереходный глагол обычно допускает замену предложного сочетания другими сочетаниями этого рода. Так, предложное сочетание *on the table* при непереходном глаголе в предложении *The book is lying on the table* может быть заменено сочетаниями *in the table*, *under the table*, *near the table*, *beside the table*, *above the table* и т. п. [7, с. 149—150] (ср. также в русском языке: *Книга лежит на столе* → . . . *под столом* → . . . *возле стола* → . . . *над столом* и т. п.). В предложении же с переходным глаголом *This depends on you* предлог *on* не поддается замене другими предлогами, за исключением *upon* (ср. также невозможность замены предлога в сочетании с местоимением в соответствующем русском предложении: *Это зависит от вас*).

Отграничение переходных глаголов от непереходных, не способных к управлению, является необходимой предпосылкой для изучения их сочетаемости, т. к. лексическая семантика переходных глаголов обычно достаточно полно раскрывается в их сочетаниях с управляемыми элементами, т. е. с дополнениями, или лексемами-дополнениями (обозначаемыми буквой С в моделях управления, подобных приведенным выше). На этой основе, а именно с учетом как лексической семантики, так и сочетаемости переходных глаголов, обладающих одним и тем же управлением, производится выделение лексико-семантических групп этих глаголов.

Группы различаются и среди глаголов с общим для них управлением. Такое положение вещей наблюдается, например, при выделении двух лексико-семантических групп, в состав которых входят упомянутые выше английские глаголы, имеющие одно и то же управление ($V_{tr} + for + C$). Одну из таких групп составляют однопереходные глаголы со значением ожидания или надежды (*hope*, *look₁*, *wait*, *watch*), которые сочетаются с лексемами-дополнениями, обозначающими абстрактные понятия, явления природы: *to hope for success*, *to hope for fine weather*, *to look for favour*, *to look for rain*, *to wait for a reply*, *to wait for a chance*, *to watch for a favourable opportunity* и т. п.

В другую лексико-семантическую группу входят однопереходные глаголы со значением поиска, добывания чего-л. (*angle*, *dap*, *dig*, *dive*, *fish*, *fumble*, *look₂*, *mine*, *pickeer*, *prospect*, *sweep* и т. п., сочетаемость которых уже несколько иная, т. к. лексема-дополнения при них обычно обозначают конкретные неодушевленные предметы, вещества: *to angle for trout*, *to dap for the fish*, *to dig for gold*, *to dive for pearls*, *to fish for a fish*, *to fumble for a knob*, *to look for a book*, *to mine for coal*, *to pickeer for uranium*, *to prospect for gold*, *to sweep for mines*, и т. п.

Однако глаголам этой второй группы свойственно употребляться и в переносном значении, и тогда они сочетаются с лексемами, обозначающими абстрактные понятия, иногда — лица: *to angle for honour*, *to angle for promotion*, *to angle for smb.*, *to fish for information*, *to fish for compliments*

и т. п. Нельзя не отметить и того обстоятельства, что у части глаголов, относящихся к той же лексико-семантической группе (*feel, grope, hunt, nose, search, seek, quest*), обнаруживается способность к управлению не только посредством предлога *for*, но и *after* (вариативное предложное управление $V_{tr} + for/after + C$). Следовательно, различие между указанными группами однопереходных глаголов заключается не только в их лексической семантике и сочетаемости, но отчасти также и в их управлении.

Аналогичным образом, учитывая общность лексической семантики и сходство сочетаемости на базе беспредложного управления ($V_{tr} + C$), можно выделить лексико-семантическую группу, в состав которой входят глаголы, обозначающие чувство в его направленности на кого-л., что-л. (*abhor, abominate, admire, adore, appreciate, apprehend, credit, detest, disdain, disfavoured, dislike, disregard, disrespect, distaste, dread, esteem, execrate, fancy, fear, hate, like, loath, love* и т. п.), для которых характерна довольно широкая сочетаемость с лексемами-дополнениями, обозначающими одушевленные предметы и абстрактные понятия, а также неодушевленные конкретные предметы: *to adore a woman, to hate a person, to detest cats, to pity smb.'s failure, to respect feelings* и т. п.

Подобная сочетаемость, в которой проявляется специфика лексической семантики глаголов данной группы, отличает их от многих других лексико-семантических групп однопереходных глаголов, обладающих тем же беспредложным управлением. В русском языке этой группе английских глаголов соответствуют однопереходные глаголы, управляющие винительным падежом ($V_{tr} + C_n$) и образующие значительно меньшую по составу лексико-семантическую группу (*любить, ненавидеть, почитать, презирать, уважать* и др.). Отсюда следует, что сопоставление переходных глаголов на материале разных языков, в частности английского и русского, должно производиться с учетом принадлежности их к лексико-семантическим группам, т. е. с учетом их системных отношений в каждом языке. Одним из важнейших критериев, позволяющих выделить такие группы, служит сочетаемость, которая устанавливается с опорой на соответствующее управление.

Системные отношения переходных глаголов включают в себя и их отношения с лексико-семантическими группами переходных лексем иных частей речи, в особенности с переходными субстантивными лексемами, которые также определяются по их способности к управлению (в английском языке — только посредством предлогов). Так, указанные группы однопереходных глаголов со значением чувства в английском и русском языках коррелируют с однокорневыми существительными, близкими к ним по лексической семантике и сочетаемости с лексемами-дополнениями. Эти однопереходные существительные в английском языке управляют посредством предлога *for*, а также *of*, в русском — с помощью предлога *к* при наличии дательного падежа, ср.: *admiration for beauty, adoration for a woman, hatred for a person, dislike for a boy, respect for smb.'s feelings* и т. п.; *любовь к родине, ненависть к врагу, почтение к старшим, презрение к предателям* и т. п.

Установление таких системных отношений между группами однопереходных лексем разных частей речи дает возможность исследователю проводить эксперименты, в частности трансформации субстантивизации, с тем чтобы подчеркнуть единство выделяемой лексико-семантической группы однопереходных глаголов, например: *to admire beauty* → *admiration for beauty, to adore a woman* → *adoration for a woman* и т. п.; *любить*

родину → любовь к родине, ненавидеть врага → ненависть к врагу и т. д. Подобные трансформации субстантивизации часто являются эффективным экспериментальным средством, которое используется наряду с методом моделирования для того, чтобы отграничить глаголы данной лексико-семантической группы от других глаголов, которые в смысловом отношении могут быть близки к ним, но входят в другие лексико-семантические группы.

Говоря об однопереходных глаголах в связи с вопросом о сочетаемости лексем, нельзя не упомянуть и глаголов, которые обладают двойным управлением и, следовательно, характеризуются сочетаемостью по отношению к двум дополнениям (C^1 , C^2). Двупереходными являются, например, английские глаголы *exchange* «менять, обменивать» и *solicit* «настойчиво просить», которым свойственно двойное беспредложное и предложное управление $V_{tr} + C^1 + for + C^2$. Однако они относятся к двум разным лексико-семантическим группам соответственно их лексической семантике и сочетаемости с лексемами-дополнениями. Это, с одной стороны, — глаголы со значением мены чего-л. на что-л. (*barter, change, exchange, substitute, swap, trade*). с другой — глаголы со значением просьбы к кому-л. о чем-л. (*ask, beg, beseech, importune, pester, petition, sue*).

Первые обычно сочетаются с существительными, обозначающими — в качестве того и другого дополнений (C^1 , C^2) — конкретные неодушевленные предметы или вещества: *to barter wheat for machinery, to change one thing for another thing, to exchange farm products for manufactured goods, to substitute one document for another, to substitute tea for coffee, to swap one's wrist watch for the radio, to trade knives for skins*. Сочетаемость же глаголов второй группы на основе указанного управления сводится к тому, что первое дополнение обычно обозначает лица, второе — неодушевленные предметы или абстрактные понятия: *to ask smb. for a favour, to beg smb. for food, to beseech smb. for money, to importune smb. for a loan, to pester smb. for mercy* и т. п. Для глаголов второй группы характерна также сочетаемость с инфинитивом, который употребляется вместо второго дополнения с предлогом *for*: *to beg smb. to give permission, to beseech smb. to do sth., to importune one's husband to give more money, to petition Parliament to redress grievances* и т. п.

Приведенные примеры достаточно показательны, чтобы заключить, что сочетаемость переходных глаголов с лексемами-дополнениями является важным фактором, без учета которого нельзя исследовать системные отношения этих глаголов, а именно установить их принадлежность к определенным лексико-семантическим группам и соотносительность последних с лексико-семантическими группами переходных лексем иных частей речи, в особенности с группами переходных субстантивных лексем, которые близки к ним по лексической семантике и сочетаемости. Такое исследование переходных глаголов, а также существительных проводится с опорой на лексические конструкции — глагольные или субстантивные словосочетания (или фразы), состоящие из лексем. Специфика глагольных лексических конструкций проявляется, в частности, в том, что личные формы глагола в их построении не участвуют. Личная форма глагола требует указания подлежащего, при котором она играет роль сказуемого, а это возможно лишь в предложениях, включающих в себя синтаксические единицы, каковыми и являются подлежащее и сказуемое.

Лексические конструкции образуют и непереходные глаголы, существенным признаком которых также является их сочетаемость с другими лексемами, хотя управлением они не обладают. И часто в таких глаголь-

ных конструкциях достаточно полно раскрывается лексическая семантика переходных глаголов. например: *to fly round a farm, to gallop across the field, to glide through the water, to prowl along a coast, to ramble over the country, to run about the streets, to travel round the world, to walk along the road* и т. п. По сочетаемости переходных глаголов с существительными определенных семантических разрядов можно судить о том, что они, как и переходные глаголы, образуют лексико-семантические группы [7, с. 401—402].

Однако характерную для переходных глаголов сочетаемость нередко можно определить только в предложениях, когда принимается во внимание и лексема в позиции подлежащего. Это особенно ясно показывает сопоставление коррелятивных пар переходных и переходных глаголов в английском языке, таких как *boil₁* «кипятить» — *boil₂* «кипеть», *burn₁* «жечь, сжигать» — *burn₂* «гореть, пылать, сгорать», *open₁* «открывать» — *open₂* «открываться», *resume₁* «возобновлять, продолжать» — *resume₂* «возобновляться, продолжаться», *sell₁* «продавать» — *sell₂* «продаваться»⁶. Так, если при рассмотрении первых членов таких пар (однопереходных глаголов) можно было бы ограничиться примерами глагольных словосочетаний (*to boil water, to burn a paper, to open a door, to resume a conference, to sell a book*), то, касаясь переходных глаголов в этих парах, часто соответствующих русским возвратным глаголам на -ся, неизбежно пришлось бы обратиться к предложениям, т. е. характерная для них сочетаемость с существительными раскрывается на основе предикативной связи, образующей структурную основу предложения: *The water boiled. The paper burnt. The door opened. The conference resumed. The book sells well.*

Впрочем, изучение сочетаемости и некоторых переходных глаголов требует обращения к предложениям, где полнее раскрывается их лексическая семантика. В частности, это касается однопереходных глаголов в английском языке, коррелирующих по своему значению и сочетаемости с омонимичными им двухпереходными глаголами. Например, однопереходный глагол *rest₁* «основываться на чем-л.» обнаруживает сочетаемость с теми же существительными, что и его коррелят — двухпереходный глагол *rest₂* «основывать что-л. на чем-л.». Однако эти существительные в первом случае употребляются в позиции подлежащего, во втором — в зависимой позиции при глаголе, ср.: *His argument rested on trivialities — He rested his argument on trivialities* и т. п.

Итак, сочетаемость глаголов с другими лексемами устанавливается как в лексических конструкциях — глагольных словосочетаниях (фразах), так и в синтаксических конструкциях — предложениях, для которых глаголы с их сочетательными потенциями служат строительным материалом. Что же касается валентности глаголов, то она определяется только в предложениях — по отношению к синтаксемам, т. е. элементарным синтаксическим единицам, обладающим синтаксической семантикой, которые употребляются при глаголах, особенно в их личных формах⁶.

⁶ Члены подобных пар в грамматиках английского языка часто рассматриваются в связи с так называемым «средним залогом» как представляющие один и тот же глагол [8, с. 119—120]. Принятая здесь трактовка их как омонимов основывается прежде всего на признании того факта, что только первый член пары обладает управлением, т. е. является переходным глаголом, и как таковой сочетается с лексемой-дополнением.

⁶ Термин «синтаксема» в лингвистических работах используется по-разному. Здесь под синтаксемой понимается синтаксическая единица-инвариант, представленная в языке системой вариантов, которые могут быть выражены как отдельными лексемами, так и синтаксически неделимыми сочетаниями лексем со служебными элемен-

В частности, речь может идти об объектной валентности глаголов из числа как однопереходных, так и двухпереходных. Дело в том, что объектные синтаксемы используются по-разному в предложениях при переходных глаголах различных лексико-семантических групп. Так, разницу в употреблении объектных синтаксисов в речи можно обнаружить при упомянутых выше однопереходных глаголах английского языка: с одной стороны, со значением ожидания или надежды (*hope, look₁, wait, watch*), с другой — со значением поиска, добывания чего-л. (*angle, dap, dig, dive, fish, fumble, look₂, mine, picker* и т. п.), а также при упомянутых двухпереходных глаголах со значением мены чего-л. на что-л. (*barter, change, exchange* и т. п.) и просьбы к кому-л. о чем-л. (*ask, beg, beseech, importune, pester, petition* и т. п.). Не всегда в том или ином контексте можно ожидать употребления объектной синтаксисы, выраженной существительным с предлогом *for* при указанных однопереходных глаголах, как в следующих случаях: *I hadn't bargained for so much trouble; I hoped for better things; They were always pickering for occasions of finding fault.*

Сказанное относится и к употреблению объектных синтаксисов при переходных глаголах различных лексико-семантических групп русского и других языков. Сопоставляя объектную валентность соответствующих групп одно- или двухпереходных глаголов в английском и русском или других языках, можно вскрыть некоторые специфические особенности этих языков, касающиеся взаимодействия единиц лексического и синтаксического уровней языка.

Равным образом речь может идти о косвенно-объектной валентности глаголов (в основном из числа двухпереходных), поскольку в отношении употребительности косвенно-объектных синтаксисов при них переходные глаголы также неоднородны. Можно даже, видимо, утверждать, что при двухпереходных глаголах косвенно-объектная синтаксема отсутствует чаще, чем объектная, хотя некоторые лексико-семантические группы двухпереходных глаголов как в английском, так и в русском языке с трудом допускают отсутствие при них такой синтаксисы. В частности, различие в употреблении косвенно-объектных синтаксисов можно обнаружить и при упомянутых выше двухпереходных глаголах: с одной стороны, со значением мены чего-л. на что-л., с другой — со значением просьбы к кому-л. о чем-л. Примерами же использования косвенно-объектных синтаксисов, выраженных сочетаниями существительного или местоимения с предлогом *for* при двухпереходных глаголах, могут служить следующие предложения (включающие в себя и объектную синтаксеми): *He petitioned the House of Lords for a bill; He is always pestering me for something.*

При изучении объектных, а также косвенно-объектных синтаксисов, выделяемых с опорой на синтаксические связи в предложениях, нужно учитывать некоторые их специфические особенности. Во-первых, средствами выражения указанных синтаксисов служат как отдельные лексемы, так и синтаксически неделимые предложные сочетания, которые обуславливают собой наличие многообразных вариантов объектной синтаксисы. Например, при рассмотренных выше английских однопереходных глаголах, в частности предлогами. Содержание синтаксисы составляет синтаксическая семантика, или, точнее, дифференциальные лексико-семантические признаки, которые находят свое проявление в дистрибутивных особенностях синтаксисы (ее сочетаемости с другими синтаксисами, местоположений и позиционных возможностей), а также в специфической для нее системе вариантов [7, с. 404]. См. также ниже о вариантах объектных, косвенно-объектных и других синтаксисов.

лах со значением ожидания, надежды или поиска, добывания чего-л. объектная синтаксема выражена сочетанием существительного (или субстантива — S) с предлогом *for* (*for* S), которое является лишь одним из возможных вариантов данной синтаксемы. При переходных глаголах других лексико-семантических групп та же объектная синтаксема имеет варианты, выраженные сочетаниями существительного с иными предлогами (*at* S, *by* S, *from* S, *of* S, *on* S и т. п.) или существительным без предлога, как при однопереходных глаголах со значением чувства (*abhorre*, *abominate*, *admire*, *hate*, *like*, *love* и т. п.). Такого рода варианты, различающиеся в зависимости от их непосредственного лексического окружения, являются лексико-комбинаторными вариантами синтаксемы. Подобная вариантность особенно характерна для объектных и косвенно-объектных синтаксем, хотя лексико-комбинаторные варианты имеются и у других синтаксем. Во-вторых, объектные синтаксемы в английском языке, выраженные существительными или местоимениями без предлога или с предлогом, употребляются как в зависимой позиции (причем не только при глаголе, но и при существительном и прилагательном), так и в позиции подлежащего. Этим объектные синтаксемы также существенно отличаются от многих других синтаксем, варианты которых представлены существительными в сочетании с предлогами или без них. Например, в следующих двух предложениях одна и та же объектная синтаксема употреблена в зависимой позиции (вариант *for* S) и в позиции подлежащего (разрывный вариант S...*for*): *We may hope for rain; Rain may be hoped for*.

Аналогично этому используются и другие варианты объектной синтаксемы, выраженные существительными с предлогами (*at* S — S...*at*, *by* S — S...*by*, *from* S — S...*from* и т. п.), хотя нельзя не отметить, что употребление объектной синтаксемы в позиции подлежащего связано с большими ограничениями, чем в зависимой позиции при глаголе. Здесь мы уже имеем дело с позиционными вариантами объектной синтаксемы, которые очень характерны для английского языка.

В русском языке объектным синтаксемам также свойственно иметь позиционные и лексико-комбинаторные варианты. Однако в нем позиционные варианты объектных синтаксем выражены лишь формами винительного (без предлога) и именительного падежей существительных и местоимений, как например, в следующих двух предложениях, где объектная синтаксема представлена винительным падежом существительного в зависимой позиции при глаголе (вариант S_д) и именительным падежом в позиции подлежащего (вариант S_н): *Мы пригласили соседей; Соседи были приглашены нами*. Употребление одной и той же объектной синтаксемы в разных синтаксических позициях дает возможность исследователю проводить эксперименты-трансформации пассивизации или депассивизации при изучении объектных синтаксем как в русском (*Мы пригласили соседей* → *Соседи были приглашены нами*), так и в английском языке (*We may hope for rain* → *Rain may be hoped for*). Заметим также в этой связи, что сопоставительное изучение позиционных и иных вариантов объектных синтаксем в английском и русском языках позволяет вскрыть существенные различия между этими языками.

В-третьих, объектные, а также косвенно-объектные синтаксемы, средствами выражения которых служат существительные без предлога или в сочетании с предлогом, ставят исследователя перед необходимостью определить лексическую наполняемость их различных вариантов. И в этом отношении указанные синтаксемы существенно отличаются от дру-

гих синтаксисом, выраженных существительными с предлогами или без них. Специфика объектных и косвенно-объектных синтаксисом заключается в том, что лексическая наполняемость их различных позиционных и лексикокомбинаторных вариантов сводится к тем лексемам-дополнениям, сочетаемость с которыми учитывается при выделении лексико-семантических групп переходных глаголов. В этом проявляется особенно тесный характер взаимодействия объектных и косвенно-объектных синтаксисом с одно- и двупереходными глаголами, образующими лексико-семантические группы на основе соответствующего управления. Поэтому, между прочим, и п е р е х о д н о с т ь можно определить как способность глаголов управлять лексемами-дополнениями и иметь при себе в предложениях объектную или косвенно-объектную синтаксему. Это значит, что переходность является л е к с и к о - с и н т а к с и ч е с к и м свойством глаголов.

Вернемся, однако, к понятию валентности как синтаксического свойства глаголов, которое раскрывается в предложениях по отношению к элементарным синтаксическим единицам, обладающим синтаксической семантикой. Такими единицами могут быть не только объектные и косвенно-объектные, но и многие другие синтаксисом, выраженные существительными с предлогами или без них, а также различными иными средствами. Однако в отличие от объектных и косвенно-объектных синтаксисом все другие синтаксисом употребляются обычно как при переходных, так и при непереходных глаголах⁷.

Это касается, в частности, каузальных синтаксисом, имеющих различные варианты, которые употребляются при одних глаголах в большей степени, при других — в меньшей степени или вовсе не употребляются. Так, каузальная синтаксисом, выраженная сочетанием существительного с предлогом *for* в английском языке (вариант *for S*), а в русском — сочетанием существительного в винительном падеже с предлогом *за* (вариант *за S₂*), часто обнаруживается при различных однопереходных глаголах: со значением осуждения или порицания (*blame, censure, chide, condemn, defame, denounce, indict, rate, rebuke, reproach, reprove, reprimand, revile, upbraid*; бранить, журить, корить, осуждать, отчитывать, поносить, порицать, порочить, разносить и др.), со значением наказания кого-л. (*arrest, fine, punish*) или похвалы (*commend, praise* и т. п.), а также при упомянутых выше однопереходных глаголах со значением чувства (*admire, adore, dislike, hate* и т. п.). Сочетания существительного с предлогом *for*, представляющие ту или иную каузальную синтаксему, употребляются и при непереходных глаголах (*suffer, tremble* и т. п.), а также при многих прилагательных (*angry, glad, mild* и т. п.) и существительных,

⁷ Ср., например, локативную синтаксему при переходном (точнее, однопереходном) *look* «искать», управляющем посредством предлога *for* и непереходном глаголах в следующих двух предложениях, где она выражена сочетанием существительного с предлогом *in*: 1) *He looked for his friend in London*; 2) *James lives in London*. В теории валентностей подобные примеры привлекают внимание исследователей в связи с разграничением дополнений (*complements*) и адъюнктов, из которых первые определяются с учетом их тесной связи с глаголом. На этом основании Г. Сомерс, который приводит эти два предложения, считает *in London* во втором предложении дополнением (как обязательный элемент предложения), противопоставляя его адъюнкту в первом (1, с. 508). В сущности, однако, мы имеем дело в том и другом предложениях с одной и той же синтаксической единицей, обладающей локативной семантикой. Об этом свидетельствуют и эксперименты с заменой предложного сочетания *in London* наречием *there* (адвербиальным вариантом локативной синтаксисом), ср.: 1) *He looked for his friend there*; 2) *James lives there*.

например: *He trembled for his wife and children; He suffered for his faults. He was angry with himself for his weakness.*

Изучая возможности употребления каузальных синтаксем при упоминутых переходных и непереходных глаголах, а также при существительных и прилагательных, мы определяем каузальную валентность всех таких лексем, относящихся к той или иной лексико-семантической группе. При этом обращает на себя внимание тот факт, что указанные глагольные лексемы, а также лексемы иных частей речи обычно сопровождаются определенным вариантом каузальной синтаксемы. выраженным сочетанием существительного с предлогом *for* (*for* S).

Однако средствами выражения каузальных синтаксем в английском, как и в русском языке, служат различные предложные сочетания, в частности с предлогом *because of*, который является наиболее ярким и к тому же очень распространенным показателем каузальной семантики. Поэтому, чтобы подчеркнуть наличие именно синтаксико-семантического признака каузальности у сочетания существительного с предлогом *for*, можно прибегнуть к экспериментам с заменой такого сочетания сочетанием того же существительного с предлогом *because of*: *He was angry with himself for his weakness* → *He was angry with himself because of his weakness*. Той же цели иногда может служить и замена указанного предложного варианта каузальной синтаксемы придаточным предложением с союзом *because*: *He was angry with himself because he was weak*.

Подобное же употребление сочетания существительного с предлогом *for* наблюдается при однопереходных глаголах со значением просматривания, прочесывания чего-л. (*comb, consult, hunt, rake, rummage, scan, scour, search*), например: *The police have combed the city for a murderer. They scoured the country for the lost child*. Однако предложное сочетание здесь является средством выражения финальной (целевой) синтаксемы, и соответствующие глаголы характеризуются *финальной валентностью*. Эксперименты с заменой предложного сочетания (*for* S) инфинитивной конструкцией, в которой инфинитив также представляет финальную синтаксему (точнее, процессуальную финальную, в отличие от рассматриваемой субстанциальной финальной синтаксемы), позволяют подчеркнуть наличие синтаксико-семантического признака финальности: *The police have combed the city for the murderer* → *The police have combed the city to find the murderer. They scoured the country for the lost child* → *They scoured the country to find the lost child*.

Своеобразная валентность обнаруживается у многочисленных переходных глаголов со значением «хватать, схватить» или «держать» (*capture, catch, clutch, get, grab, grasp, grip, have, hold, pin, seize, take, wring*), «приводить, тащить, тянуть» (*bring, drag, pluck, twitch*), «поднимать» (*lift, pick up, raise*) и др. При этих глаголах употребляются объектная синтаксема, выраженная существительными или местоимениями без предлога, и синтаксема, представленная сочетанием существительного с предлогом *by*, как, например, в следующих предложениях: *His mother clutched him by the shoulder. I can't drag her back by the hair. I got him by the front of his shirt. She grasped me firmly by the arm*. Сочетания существительного с предлогом *by* в подобных предложениях представляют одну из медиативных синтаксем (синтаксем средства), которая характеризуется, видимо, и семантикой способа. Следовательно, указанные глаголы имеют как объектную, так и медиативную валентность.

Значительный интерес в аспекте валентности глаголов представляют сочетания предлога *in* и существительного абстрактного значения при

непереходных глаголах в таких случаях, как: ...a currency that has diminished in value. The stocks lowered in value. К числу непереходных глаголов, которые допускают употребление подобных предложных сочетаний, относятся глаголы со значением изменения, которые обычно соответствуют русским возвратным глаголам на -ся: diminish «уменьшаться», убавляться, сокращаться», lower «снижаться, уменьшаться», increase «увеличиваться», reduce «уменьшаться» и др. Ср. также в словосочетаниях: to diminish in bulk, to increase in number, to increase in quality, to increase in size, to reduce in weight и т. п. Определить синтаксическую семантику предложно-именных сочетаний в случаях этого рода несколько затруднительно вследствие того, что в лингвистической литературе нет достаточно ясного закрепленного за ними термина (в отличие, например, от рассмотренных выше предложных сочетаний — каузальных, или причинных, финальных, или целевых, и др.). Нужно при этом, видимо, учесть, что в иных синтаксических условиях для передачи той же синтаксической семантики используются и такие образования предложного характера (включающие в себя существительное или основу латинского происхождения respect) ⁸, как in respect of (in respect of quality, in respect of time), in respect to, with respect to «в отношении (чего-л.)», что касается, respecting «относительно, касательно». Учитывая это, указанные выше сочетания с предлогом in можно определить как средства выражения респективной синтаксемы, а соответствующие глаголы — как непереходные глаголы с респективной валентностью.

Из сказанного явствует, что изучение валентностей глаголов самым непосредственным образом связано с дифференциацией переходных и непереходных, а также однопереходных и двухпереходных глаголов. Особую значимость имеет объектная валентность, определяя которую мы относим глаголы в предложениях к числу переходных. Однако объектная валентность свойственна как однопереходным, так и двухпереходным глаголам, при которых, кроме объектной синтаксемы, употребляется и косвенно-объектная синтаксема. Отграничение же последней от иных синтаксем, которые могут быть выражены теми же средствами, в частности сочетанием существительного с предлогом, не всегда представляет простую задачу. Выше были затронуты в основном как раз случаи такого рода, когда могут возникнуть затруднения в решении вопроса, имеем ли мы дело в предложениях с однопереходными или двухпереходными глаголами, при которых, кроме объектной синтаксемы, наличествует еще косвенно-объектная синтаксема. Если мы констатируем, что сочетание существительного с предлогом for или by, например при глаголах comb (The police have combed the city for the murderer) и clutch (His mother clutched him by the shoulder), наделено синтаксической семантикой финальности (цели) или медиативности (средства), то, очевидно, считать эти глаголы двухпереходными нет оснований.

В заключение хотелось бы подчеркнуть следующее. Сочетаемость и валентность глаголов взаимно дополняют друг друга, хотя первая определяется по отношению к лексемам, т. е. единицам того же уровня языка, имеющим лексическую семантику, вторая же — по отношению к синтаксемам, наделенным синтаксической семантикой, которые являются единицами синтаксического уровня. Изучая сочетаемость глагольных лексем, лингвист может поставить перед собой задачу выделить ту или иную

⁸ Ср. лат. *respectu alicujus rei* (Т. Livius) «с точки зрения (в отношении) чего-л.» 191.

лексико-семантическую группу, члены которой отличаются от других глаголов по их лексической семантике и сочетаемости с другими лексемами. Исследуя же валентность глаголов, лингвист может установить, каким именно лексико-семантическим группам глаголов такая-то валентность более свойственна (например, каузальная, финальная или медиативная, как в приведенных выше примерах) и каким она менее свойственна или вовсе не свойственна. Поэтому показательной для лексической семантики глаголов может быть не только их сочетаемость, но и валентность, в которой отражаются факты взаимодействия лексических и синтаксических единиц, т. е. лексем и синтаксисом.

Соответственно и словари, иллюстрируя значения глаголов, часто приводят примеры предложений или глагольных словосочетаний, по которым можно судить, какая именно валентность наиболее характерна для данной группы глаголов, переходных или непереходных. Так, указанная выше группа однопереходных глаголов английского языка со значением осуждения или порицания (*blame, chide, condemn, denounce, rate* и т. п.) часто сопровождается в словарях такими примерами их употребления, из которых явствует, что они имеют сильную каузальную валентность (при них часто употребляются каузальные синтаксемы, выраженные сочетаниями предлога *for* с существительным, местоимением или герундием), ср.: *He cannot be blamed for it; She blamed herself for having committed an error; to chide a pupil for being lazy; to condemn a person for his conduct; to denounce smb. for theft; to rate smb. for doing sth.* и т. д. [10]. Аналогично этому в словарях получает отражение и валентность, характерная для непереходных глаголов, каковой может быть, в частности, упомянутая каузальная или финальная, а также инструментальная, локативная, темпоральная или другая валентность (кроме объектной и косвенно-объектной, которые свойственны только переходным глаголам).

Изучение валентностей глаголов, а также их лексической сочетаемости, которую необходимо принимать во внимание при определении принадлежности глаголов к определенной лексико-семантической группе, не исключает, а наоборот, предполагает исследование в тех же аспектах лексем других частей речи, особенно субстантивных и адъективных. Эти лексемы в английском, русском и других языках нередко используются в позиции сказуемого (в сочетании со служебным глаголом-связкой или без него), и в таких случаях они играют в предложениях роль, подобную роли глаголов в их личных формах. Следовательно, глагол не может рассматриваться как единственный организующий центр предложения, тем более что сам по себе глагол не является синтаксической единицей. Однако организующая роль глагола для большинства предложений как в английском, так и в русском языке несомненна. Этим определяется первостепенная необходимость исследования его валентностей, которое должно проводиться в связных текстах с привлечением статистических данных.

Изучение валентностей глаголов имеет и наибольшую практическую значимость по сравнению с валентностями лексем других частей речи. Об этом свидетельствует, в частности, то преимущественное внимание, которое уделяется в лексикографической практике дистрибутивным особенностям глаголов. Однако дистрибутивные особенности лексем включают в себя, кроме валентностных характеристик, и свойственную им лексическую сочетаемость, в соответствии с которой, как это было показано выше, глагольные лексемы распределяются по лексико-семантическим группам. Отражение в словарях таких групп глаголов, а также лексем

других частей речи — задача, решение которой может вызвать появление нового типа словаря, построенного на групповой основе.

Выделение лексико-семантических групп, члены которых объединены общностью или сходством лексической семантики и сочетаемости с другими лексемами, необходимо и для практики преподавания языка, с которой, как известно, тесно связано одно из новых направлений лингвистики, часто именуемое «контрастивной лингвистикой» или «контрастивной грамматикой». Между тем наименее разработанным разделом контрастивной лингвистики является сопоставительный анализ лексики. Как отмечает В. Н. Ярцева, «именно в области контрастивной лексикологии крупных достижений в области теории незаметно» [11]. Заполнению этого пробела может способствовать изучение сочетаемости лексем, рассматриваемых в составе соответствующих лексико-семантических групп и с опорой — в случае переходных глаголов — на определенный тип управления (предложного, беспредложного или вариативного), которое во многом предопределяет специфику сопоставляемых языков.

ЛИТЕРАТУРА

1. Somers H. L. On the validity of the complement-adjunct distinction in valency grammar // *Linguistics*. 1984. V. 22 № 4.
2. Мухин А. М. Вариантность лексем // *Лингвистические исследования*. 1985. Грамматические категории в разнотипных языках. М., 1985. С. 168.
3. Мухин А. М. Синтаксический анализ и проблема уровней языка. Л., 1980. С. 10—18, 106.
4. Мухин А. М. Переходные глаголы, словари и грамматика // *Слово в грамматике и словаре*. М., 1984. С. 107—108.
5. Русская грамматика. Т. I., 1980. С. 614.
6. Русская грамматика. Т. II. М., 1980. С. 25.
7. Mukhin A. M. Lexical and syntactic semantics in historical aspect. // *Historical semantics. Historical word-formation* / Ed. by Fisiak J. Berlin — New York — Amsterdam, 1985.
8. Nuyisch B. A. The structure of modern English. Leningrad, 1971.
9. Дооретский Н. Х. Латинско-русский словарь. 2-е изд. М., 1976. С. 875.
10. Большой англо-русский словарь: В 2 т. / Под рук. Гальперина И. Р. М., 1972.
11. Ярцева В. Н. Контрастивная грамматика. М., 1981. С. 11.

ГУСЕЙНОВ Р. И.

О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ОНОМАСИОЛОГИИ И ГРАММАТИКИ

Поуровневый подход к описанию структуры языка стал одним из ведущих в современном языкознании. При этом, однако, нельзя не учитывать глубокости и определенной свободы в структурной организации как самой системы языка, так и его подсистем. Неслучайно в отличие от традиционной концепции, согласно которой система языка изображалась в виде языков, преимущественно связанных по типу сложности их единиц, В. Н. Ярцева предлагает представить систему языка в виде замкнутой цепи, пограничные звенья которой сцеплены друг с другом [1]. На первый план выступает проблема конкретных форм взаимодействия, комплексно-единого функционирования всех систем и уровней языка. До недавнего времени разработка этого вопроса не выходила за рамки анализа отдельных случаев функциональных схождений частей речи. В немалой степени это объясняется тем, что долгое время лингвисты ориентировались на целевую модель анализа «от формы к содержанию».

Одной из важных задач изучения феноменов, находящихся на стыке отдельных языковых уровней, следует признать исследование природы и механизма взаимодействия лексики и грамматики¹. Особенно интересным в этой связи представляется использование фактов лексики при объяснении явлений грамматики. В то же время изучение влияния грамматики на изменение семантики и ономасиологического статуса слова открывает новые перспективы, ранее ускользавшие от внимания исследователей языка².

Ниже предпринята попытка обратить внимание на функционально-грамматическую специализацию в содержательной структуре слова, выявить ономасиологические закономерности, регулирующие грамматическое «поведение» лексических элементов. Одновременно мы остановимся на отдельных изменениях и сдвигах в ономасиологической модели слова, порождаемых его употреблением в необычной для него грамматической форме. В связи с этим мы коснемся также и вопроса таксономической схемы, релевантной для объяснения своеобразия грамматических подклассов.

Под ономасиологической моделью имени понимается единство «предметности» и ономасиологических признаков, выделяющих то или иное явление как предметное и задающих ему качественную определенность и своеобразие. Она представляет собой минимальный запас предметно-содержательных знаний, составляющих универсальную речемыслительную основу, общую для всех говорящих независимо от их возраста. Оно-

¹ Заметное оживление интереса к широкому кругу проблем взаимодействия языковых подсистем отмечается лишь в шестидесятых — семидесятых годах [2—5], хотя Л. В. Щерба не раз указывал на необходимость их изучения.

² Решительно эта мысль прозвучала в выступлениях В. И. Кодухова и А. В. Бондарко на Всесоюзной конференции на тему «Слово в грамматике и словаре» [6].

масиологическими в модели имени следует считать такие «ингерентные» признаки, в которых явления даны в нашем опыте. Их содержанием служат конкретные характеристики в их пространственно-плоскостной локализации, как-то: длина, высота, ширина, округлость или конфигурация и т. д. При этом основанием для описания ономасиологической модели имени как совокупности определенных наиболее информативных свойств предметов могут служить и результаты анализа психологии восприятия [7].

Исходным моментом при изучении ономасиологических оснований грамматического «поведения» имени, а также функциональной специализации его содержания служит онтогенетическая двуплановость последнего³. Давно стала очевидной информативная неполнота тезиса о детерминированности функций и форм слова его семантикой. Внимание на необходимость конкретизации данного тезиса впервые, насколько известно, было обращено О. И. Москальской [10]. Однако указывая на то, что не значение слова в целом, а только его часть может служить семантической опорой для определенной формы проявления грамматических явлений, автор не идет дальше, не уточняет это положение до конца [7, с. 259]. И все же мысль о том, что обычно действие определенных правил грамматики связано лишь с одной из сторон семантики слова, весьма важна сама по себе.

Исключительно сложна и многогранна содержательная структура слова. Лексическая семантика зависит от ряда факторов, а именно: экстралингвистического (предмет действительности), психологического (психологическая адаптация предмета), лингвистического (фактор обличения психологически адаптированного предмета реальности в словесную форму).

Психологическая адаптация предмета, его приспособление к нуждам коммуникации предполагает выработку его ономасиологической модели. Такая модель и составляет концептуальное ядро, основу слова. Однако процесс не останавливается на этом. Далее на ономасиологическую модель предмета известным образом наслаиваются признаки, «навязываемые» ему социальной деятельностью и прагматической потребностью человека. Все, что наслаивается на модель слова социальной практикой носителя языка, мы будем называть прагматическим началом в содержании слова в отличие от вещественно-предметного, ономасиологического⁴.

Первые же шаги в тестировании отдельных компонентов содержания имени на их «причастность» к грамматической правильности высказывания на разных уровнях анализа убеждают нас, что на аналитическом уровне правильность достигается согласованностью в подборе ономасиологических данных и грамматических форм, а на синтетическом уровне — соблюдением лексической «солидарности» вводимых в высказывание актантов. В этой связи нередко проводится компонентный анализ (в качестве примера часто избирается слово *холостяк*). Для русского *холостяк* можно составить следующую шкалу семантических градаций: 1) предмет; 2) человек; 3) мужского пола; 4) мужчина брачного возраста; 5) неженатый мужчина. Функциональная специализация каждой из градаций, соответственность последних с определенными формами проявления речевого поведения данного слова обнаруживается путем редукционно-подстановоч-

³ Развиваемый здесь тезис о двуплановости содержания слова продолжает взгляды Л. Ельсслева: «Семантическая субстанция подразделяется на несколько уровней. Крайние и в то же время наиболее важные и известные уровни — это физический уровень, с одной стороны, и уровень восприятия или коллективной оценки — с другой» ([8], ср. [9]).

⁴ Ср., например, анализ содержания слова с точки зрения коммуникативно релевантного и нерелевантного [11], грамматического и лексического ([12], ср. [13]).

ного приема. Так, *холостяк* соотносится с глаголами *жениться*, *разводиться*. Тест предполагает ряд этапов подстановки компонентов содержания слова сверху вниз по шкале. При этом каждый раз учитывается правильность высказывания с точки зрения трех уровней языковой отмеченности, что позволяет установить, какой компонент шкалы оптимально обеспечивает правильность высказывания на том или ином уровне языковой отмеченности.

1 этап. В схеме $S_n - P_v$ в позицию S_n помещают произвольно взятую последовательность звуков, заранее придав ей признаки самой верхней градации шкалы, а позицию P_v также заполняют таким же набором звуков, наделив его обшкатегориальным значением «глагольность» и осложнив формантами времени, лица и числа. Затем следует семантизация схемы высказывания в данной реализации. Носитель языка легко справляется с этой задачей, ибо формант времени и другие морфологические показатели, выражая присущие им значения, указывают и на другие, связанные с этими показателями значения [14].

2 этап. Позицию заполняют следующей вниз по шкале единицей содержания (*Человек живет, работает, умирает, но не женится, не разводится*).

3 этап. Прodelьвается та же процедура и со следующей единицей содержания (*мужчина женится, но не мужчина разводится*) до тех пор, пока не исчерпывается шкала содержания (*холостяк женится, но не холостяк разводится*). Обнаруживаем, что минимальным условием семантизации абстрактной модели высказывания является указание на ономаσιологическую базу ее наполнителей. Конкретизация концепта имени не влечет за собою каких-либо ограничений грамматической правильности, т. е. на всех этапах анализа имя сохраняет способность сочетаться с глаголом. Прагматическая правильность высказывания достигается выбором глагола, лексически совместимого с именем, что в нашем случае начинает ощущаться с самого первого шага по пути конкретизации предмета — со второй ступени сверху. Очевидно, что ономаσιологическое начало в данном случае связано только с грамматикой слова, а социально оговоренное, условное начало регулирует лексический момент функционирования слова в речи. Таким образом, онтогенетическая неоднородность содержания обуславливает разное функциональное назначение двух его составляющих. В этом единство и неразделение вещественно-предметного компонента содержания слова и его внешнеграмматического оформления. Однако нет и абсолютно однозначного соответствия между ними. Грамматическая форма только с определенной долей безошибочности предсказывает ономаσιологическую классность имени. Точно так же знание его классной принадлежности далеко не всегда может абсолютно точно диагностировать парадигму. Например, многие из названий «не-лица» в английском языке не употребляются в форме посессива. В то же время часть из них встречается в этой форме (*ship, land, moon* и т. д.). Поэтому одно только знание того, что данное имя называет «не-лицо», оказывается недостаточным, чтобы утверждать, что оно не может принимать форму посессива. В этом мы склонны видеть, с одной стороны, известную свободу ономаσιологических признаков в выборе внешнекатегориальных оформителей при определенных условиях общения, а с другой стороны, строгость, жесткую избирательность последних в отношении первых. Вот почему употребление имени в необычной для него форме влечет за собою сдвиги в содержании, перекодирование его ономаσιологической модели. Таким образом, взаимобусловленность ономаσιологического статуса сущестительного и

его грамматики обнаруживается не только в их обоюдной предсказуемости, но и в их взаимовлиянии.

Рассмотрим эти положения на примере употребления ряда древнеанглийских существительных отвлеченной семантики в форме мн. числа. Известно, что для подавляющего большинства древнеанглийских имен упомянутого ономаσιологического класса не была характерна форма мн. числа. Однако в отдельных случаях ономаσιологические запреты преодолеваются и существительные принимают форму множественного числа, меняя при этом свою «личину». Даже беглый взгляд на их семантику в форме мн. числа обнаруживает, что в целом ряде случаев наблюдается не только сдвиг в их семантике, но и их переход в другие ономаσιологические классы. Ср.:

Ед. число		Мн. число	
<i>andget</i>	«понимание»	— <i>andgetu</i>	«чувства»
<i>ār</i>	«слава, честь»	— <i>ārra</i>	(род. п.) «богатство, собственность»
<i>land</i>	«земля»	— <i>landa</i>	(род. п.) «страны»
<i>hail</i>	«заключение под стражу»	— <i>haftas</i>	«пленники»
<i>hālgns</i>	«святость»	— <i>hālgnsa</i>	(род. п.) «святости, убежища»
<i>wæstm</i>	«развитие, рост»	— <i>wæstmas</i>	«деревья, все, что может расти»

Таким образом, употребляясь в необычной для себя форме мн. числа, существительные претерпевают изменения в своих ономаσιологических характеристиках, тем самым совпадая или приближаясь к классу конкретно-предметных в этом отношении.

Аналогичные закономерности обнаруживают и вещественно-материальные, и собирательные имена. Первые в форме мн. числа нередко выражают значения безмерного количества. Ср.: ...*Snāwas and frostas*... «Снега и морозы...»; *hlāf* «хлеб» — *hlāfas* «каравай» и т. д.

Если исходить из традиционного деления существительных на конкретно-предметные, вещественно-материальные и абстрактные, то может возникнуть впечатление о нарушении принципа единства ономаσιологического и внешнеграмматического в слове. Указанная классификация, однако, не может иметь выхода в грамматику в силу своей чрезмерной обобщенности и логической непоследовательности. Однако поиски грамматически значимых (объяснительных, мотивирующих с точки зрения грамматики) классификаций должны оставаться на ономаσιологической почве. Следует освободить старую классификацию от ее логического налета и идти по пути дальнейшей ее детализации. Любой подкласс существительных как лексико-грамматический разряд, стоящий ступенью выше части речи на иерархической лестнице лексико-грамматической категоризации, должен получить (как и сама часть речи) ономаσιологическое обоснование. Этого требует логика анализа и описания близких по природе сущностей. Характер восприятия объектов наименования, принцип отображения внеязыковой действительности в языке являются ведущими и определяющими при изучении частей речи [15]. Их следует считать основополагающими при любой грамматической классификации [16]. Такой подход правомерен и в силу отмечаемой исследователями ведущей, познавательной роли референционального фактора в генезисе значения слова. При этом системно-реляционный фактор играет подчиненную роль.

Для древнеанглийского можно выделить два основных ономаσιологических класса с определенным набором подклассов⁵ внутри каждого из

⁵ В нашей концепции описания полевой структуры английских существительных подклассы мыслятся как лексико-грамматические категории, как особые формы структурно-организованного проявления связи ономаσιологического начала в содержании слов с их грамматическим поведением.

них: 1) класс физических предметов: подкласс (пк) индивидуально единичных,.pk собирательных,.pk вещественно-материальных; 2) класс виртуальных предметов:.pk названий процессов, фактов и событий;.pk собирательных названий действий, объединенных общностью природы или назначения;.pk имен состояний и качеств, чувств, ощущений и переживаний;.pk названий действий, поступков, событий, осложненных некоторой социальной оценкой;.pk собирательных названий социальных условностей, предписаний, этических норм;.pk имен фрагментов времени;.pk названий стихийных сил;.pk имен разных социальных условностей, положений в обществе и др. Дифференциация приводимых ономастологических классов имен основана на своеобразии и различной степени координированности, определенности в пространстве обозначаемых ими объектов. Соответственно, конкретно-предметные имена воспринимаются как предельно определенные объекты, способные выступать как единичные предметы. Это и служит их основной семантической (ономастологической) базой в отличие от других классов. Вещественно-материальные имена имеют своими референтами физические явления, не воспринимаемые как предельно определенные, очерченные объекты внешнего мира, хотя они и обозримы (вода, масло, железо и др.). Исключения составляют имена типа *воздух*, которые не обозримы, но физическая природа которых неоспорима.

Собирательные имена обычно определяются как имена со значением множественности в их исходных формах. Они занимают промежуточное положение между индивидуально-единичными и вещественно-материальными [14]. Эти имена мыслятся как совокупности отдельных составляющих и, как правило, обозримы в целом и в отдельности своих частей (ср.: *семья за столом, дружина перед боем*). Но в некоторых случаях целое может и не быть обозримым (народ, нация). Неслучайно некоторые из них встречаются с такими кванторами числа, как *много*, и согласуются с глаголами-сказуемыми в форме мн. числа.

Ономастологический класс виртуальных имен представлен лексикой, не имеющей денотата, который бы существовал в виде отдельного предмета объективной и непосредственно наблюдаемой действительности. Это в основном так называемые предикатные имена, семантика которых «в каждом смысловом поле взаимообусловлена» [17]. В семантике древнеанглийских имен данного разряда не расчленены также и признаки действия и состояния [18]. Все это затрудняет их субкатегоризацию. Особенно остро встает этот вопрос в отношении событийных имен. Часто выбор между событийным и фактивным предикатным именем оказывается невозможным.

Согласно данным, полученным в результате изучения семантики производного слова на материале разных языков [19], исключительно сложной, разносторонней предстает семантика событийных имен. Об этом свидетельствуют их многочисленные дефиниции, которые отражая отдельные аспекты их семантики, раскрывают ее с разной степенью полноты. В большинстве случаев, однако, семантика таких имен определяется как совокупность действий или внутреннее движение [20]; способность действий, процессов происходить, продолжаться [21]; охват массы субъектов [22]; модально-временная, фазовая парадигма [4, с. 84—90] и т. д. Отсюда и явная диффузность, размытость пределов подклассов виртуальных имен. При отборе и распределении виртуальных существительных по ономастологическим подклассам нами были применены определенные критерии. Наиболее важным является исследование семантики слова. При чем

решающим оказывалось то значение слова, которое реализовалось во всем разнообразии его парадигматических форм. Значения же, актуализирующиеся только в падежном ряду мн. числа, рассматривались как явления грамматического порядка и в данной связи учету не подлежали. Особое внимание уделялось и факту наличия деривационных связей и мотивации. Например, в одном из подклассов объединены преимущественно отглагольные имена — названия действий, событий и фактов (многие из них — суффиксальные образования на *-ung, -ing*), а в ПК имен состояний, качеств находим адъективные имена с суф. *-nes*. В то же время простые событийные имена, не находящиеся в каких-либо деривационных отношениях с глаголами, отнесены к другому подклассу. Они могли мыслиться как стихийные силы (*aldor* «жизнь», *sodi* «болезнь» и др.). При этом важную роль здесь играла способность этих имен выступать в функции подлежащего при глаголах активного действия. Таким образом, решающими критериями субкатегоризации виртуальных имен выступали такие категории, как парадигматическая необусловленность семантики, деривационная мотивированность, наличие семы социальной оценки в содержании и т. д. Однако при всем этом приводимые выше ономаσιологические классы древнеанглийских существительных не представляли собой строго изолированных друг от друга групп слов. Напротив, они выглядят как скалярные объекты, переходящие друг в друга или связанные между собой общностью определенных предметно-референтных характеристик. Так, каждый из трех ономаσιологических классов (собирательных, вещественно-материальных и виртуальных) в известных речевых контекстах реализует те или иные категориальные значения, выражаемые конкретно-предметными. Например, ряд виртуальных имен ведет себя преимущественно как индивидуально-единичные. Таковы названия фрагментов времени, фактов или собственно событий. Другие приближаются к собирательным (например, собирательные названия действий: *ðeowdōt* «служба», *fāhð(u)* «распри» и др.).

ЛИТЕРАТУРА

1. Ярцева В. Н. Взаимоотношение грамматики и лексики в системе языка // Исследования по общей теории грамматики. М., 1968.
2. Виноградов В. В. О взаимодействии лексико-семантических уровней с грамматическими в структуре языка // Виноградов В. В. Мысли о современном русском языке. М., 1969.
3. Ярцева В. Н. Роль лексики при синтаксическом анализе // Историко-филологические исследования. К 75-летию Н. И. Коврада. М., 1967.
4. Золотова Г. А. О взаимодействии лексики и грамматики в подклассах имен существительных // Памяти акад. В. В. Виноградова. М., 1971.
5. Иванова И. П. О полевой структуре частей речи в английском языке // Теория языка. Методы его исследования и преподавания. Л., 1981.
6. Всесоюзная конференция «Слово в грамматике и словаре» (Хроникальная заметка) // ВЯ. 1982. № 1.
7. Гак В. Г. Семантическая структура слова как компонент семантической структуры высказывания // Семантическая структура слова. М., 1971.
8. Ельмслев Л. Можно ли считать, что значения слов образуют структуру? // Новое в лингвистике. Вып. II. М., 1962.
9. Горюнов Б. В. О характере языковой структуры // ВЯ. 1959. № 1.
10. Москальская О. И. Структурно-семантические разряды слов в составе частей речи // Вопросы германского языкознания. М., 1961.
11. Fillmore Ch. Types of lexical information // Studies in syntax and semantics. Dordrecht, 1968.
12. Смирницкий А. И. Лексическое и грамматическое в слове // ВЯ. 1955. № 2.
13. Апресян Ю. Д. Лексическая семантика. Синонимические средства языка. М., 1974. С. 346.

14. Гак В. Г. Теоретическая грамматика французского языка. Морфология. М., 1979. С. 64.
15. Кубрякова Е. С. Части речи в ономастологическом освещении. М., 1978. С. 50.
16. Борто Л. В. Проявление связи между частями речи в современном русском языке. Кишинев, 1979.
17. Арутюнова Н. Д. К проблеме функциональных типов лексического значения // Аспекты семантических исследований. М., 1980. С. 174.
18. Беляева Т. М. Словообразовательная валентность глагольных основ в английском языке. М., 1979. С. 35.
19. Кубрякова Е. С. Типы языковых значений. Семантика производного слова. М., 1981.
20. Кацнельсон С. Д. Типология языка и речевое мышление. Л., 1972. С. 134, 142.
21. Труханович Н. В. Синтаксическое функционирование подклассов имени существительного (на материале английского языка): Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Л., 1981. С. 13.
22. Муравьева Г. Д. Проблема значения конкретных событийных имен в итальянском языке // Вестник МГУ. Сер. филол. наук. 1980. № 9. С. 63.

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

ШУЛЬГА М. В.

К ИСТОРИИ ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКОГО ГЕНИТИВА

1. На протяжении письменной истории русского языка в развитии формы родительного падежа единственного числа у существительных мужского рода отчетливо выделяются по крайней мере три хронологических этапа, каждому из которых свойственно свое распределение синонимичных флексий *-а* и *-у*. Мы остановимся на двух древнейших, охватывающих период до середины — конца XVII в. Это то время, в которое, на наш взгляд, обнаруживается внутренняя связь между оформлением род. падежа и развитием категории числа. Соответственно и рубежом между первым и вторым этапами в функционировании флексий *-а* и *-у* является наиболее важный формальный рубеж в развитии категории числа — переход от трехчленной системы числовых противопоставлений (ед. — дв. — мн. число) к двучленной (ед. — мн. число).

Наше понимание данного вопроса отличается от имеющихся в лингвистической литературе интерпретаций, однако это скорее попытка объединить существующие точки зрения, чем их оспорить. Мы опираемся большей частью на собственные наблюдения над языком древнерусской письменности, в частности над материалами картотеки Словаря древнерусского языка XI—XIV вв. (в дальнейшем — СДР), частными скорописными документами старорусского периода из архивов Государственного исторического музея и Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина. Но ни в чем существенном эти наблюдения не расходятся с обобщениями материала, имеющимися в огромнейшей литературе по истории род. падежа.

Сначала о том соотношении флексий в форме род. падежа, которое отражено в древнерусской письменности, в языке памятников XI, XII, XIII, отчасти и XIV вв.

Необходимо сразу же оговориться, что традиционная постановка вопроса — об уникальности такого широкого морфологического резонанса немногочисленной группы* *и*-основ, какой обнаруживается в род. падеже, — оказывается совершенно неправомерной по отношению к древнерусскому периоду, если рассматривать это явление в ряду других процессов, связанных с взаимодействием существительных на **-ѡ* и на **-ѧ*, и с учетом тенденций, обусловивших это взаимодействие. Однако что имеется в виду под тенденциями и о каких процессах идет речь? Очевидно, что взаимодействие основ на **-ѡ* и на **-ѧ* связано с развитием категории рода. Оно осуществлялось как объединение форм мужского рода в их противопоставлении формам немужского рода. Устранение различий в склонении, не мотивированных с позиций грамматического рода, устанавливало более однозначные соответствия между родом и склонением и тем самым укрепляло морфологические позиции категории рода (о различных проявлениях этой зависимости в системе склонения см. [1]). Участие грамматического рода удостоверяют (А) характер взаимодействия форм и (Б) зависимость

между употребительностью флексии и ее родоразличительными возможностями.

А. Взаимодействие основ на **-ѡ* и на **-ѧ* наблюдалось не только в род. падеже ед. числа, но во всех (в каждой без исключения) формах ед., дв. и мн. числа, где исконно имелись различия между парадигмами типа *плодѣ* и *медѣ* (фактический материал из письменности XI—XIV вв., послуживший основой для этого утверждения, см. в [2]). Такой характер унификации форм существительных одного и того же грамматического рода предопределен структурой родовых противопоставлений: род имени существительного выражается не в какой-либо падежной форме, а только в парадигме, во всей совокупности падежно-числовых форм, поэтому и унификация по роду — это унификация парадигм, а не отдельных падежных форм (подробнее см. [3]).

Б. В соответствии с тенденцией, обусловившей взаимодействие основ на **-ѡ* и на **-ѧ*, наиболее широкое распространение в древнерусском языке получают новообразования с флексиями **-ѧ*-основ, маркированными в отношении грамматического рода, т. е. с флексиями, которые встречаются только у слов мужского рода. Такими были флексии Р. ед. и М. ед. *-у*, И. мн. *-оуе*, Р. мн. *-оуѣ*¹. При этом в формах М. ед. и Р. мн. новые флексии имели то преимущество, что теснили позиции флексий, в отношении рода не маркированных (в М. ед. флексиями *-ѣ* и *-и* и в Р. мн. флексиями *-ѣ* и *-ѡ* оформлялись существительные не только мужского, но также женского и среднего рода, причем самых продуктивных словозменительных моделей: *странѣ*, *земли*, *кости*; *селѣ*, *поли*), а в Р. ед. и И. мн. ими вытеснялись двузачные в отношении рода флексии (флексия Р. ед. *-а* функционировала в кругу слов муж. и ср. рода: *плода*, *села*; флексия И. мн. *-и* — в кругу слов муж. и жен. рода: *плоди*, *кости*). Этим, по-видимому, был предопределен особо высокий удельный вес древнерусских новообразований в формах Р. и М. ед., И. и Р. мн.

В Т. мн. флексии *-ѣми/-ѡми* в прослеживаемый по памятникам период были связаны с женским и мужским грамматическим родом (*сынѣми*, *гостьѣми*; *костьѣми*, *матерьѣми*). Ср. исконные для парадигмы типа *плодѣ* флексии Т. мн. *-ѣ/-и*, связывавшиеся с мужским и средним грамматическим родом (*плоды*, *кони*; *сѣлы*, *поли*, *имѣны*). С позиций морфологического выражения грамматического рода вряд ли омонимия форм муж. и жен. рода (при Т. мн. на *-ѣми/-ѡми*) была предпочтительней омонимии форм муж. и ср. рода (при флексиях *-ѣ/-и*). Не потому ли флексии *-ѣми/-ѡми* на месте исконных *-ѣ/-и* значительно уступают в активности флексиям других падежей, маркированным в отношении рода?

В М. мн. флексиях *-ѣхъ/-ѡхъ* была трехродовой, т. е. внеродовой (*сынѣхъ*, *гостьѣхъ*, *каменьѣхъ*, *костьѣхъ*, *небесѣхъ*), в то время как вариантная флексия *-ѣхъ/-ѡхъ* была ограничена словами мужского и женского грамматического рода. Может быть, поэтому в конкуренции с флексией **-ѧ*-основ последняя удерживала в древнерусском языке свои позиции значительно прочнее, чем любая другая из исконных флексий парадигмы типа *плодѣ*.

В материалах картотеки СДР XI—XIV вв.² соотношение словоупот-

¹ Оставляем в стороне формы дат. и твор. падежей ед. числа и звательную форму с их исконным противопоставлением типа *медѣмъ* — *плодамъ*, *медови* — *плоду*, *меду* — *плоде*. Взаимодействие этих форм — процесс более ранний, в основном дописменный (подробней см. [2, с. 5—8; 4]), его ход в необходимых деталях на нашем материале уже не восстанавливается.

² В картотеке зафиксированы все употребления каждого слова в древнерусских памятниках, определенных списком [5].

реблений по моделям на *-i и на *-ъ удивительнейшим образом соответствует родоразличительному статусу каждого варианта в каждой падежной форме. У существительных с односложной основой, особенно часто (не менее, чем в половине словоупотребления, а в среднем в 73% словоупотреблений) встречающихся с флексиями *i-основ, наиболее частотны специфические для муж. рода флексии Р. мн. -овъ и М. ед. -у, конкурирующие с внеродовыми флексиями. Варианты типа *садовъ* сравнительно с *садъ* составляют около 95%; варианты типа *търгу* сравнительно с *тързъ* — 94% (конкретные примеры см. [2, с. 28—40]).

Далее по частотности идут специфические для муж. рода флексии, конкурирующие с двуродовыми: среди вариантных словоупотреблений типа *садовъ* и *сади*, *търгу* и *търга* флексии -ове в И. мн. и -у в Р. ед. составляют соответственно 67% и 62%.

Двуродовая флексия Т. мн. -ъми, конкурирующая с двуродовой же флексией -ы/-и (*чаръми* и *чары*), составляет 59% словоупотреблений. Это значительно ниже средней (73%) частотности словоупотреблений по модели на -i в этой группе слов и связано, наверное, с тем, что флексия -ъми несла с собой сомнительную альтернативу — флективную омонимию муж. рода с полярным ему жен. родом. И уступает, как и следует в связи с четко прослеживающейся закономерностью, конкурирующей двуродовой флексии М. мн. -бъхъ внеродовая (трехродовая) флексия -ъхъ. При вариантности типа *станъхъ* и *станбъхъ* она составляет 41% словоупотреблений.

Другими словами, удельный вес флексий *i-основ у существительных с односложной основой уменьшается в соответствии с уменьшением их родоразличительных возможностей: трехродовые флексии практически вытесняются однородовыми; двухродовые активно замещаются однородовыми; наблюдается относительное равновесие между старыми и новыми двуродовыми флексиями; и прочное всех удерживаются двухродовые флексии в конкуренции с трехродовыми.

Эта зависимость между родоразличительной возможностью флексии и ее употребительностью в письменности (можно, видимо, сказать: ее продуктивностью), даже неожиданная в своей прямолинейности, была проверена на другом лексическом материале — на формах односложных существительных, для которых словоупотребления по модели на *-i менее частотны и составляют от 49 до 15% (в среднем 27%). Это следующие десять слов (в порядке убывания средней частотности словоформ по типу *i-основ): *даръ*, *бродъ*, *удъ*, *врачъ*, *дългъ*, *пълкъ*, *сынъ*, *родъ*, *санъ*, *миръ*. Здесь обнаружено не столь четкое, но в целом аналогичное соотношение вариантов: наиболее высокий удельный вес флексии Р. мн. -овъ (94%) и наиболее низкий — флексии М. мн. -ъхъ (11%), предпочтительность флексии И. мн. -ове (84%) и М. ед. -у (всего 31%, но это выше среднего удельного веса вариантов по типу *i-основ), статистически невыразительные (28%, т. е. соответствующие среднему удельному весу вариантов по типу *i-основ в этой группе лексики) возможности флексии Т. мн. -ъми. Отстает от общей тенденции только флексия Р. ед. -у — менее частотная (она составляет у неодушевленных существительных 16%), чем это прогнозируется ее родоразличительным статусом.

В приведенных процентах отражено около семи тысяч словоупотреблений, и такая очевидная зависимость между родоразличительной возможностью флексии и ее употребительностью, в письменности вряд ли случайна. Во всяком случае несомненно, что для древнерусского периода широкое распространение флексии -у в Р. ед. является лишь частностью в процес-

се взаимодействия парадигмы типа *медь* и *плодь*, и в этом плане оно не выделяется на фоне других морфологических преобразований, связанных с актуализацией грамматического рода в склонении.

2. Флексия *-у* распространяется первоначально среди односложных существительных, поэтому все подсчеты ограничены ими. По нашим наблюдениям, односложность основы — это единственное ограничение, обусловленное характером индуцирующих основ (все существительные на **-й* имели односложную основу). Оно выразительно обнаруживает себя на раннем этапе не только в род. падеже, но во всех падежно-числовых формах.

Мы подчеркиваем регулярные (заурядные) моменты истории род. падежа, вовсе не отрицая неперенных в развитии каждого явления отклонений от общего направления: лексических сближений и подобных. Преимущественное внимание к закономерному здесь понятно: о с о б е н н о с т и генитивных образований на фоне других падежных образований исследованы достаточно обстоятельно. Так, отмечена связь между оформлением в род. падеже и акцентной парадигмой слова, а также лексической семантикой: по мнению С. П. Обнорского, флексия *-у* принимают преимущественно слова с ударением подвижного типа [6]; по мнению А. А. Шахматова, — собирательные, вещественные и отвлеченные [7]³.

Однако попытки поставить явление в общий ряд, вывести связь между флексией и акцентацией или семантикой из характера лексики, имеющей *-у* исконно, вызывают неудовлетворение, и оправданное — хотя бы потому, что уже к началу письменной истории славян парадигма на **-й* как нечто однородное в акцентном, или семантическом, или словообразовательном, или даже в словоизменительном отношении не существовала. В этом плане показательны и доказательны те сложности, которые существуют в определении круга исконных **-й*-основ (из последних работ см. [8, 9]) и их типового словообразовательного значения [10]. Если эту связь вести от индуцирующих основ, то правомерно возникает еще один вопрос: почему акцентологические и семантические их особенности не обнаруживают себя в других взаимодействующих формах, как, например, регулярно обнаруживает себя односложность основы?

Однако отмеченные С. П. Обнорским и А. А. Шахматовым связи реальные, и они вытекают, на наш взгляд, из потребности коммуникативной и структурной (морфологической) — различать числовые формы род. падежа: форму ед. числа и форму дв. числа. Это важное различие. Числовые противопоставления в склонении (в отличие от родовых) выражаются в каждой падежной форме (подробней см. [3]). Это наблюдается и в современном языке — в любом падеже у любого склоняемого слова ед. и мн. число различаются флексией: И. *плод* — *плоды*, Р. *плода* — *плодов*, Д. *плоду* — *плодам*, Т. *плодам* — *плодами*, П. *плоде* — *плодах*. При трехчленной системе числовые противопоставления, как уже отмечалось в лингвистической литературе, распадаются на цепь бинарных оппозиций. По наблюдениям В. И. Дегтярева, единственное число в праславянском языке семантически было противопоставлено двойственному и единственное же — множественному: «Двойственное и множественное различаются по значению и выражению, но не занимают взаимно исключающих позиций... Двойственное и множественное находятся по одну сторону оппозиции единственному числу» [11]. (По сути так же у А. В. Исаченко

³ А. А. Шахматов называл также слова, означающие местность, однако эта семантическая группа, по результатам многих новейших исследований, активности в отношении флексии *-у* не проявляла.

[12], хотя несколько иначе по внутренней иерархии числовых значений.) На формальном уровне эти отношения проявлялись в том, что омонимия противопоставленных числовых форм в системе избегалась (а омонимия взаимно не противопоставленных форм дв. и мн. числа не исключалась, ср.: *дваѣ вѣтви и вси вѣтви*).

По отношению к предмету нашего разговора это означает, что слова, имевшие Р. дв. на -у (т. е. основы на *-о)⁴, оказывались вне сферы влияния флексии Р. ед. -у, если только они не характеризовались ударением подвижного типа, позволявшим дифференцировать формы дв. и ед. числа. Исследователи письменных текстов нередко попадают в ловушку омографов на -у, как примеры образований Р. ед. на -у рассматривают формы дв. числа. В живом произношении такого смещения не должно возникать, иначе это привело бы к нарушению коммуникативных функций языка. У слов с подвижным ударением для дв. числа в род. падеже реконструируется ударение на флексии, в ед. числе оно падало на основу [13]. Это можно проиллюстрировать двумя примерами из акцентированных памятников: *з боку* — Лечебник XVII в. и *из боку* (*прошедый из боку твою*) — История Авраамия Палицына XVII в. [14]. Впрочем, распределение ударения могло быть и другим. Важно, что его подвижность давала возможность различать данные формы. С форморазличительными возможностями ударения связано, на наш взгляд, широкое функционирование флексии -у у слов с ударением подвижного типа, замеченное С. П. Обнорским.

С высказанными здесь позиций получает объяснение общность в развитии род. и местн. падежей, которая, по наблюдениям В. М. Маркова, обнаруживает себя тем заметней, чем больше мы углубляемся в прошлое языка. К отмеченным признакам исконного параллелизма [15, с. 56—60] следует прибавить акцентуацию: совпадение с формой дв. числа накладывало на местн. падеж те же ограничения, что и на род. (Различение по акцентуации род. и местн. на -у — это явление сравнительно более позднее.)

Флексия -у в ед. числе не создавала омонимии числовых форм также у слов, не имевших форм дв. числа, прежде всего у названий неисчисляемых понятий: у собирательных, вещественных и отвлеченных существительных, от которых, кроме форм ед. числа, встречаем в памятниках формы мн. (как, например, *доспехъ* — *доспехи*, *медъ* — *меды*, *ковъ* — *ковы*), но не дв. числа. Этим можно объяснить наблюдающееся ограничение древнерусских новообразований на -у по семантическим признакам и последовательное сохранение флексии -а за названиями предметов, подлежащих счету.

Следовательно, внутренняя пружина, регулирующая лексическое распределение флексий -а и -у при трехчленной системе числовых противопоставлений (т. е. преимущественно в предписьменный период истории языка и в первые века славянской письменности), — чисто структурная, морфологическая, а акцентологические и семантические ограничения в распространении флексии -у — это лишь ее поверхностные проявления. Эта интерпретация позволяет, как нам представляется, непротиворечиво объяснить известные древнейшие факты во всей их неоднозначности, из нее органично вытекают те изменения в соотношении вариантов на -у и -а, которые наблюдаются в дальнейшем, при переходе к двучленной системе числовых противопоставлений.

⁴ У исконных *-й-основ Р. дв. заканчивался на -ову (*медову*), т. е. омонимия ед. и дв. числа в род. падеже здесь не было.

3. С утратой форм дв. числа снимаются, естественно, и ограничения акцентологического характера на распространение флексии -у, что отмечается всеми исследователями, хотя сложившиеся в ранние века морфологические связи в какой-то мере проявляют себя и в последующем: односложные существительные с подвижным ударением остаются в активе гентивных образований на -у⁸.

Для выхода флексии -у за пределы односложных основ и одновременного расширения акцентологических рамок новообразований на -у подвижным, развивающимся основанием послужило отглагольное словообразование. В. М. Марков привлекает внимание к тому факту, что «отглагольное словообразование объединяет в качестве производящих основ как бесприставочные, так и приставочные формы, приводя к возникновению рядов однотипных именных образований (ср.: *ряд* — *наряд*, *заряд*, *уряд*, *подряд* и т. д.; *ход* — *заход*, *отход*, *приход*, *переход* и т. д.)». Таким образом, отглагольное словообразование как средство пополнения словарного состава языка оказывается вместе с тем и средством распространения гентивных образований на -у, представляющих как односложные, так и многосложные основы [15, с. 52] (следует, видимо, также добавить: как в системе форм с подвижным ударением, так и с неподвижным, в подавляющем большинстве основным ударением).

Участие отглагольных имен нулевой суффиксации в распространении флексии -у обеспечивалось также их семантической сущностью. Это отвлеченные существительные с типовым значением действия, допускающим на основе семантического словопроизводства возможность их сближения с различными группами имен, в первую очередь в вещественно-собирабельных, ср.: *доходь*, *запась*, *подмесь*, *нарядь*, *снарядь*, *изгонь*, *искупь*, *прикупь*, *присудь*, *приплодь* и мн. др. [15, с. 53—54].

4. Последнее обстоятельство немаловажно, так как, в отличие от акцентологических, семантические ограничения на распространение флексии -у (ограничения, сформировавшиеся, напомним, на собственно морфологической основе) продолжают действовать и тогда, когда формы дв. числа исчезают. И это не случайно, потому что и утрата дв. числа, и дальнейшее развитие формы род. падежа оказываются связанными с развитием числовой семантики.

Основная тенденция, определившая направление развития гентивных образований в средние века, — это, на наш взгляд, дифференциация грамматических форм существительных нумеральной и анумеральной семантики. Здесь необходим небольшой экскурс в область других проявлений различий между формами слов, обозначающих исчисляемые и неисчисляемые (измеряемые) субстанции, которые в совокупности свидетельствуют о грамматикализации значений исчисляемости/неисчисляемости в истории языка.

На рубеже XIII—XIV вв. в формах числа намечается ряд изменений, которые в развитии выразительно сигнализируют об изменениях в грамматической семантике категории числа и, прежде всего, об актуализации тех различий в лексической семантике существительных, которые связаны с количественной определенностью или неопределенностью (дискретностью/непрерывностью), т. е. исчисляемостью/неисчисляемостью. В самом деле, какой общий признак, кроме неисчисляемости, объединяет

⁸ Односложные существительные вплоть до нового времени шире развивают флексию -у, чем дву- и многосложные. По подсчетам В. Торндаля, те и другие гентивные образования на -у встречаются в текстах в пропорции 6 : 1 [16].

такие различные в лексико-семантическом отношении классы слов, как отвлеченные существительные, с одной стороны, и те из конкретных, которые обозначают вещество, а также собрания предметов, — с другой, обособлявшиеся в грамматическом плане как слова, имеющие лишь одну числовую парадигму?

Исчисляемость/неисчисляемость получает выражение не только в отношении к формам числа, но и на акцентологическом уровне. По наблюдениям А. А. Зализняка, та лишняя «степень свободы» в акцентуационном отношении, которой обладают односложные существительные по сравнению с неодносложными, оказалась использованной для выражения семантического противопоставления по исчисляемости/неисчисляемости. А именно: наосновное ударение в ед. числе наблюдается у неисчисляемых, флекссионное — у исчисляемых [17, с. 80—81]. Эта связь отмечена еще А. А. Шахматовым в следующем беглом замечании: «...Все слова мужского рода с отвлеченным значением не имеют вообще ударения на окончаниях: *верх, задор, отпор* и т. п., напротив, все слова с ударением на окончаниях имеют конкретное значение: *табак, столб, поп, конец* (кроме слов на *-еж*)» [18]. (Это высказывание корректирует А. А. Зализняк [17, с. 85, примеч. 30].) На материале белорусского языка синхроническую связь между акцентуацией слова и семантическим противопоставлением «конкретные единичные предметы», с одной стороны, и «вещества, собирательные и абстрактные понятия» — с другой, отмечает Н. П. Лобан [19]. Наблюдения Т. Г. Хазагерова характеризуют явление в динамике: в ходе исторического развития языка к наосновному ударению в ед. числе переходили обозначения отвлеченных понятий, к флекссионному — названия лиц, орудий, инструментов [20, 21]. Однако, как это справедливо отметил А. А. Зализняк [17, с. 86, примеч. 31], больше оснований имеется рассматривать приводимый Т. Г. Хазагеровым материал в рамках противопоставления по признаку исчисляемости, неисчисляемости.

Таким образом, калпцо грамматическое обнаружение различий между обозначениями исчисляемых и измеряемых субстанций, не столь уж неожиданное на фоне кардинальных формальных изменений в категории числа, так или иначе связанных с усилением ее предметно-логической основы. Кроме формирования класса слов *singularia tantum* и расширения *pluralia tantum*, имеются в виду: утрата форм дв. числа; унификация множественной парадигмы с устранением родовых различий; категориальное обособление счетных слов (формирование числительных), обнаруживаемое в изменении их сочетаемости с существительными, и некот. др.

Использование семантически не мотивированного флективного параллелизма (устранение синонимии флексий *-а* и *-у*) для грамматического разграничения значений исчисляемости/неисчисляемости связано с род. падежом естественной связью, так как для род. падежа количественное значение является одним из главных. С другой стороны, при всех основных средствах обозначения количества так или иначе употребляется форма род. падежа (*много, мало, несколько... + Р. п.; пять, шесть... + Р. п. и т. д.*). В древнерусском языке род. количества был еще более употребительным, так как форма род. падежа употреблялась при счетных существительных, начиная с *пяти*, даже при их склонении: *пять(д) пя(т)ю себидитель* — КР 1284, 300а; *пред(д) -ю послухъ* — МПР XIV, 72об. Не случайно, по-видимому, что и сочетания числительных *два, три, четыре* с существительными в именительном падеже перефор-

мляются в истории русского языка как сочетания с род. падежом⁴.

Связь между исчисляемостью/неисчисляемостью и оформлением род. падежа была отмечена еще М. В. Ломоносовым: по его наблюдениям, колебания в современном ему языке между окончаниями *-а* и *-у* разрешаются в пользу *-а* именно для тех слов, которые подлежат счету, например, *три волоса, четыре закона, три боба, два блина* [23]. А. А. Шахматов выделяет категорию считаемости [22, § 437], морфологическое обнаружение которой, кроме формы род. единственного, видит в некоторых разрозненных проявлениях у разных групп лексем: у единиц счета, имеющих в род. множественного древнюю форму без окончания *-ов* (*аршин, солдат, рекрут, драгун, сапог, чулок, пуд*); в особенностях акцентуации существительных в сочетаниях *два, три, четыре шага, ряда, часа*; в формах мн. числа *человек, куриц, дерев*, употребляемых только после числительных (ср.: *люди, куры, деревья*); в употреблении после числительных слов на *-ина*, означающих единичное понятие (*семь репин, двадцать скотин*). Связь между отсутствием форм мн. числа и флексией *-у* отмечал Л. А. Булаховский: «...Кроме сочетаний наречного типа, род. падеж ед. ч. на *-у* образуют главным образом слова, обычно не имеющие множественного числа. Можно, таким образом, предполагать, что утилизация старого семантически не мотивированного параллелизма пошла по линии выделения особой категории слов, имеющих одно только единственное число. Из вещественных понятий среди *ъ*-основ, вероятно, оказались особо влиятельными *меду, солоду*» [24].

Что касается последнего замечания Л. А. Булаховского, обращения к влиянию отдельных слов, то его следует учитывать в ряду сопутствующих факторов. В основу же противопоставления по исчисляемости/неисчисляемости легли, как это мы пытались обосновать, не лексические, а грамматические абстракции. Возвращаясь к сказанному, логику событий вкратце можно изложить следующим образом. В ходе развития грамматической семантики категории числа (усиления ее предметно-логической основы) получают грамматическое выражение значения исчисляемости и неисчисляемости: в формировании класса слов, имеющих лишь одну числовую парадигму, в закреплении основного ударения за словами, означающими неисчисляемые понятия, также в некоторых других морфологических проявлениях. Для грамматического разграничения значений исчисляемости/неисчисляемости используется также семантически не мотивированный параллелизм флексий *-а* и *-у* в связи с тем, что для род. падежа количественное значение является одним из главных.

5. Какие факты в эволюции генитивных образований склоняют к такой интерпретации?

Проявление все более последовательной грамматикализации значений исчисляемости/неисчисляемости в истории русского языка можно,

⁴ Однако после наделения дв. числа вряд ли правомерно искать причинно-следственную связь между оформлением сочетаний типа *два стола* и сохранением флексии *-а* в кругу считаемых существительных. (Ср. «...*Два клина* представляет старую форму двойственного числа, отсюда *три, четыре клина*; под этим влиянием удерживалось *клина* вместо *клину* и в таких сочетаниях, как *от клина*» [22, § 502]). Скорее, это явления одного порядка: выражение количественных отношений формой род. падежа предопределило и характер эволюции конструкций с числительными *два, три, четыре*, и характер распределения флексий *-а* и *-у*. Ведь в южнорусских говорах, а также в украинском языке в сочетаниях с числительными *два, три, четыре* обобщалась форма им. падежа, а генитивные образования на *-а* и *-у* развивались в том же направлении, что и севернорусские.

как нам представляется, видеть в постепенном ограничении вариантности генитивных форм, т. е. в нарастании лексической распределенности флексий *-а* и *-у*. На протяжении древнего и среднего периода истории русского языка от века к веку меняется соотношение флексий *-а* и *-у*. И дело не столько в неуклонном увеличении удельного веса образований на *-у* в ряду генитивных, сколько в постепенном качественном изменении характера отношений между образованиями на *-у* и *-а*.

В письменности XI—XIV вв., как можно судить по материалам картотеки СДР, три четверти слов, отмеченных с флексией *-у*, встречаются также с флексией *-а*, остальная четверть — это почти исключительно низкочастотные слова, отмеченные в текстах по 1—2 раза. Видимо, почти каждое из слов, оформлявшихся флексией *-у*, могло употребляться и с *-а*. В деловых памятниках XVII в. вариантность флексий наблюдается лишь у 8% слов, знающих *-у*. Если обратиться к материалам, исследованным другими авторами, мы получим несколько иные и разные цифры (что не в последнюю очередь оказывается связанным с жанровыми особенностями исследованных текстов); но постоянным и неизменным остается один показатель: постепенное по векам ограничение вариантности флексий *-а* и *-у*. Например, по нашим подсчетам, сделанным на материале кандидатской диссертации А. Т. Лавриненко [25], вариантность в XI в. свойственна 84% слов, в XVII — 30%, а по векам от XI до XVII: 84% — 67% — 63% — 59% — 52% — 35% — 30%. Аналогичные подсчеты произвел Серенсен: для XVI в. вариантность отмечена у 16% слов, имеющих *-у* (подсчеты сделаны на основании материалов Б. Унбегуна [26]); для XVII в. — у 12% (подсчеты произведены на основании данных Х. Станга [27]) или у 10% слов (по собственным материалам Серенсена) [28]. Совершенно единичны случаи вариантности в обширном списке генитивных образований на *-у* XVII в., приведенном Ф. Кокроном [29].

Налицо явное движение от вариантности к лексическому распределению флексий. Перечисленные исследования опираются на материалы различных жанров, и каждому жанру названная тенденция свойственна. Причем, чем ближе к живой речи, тем распределенность очевидней. Для сравнения мы взяли документы одного и того же времени (XVII в.), одной и той же диалектной территории (Брянск), писанные часто одной рукой, но различные по жанру — бытовые (частные письма [30]) и деловые [31, 32]. В частных письмах встречается 45 слов с флексией *-у* и 41 («неодушевленное») с флексией *-а*, но ни одного случая вариантности флексий *-а* и *-у* у одного и того же слова. В деловых документах столь четкой распределенности не наблюдается, хотя процент вариантных форм и очень низок (8%).

При этом обращает на себя внимание характер лексики, представленной вариантными образованиями. Это, как правило, семантически разошедшиеся образования: один вариант употребляется в исчисляемом, а другой — в неисчисляемом значении. Причем неисчисляемому значению, как правило, соответствует флексия *-у*, а исчисляемому *-а*. Типичные примеры: в значении «строительный материал» употребляется форма *леску* (да мл(с)ти прошу Дм(т)ре(н) Иван(и)ч(у) *лес(с)ку* на хоромное строе(н)ѣ [30, ГИМ—7]), в значении «участок земли, поросший деревьями» — регулярно *леска: о(т) лезька (!) вни(з) по Страпа(в)ская болота 1654 [24, № 10098].* Значению действия от глагола *приходить* соответствует словоформа *приходу*: хотя тѣ(м) о(т)бы(т) своего почного *приходу* 1697 [32, ед. хр. 6, л. 327а]. В значении административно-хозяйственной единицы употребляется словоформа *прихода*: па(т)риарши дани

плати(т) с цркви *прихода* своего [30, ГИМ—13]. Аналогично: *можу* куплено — ото(м)ха ручико(м); куплено *дубу* — о(т) дуба по кове(ц) бору; прикуплено *лѣсу* — на краі *лѣса* ду(б). Последние примеры — из южнорусских отказных и таможенных книг XVII в. На семантическую дифференциацию морфологических вариантов обратила внимание Н. Д. Ахвледиани [33].

Эти установленные на материале средних веков отношения в употреблении флексий *-а* и *-у* перекликаются с современными отношениями в области акцентуации односложных существительных, о которых уже говорилось (см. п. 4). Чрезвычайно показательны также колебания в ударении односложных существительных и отступления от принципа семантической распределенности акцентных схем. Они совершенно идентичны тем колебаниям и отступлениям, которые наблюдаем на старорусском материале в сфере распределения флексий *-а* и *-у*. Так, если слово возможно в двух значениях (исчисляемом и неисчисляемом), трудности разрешаются или закреплением за исчисляемым и неисчисляемым значениями разной акцентуации (*хлѣстѣ* — *хлѣбѣсту*, *скотѣ* — *скотѣу* и т. д.) или — чаще — акцентуации основного значения. При этом, как и у старорусской флексии, в современном просторечии обнаруживается тенденция к более последовательному соблюдению акцентных различий между неисчисляемыми и исчисляемыми значениями [17].

Изменения в числовой семантике, обусловившие развитие генитивных образований, — это общевосточнославянский, а не собственно русский процесс. Поэтому закономерно ожидать общее в эволюции род. падежа в восточнославянских языках. Здесь уместно сослаться на данные украинского языка, сохраняющего, по мнению А. А. Шахматова [34], отношения средних веков наиболее консервативно.

В староукраинской письменности наблюдается постепенное нарастание лексической распределенности в употреблении флексий *-а* и *-у*, совершенно аналогичное отмечавшемуся по отношению к старорусской письменности. Следуя материалам А. Т. Лавриненко [25], для XV в. устанавливаем вариантность у 19% слов, имеющих *-у*, для XVI в. — у 14%, для XVII в. — у 12%. В отличие от русского языка, украинский сохраняет эти отношения и в новый период. Так, флексию *-у* в современном украинском языке имеют в основном названия неисчисляемых понятий — слова абстрактной семантики, вещественные и собирательные, не имеющие форм мн. числа; употребление флексий *-а* и *-у*, в отличие от русского языка, синтаксически не обусловлено; вариантность крайне ограничена. Широко и выразительно семантическая обусловленность обнаруживается в дифференциации по флексии конкретных (исчисляемых) и абстрактных или вещественно-собирательных (неисчисляемых) существительных-омонимов: *липцѣ* (июль), но *липцю* (мед), *листвѣ* (письмо) — *листу* (лист); академическая грамматика украинского языка приводит широкие ряды таких слов [35].

Таким образом, в истории русского, как и в истории украинского языка, постепенно нарастает лексическая распределенность флексий *-а* и *-у*. На фоне параллельных явлений в акцентуации ее можно рассматривать в русле грамматикализации значений исчисляемости/неисчисляемости. В XVII в. вариантность надежных образований на *-а* и *-у* мнимая. Это время можно считать моментом наиболее последовательного разграничения значений исчисляемости/неисчисляемости в форме род. падежа ед. числа.

6. Лексическая распределенность флексий *-а* и *-у*, незначительная

вариантность соответствующих образований без очевидных признаков синтаксической обусловленности вариантов (последнее отмечают многие исследователи текстов XVII в., см. [28, 36 и др.]) не позволяют говорить по отношению к этому периоду о существовании особого партитивного падежа наряду с собственно род. (со значением отношения, принадлежности и т. д.), ср. [25, 37]. Грамматическое оформление партитивного значения проявлялось в основном позднее в постепенном сужении сферы употребления флексии *-у* до значения части, т. е. в вытеснении ее флексией *-а* в других значениях и соответственно в расширении вариантности типа *воску* — *воска*. В связи с этим внимание привлекают наблюдения Серенсева над языком северных деловых (следовательно: далеких от книжно-славянской традиции) документов. Он отмечает в них существенный сдвиг в употреблении форм на *-у* и на *-а* между 50 и 70-ми годами XVII в. — нарастание форм на *-а*, а вместе с этим и вариантности типа *атласу* — *атласа*. Московские же документы этого времени еще сохраняют сложившиеся ранее отношения [28]. Многочисленные случаи грамматической замены *-у* на *-а* отмечаются с середины XVII в. Л. А. Андреевой в языке частных дневников путешествий [38]. Это позволяет предполагать внутривидовые предпосылки отмеченных изменений, а не только влияние литературной нормы, опирающейся на книжно-славянскую традицию. Предстоит решить: как связаны они с развитием грамматической семантики категории числа? На такую постановку вопроса наталкивают и существенные сдвиги в истории числовых форм собирательных существительных (отмеченные в литературе [39]), которые приходится на рубеж XVII и XVIII вв. Но это уже предмет дальнейшего исследования проблемы.

ЛИТЕРАТУРА

1. Иорданиди С. И., Шульга М. В. Морфологическое выражение категории рода в истории русского языка // Общеславянский лингвистический атлас. Материалы и исследования. 1981. М., 1984.
2. Шульга М. В. Парадигма типа *медь* в древнерусской письменности // Исследования по исторической морфологии русского языка. М., 1978.
3. Шульга М. В. Унификация русского субстантивного склонения с точки зрения структуры родовых и числовых противопоставлений // ВЯ. 1983. № 2.
4. Шульга М. В. Из истории древнеславянских флексий *-омь/-емь* и *-ьмь/-ьмь* (творительный пад. ед. ч. м. и ср. рода) // Лингвистическая география и проблемы истории языка: Материалы Шестого всесоюзного совещания по общим вопросам диалектологии и истории языка, посвященного 60-летию Великой Октябрьской социалистической революции. Ч. 2. Нальчик, 1981.
5. Словарь древнерусского языка XI—XIV вв. (Введение, инструкция, список источников, пробные статьи) / Под ред. Аванесова Р. И. М., 1966. С. 90—169.
6. Обнорский С. П. Именное склонение в современном русском языке. Вып. 1. Единственное число. Л., 1927.
7. Шахматов А. А. Историческая морфология русского языка. М., 1957.
8. Эккерт Р. Основы на *-й-* в праславянском языке // Уч. зап. Ин-та славяноведения. 1963. Т. 27.
9. Бернштейн С. Б. Очерк сравнительной грамматики славянских языков: Чередования. Именные основы. М., 1974. С. 241.
10. Панченко Е. А. Индоевропейский суффикс **-eu-* / *-й-* и праславянские *й-* основы // Вестник МГУ. Сер. 9. Филология. 1982. № 1.
11. Дегтярев В. И. Категория числа в славянских языках (историко-семантическое исследование). Ростов н/Д. 1982. С. 38.
12. Исаченко А. В. О грамматическом значении // ВЯ. 1961. № 1. С. 39 (примеч. 37).
13. Зализняк А. А. От праславянской акцентуации к русской. М., 1985. С. 141. Табл. 3.
14. Колесов В. В. История русского ударения. Л., 1972. С. 131.
15. Марков В. М. Историческая грамматика русского языка: Именное склонение. М., 1974. С. 52.

16. *Thorndahl W.* Genetivens og lokativens -y/-ю-endelse i russiske middelaldertekster. København, 1974.
17. *Зализняк А. А.* Закономерности акцентуации русских односложных существительных мужского рода // Проблемы теоретической и экспериментальной лингвистики. М., 1977.
18. *Шахматов А. А.* Очерк современного русского литературного языка. 4-е изд. М., 1941. С. 129.
19. *Лобан Н. П.* Напіск у вазоўніках з невытворнай асновай у сучаснай беларускай літаратурнай мове // Пр. І-та мовазнаўства Вып. IV. Мінск, 1957.
20. *Хазангеров Т. Г.* Развитие типов ударения в системе русского именного склонения. М., 1973. С. 87.
21. *Хазангеров Т. Г.* Ударение как средство дифференциации грамматических форм // ВЯ. 1973. № 4. С. 104.
22. *Шахматов А. А.* Синтаксис русского языка. М., 1941.
23. *Ломоносов М. В.* Российская грамматика // Полн. собр. соч. Т. 7. М.—Л., 1952. § 179.
24. *Будаловский Л. А.* Курс русского литературного языка. 4-е изд. Т. 2. Киев, 1953. С. 123—124.
25. *Лавриненко А. Т.* История вариантных флексий родительного падежа единственного числа имен существительных мужского рода -а/-я и -у/-ю в русском и украинском языках: Дис. ... канд. филол. наук. М., 1975.
26. *Unbegaun B.* La langue russe au XVI^e siècle (1500—1550). P., 1935.
27. *Stang Chr.* La langue du livre «Учение и хитрость ратного строения пехотных людей 1647». Oslo, 1952.
28. *Sørensen H.* Zum russischen Genitiv auf -a und -y im 17. Jahrh // Scando-slavica. 1958. T. IV.
29. *Cocron F.* La langue russe dans la seconde moitié du XVII^e siècle (morphologie). P. 1962. P. 36.
30. *Котков С. И., Панкратова Н. П.* Источники по истории русского народно-разговорного языка XVII — начала XVIII века. М., 1964.
31. Отдел рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина. Ф. № 161.
32. Отдел письменных источников Государственного исторического музея. Ф. № 88.
33. *Азалевиани Н. Д.* Нормы словоизменения имен существительных в русском приказном языке XVII века: Дис. ... канд. филол. наук. М., 1983.
34. *Шахматов А. А.* Историческая морфология русского языка. М., 1957. С. 248.
35. Сучасна українська літературна мова. Кн. 2. Київ, 1962.
36. *Хабургаев Г. А.* К истории форм родительного и предложного падежей единственного числа с окончанием -у // Уч. зап. Белгородского гос. пед. ин-та. 1961. Т. 3. Вып. 2. С. 169.
37. *Горшкова К. В., Хабургаев Г. А.* Историческая грамматика русского языка. М., 1981. С. 185.
38. Грамматическая лексикология русского языка. [Казань], 1978. С. 85—86.
39. *Еселевич И. Э.* Из истории категории собирательности в русском языке [Казань], 1979. С. 31, 93—95.

КАНДЕЛАКИ Т. Л.

ОСНОВНЫЕ ГРУППИРОВКИ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ УПОРЯДОЧЕННЫХ ТЕРМИНОЛОГИЙ*

Разработка упорядоченных терминологий методом создания словарей системного типа — одна из важнейших задач прикладных направлений терминоведения.

Статус словарей системного типа до сих пор четко не определен.

Развитие терминологической лексикографии шло параллельно с лексикографией общего языка, опиралось на те же идеи и использовало те же методы. Более того, основные типы идеографических (понятийных — К. Т.) словарей имеют аналоги в терминологической лексикографии — в способах систематизации терминов, наличии сокращенных обозначений, иллюстраций, типов указателей.

Современную типологию понятийных словарей и основы их лексикографии обоснованно связывают с успехами лексической и синтаксической семантики, с предлагаемыми ими моделями лексической и семантической систем языка.

П. Н. Денисов не без оснований полагает, что понятийные словари образуют единый тип, но очень обширное семейство, так как групповое объединение слов в лексико-семантической системе весьма многообразно [1]¹. В работе Л. Я. Цвета [2] дается систематизированный обзор более семидесяти работ, посвященных анализу разного рода лексических групп.

Трудности построения приемлемой классификации объясняются, на наш взгляд: 1) нередким смешением и неоправданным объединением группировок, характеризующих только ономастический или только семаспологический аспекты рассмотрения лексики; 2) нарушением принятого принципа объединения в такие группировки только отдельных однородных вариантов нескольких многозначных слов (условия полного отвлечения от характера соотношения вариантов внутри отдельного многозначного слова); 3) смешением аспектов речи и языка.

При конструировании словарей системного типа должны быть выполнены следующие задачи: 1) сконструирован систематизированный словник из первоначально семантически неупорядоченного списка слов-терминов на основе той информации, которая содержится в этом словнике и в предварительных дефинициях; 2) сконструирована система дефиниций на основе тех семантических отношений, которые выявлены в процессе создания систематизированного словника тех терминов, которые его образуют; 3) сконструирована система согласованных терминов, отражающих, в допустимых языком пределах, выявленные семантические отноше-

* Редакция журнала приносит глубокую благодарность В. П. Даниленко, принявшей участие в подготовке статьи к печати.

¹ В нашей статье рассматриваются только «Сборники рекомендуемых терминов» КНТТ АН СССР и ГОСТы на термины и определения.

ния и признаки, зафиксированные в дефинициях. Конструируется план содержания и план выражения.

Для конструирования понятийных словарей системного типа должна быть достигнута ясность в том, какие группировки терминологических единиц они содержат и какие типы связей должны быть внутри этих групп и между ними.

Основной единицей лексико-семантической системы нами принимается лексико-семантический вариант слова (ЛСВ), входящий в определенные отношения с однородными ЛСВ других многозначных терминов-слов и терминов-словосочетаний, объединяясь с ними в определенные группы.

В основу выделения типов объединения ЛСВ терминов представляется правильным положить, в первую очередь, признак их принадлежности к одной и той же или к разным частям речи².

А. Объединение ЛСВ, принадлежащих к одной части речи

При выявлении группировок ЛСВ необходимо учитывать деление понятий по двум независимым основаниям: во-первых, на конкретные и абстрактные и, во-вторых, на общие, единичные и собирательные. В связи с этим при выявлении видов объединения ЛСВ им могут соответствовать группировки понятий следующих типов: 1) конкретных общих и конкретных единичных, а также конкретных собирательных; 2) абстрактных общих и абстрактных единичных, а также абстрактных собирательных [3].

1. Исходной (по не «конечной») единицей объединения ЛСВ внутри всех частей речи, поставляющей «строительный материал» для всех других объединений ЛСВ, правомерно принять те из объединений, которые организованы по родовидовому принципу (тематические группы, ряды, серии и т. д.) с соответствующими классификационными отношениями обозначаемых ими понятий. Л. Я. Цвет отмечает, что их относят к «первичным ячейкам системных отношений внутри части речи» [2, с. 10, 11]. В эту родовидовую группировку попадают имена родовых понятий, дублиеты, антонимы и синонимы.

Группе, объединяющей конкретные понятия, соответствуют термины понятий, организованных в родовидовую классификацию, включающую конкретные общие понятия и конкретные единичные понятия данного рода. Термины соподчиненных понятий, лежащих в них на одной классификационной горизонтальной, выражают понятия соподчиненные, взаимоисключающие, противопоставляемые по одним и тем же основаниям деления на каждой ступени деления³.

Признак, по которому производится деление, используется в качестве основания деления таким образом, что предметы, составляющие объем делимого понятия, разделяются на группы. Соотношение между членами оппозиций может быть привативным, градуальным, ступенчатым и эквивалентным.

К объединениям ЛСВ — членам одной тематической группы — могут быть отнесены термины понятий, противопоставляемых по степени интенсивности, величине.

² В «Сборниках рекомендуемых терминов» КНТТ АН СССР и ГОСТах члены одной классификации одновременно обозначаются терминами-существительными и терминами-субстантивными словосочетаниями.

³ Объединены термины, включающие общие интегральные семы.

В общем языке группы противопоставляемых понятий представлены антонимами. Синонимические группы, объединяющие слова какой-либо тематической группы одной части речи, являются «обломками» таких же тематических родовидовых групп, но образованных по принципу специфических для синонимов в общем языке оснований деления. В терминологии фактически нет необходимости выделять синонимические группы, которые различаются «оттенками» значений или стилистическими и экспрессивными особенностями. Те объединения, которые в терминоведении иногда называют «терминами-синонимами», являются, как это убедительно отмечает О. С. Ахманова [4], по существу терминами-дублетами, которые обозначают одно и то же понятие (им соответствует один и тот же ЛСВ).

Объединения родовидовых конкретных понятий содержат на верхних горизонталях общие понятия, конечную степень деления в классификации занимают конкретные единичные понятия. Им соответствуют имена собственные и номенклатурные наименования (номены) [3].

Родовидовые тематические группы обычно многослойны, многомерны, т. к. включают не одну, а несколько классификаций (фасетов) (по нескольким основаниям деления) исходного родового конкретного или абстрактного понятия [5].

Особое место в классификации родовидовых семантических объединений занимают семантические (универсальные) категории, выделяемые внутри терминно-имен существительных: 1) ЛСВ существительных, обозначающие собственно предметы (вещи, вещества, людей, животных, растения и т. п.); 2) ЛСВ существительных, обозначающие действия, процессы, состояния в отвлечении от их субъекта и др.; 3) ЛСВ существительных, обозначающие свойства в отвлечении от их носителя. Д. С. Лотте различал для техники термины категории «предметов», «процессов», «свойств», «величин» и др. Все тематические родовидовые группы терминов-имен существительных группируются внутри этих категориальных объединений.

2. Возможны более сложные объединения ЛСВ — объединения членов разных родовидовых тематических групп с членами других родовидовых тематических групп той же части речи. Это могут быть объединения ЛСВ терминов, обозначающих отмеченные выше: 1) конкретные собирательные понятия; 2) абстрактные собирательные понятия.

Наиболее распространенный вид такого объединения — это партитивные объединения. Сюда же относятся названия ряда объектов, наделенных общностью назначения, смежных в пространстве и т. п. Обычно такие объединения ЛСВ разных тематических родовидовых групп называют «лексико-семантическими группами» (ЛСГ). Составляющие таких групп не имеют общего родового понятия, т. к. принадлежат к разным тематическим группам, но обязательно к одной части речи. Такие лексико-семантические группы вместо термина — родового понятия объединяются терминами — собирательными названиями для конкретных или абстрактных понятий [5].

3. В группу А входит объединение производного и производящего слов, относящихся к одной и той же части речи, но к разным тематическим, лексико-семантическим группам или семантическим категориям.

4. В группу А можно отнести объединения ЛСВ терминов разных тематических групп внутри полисемантического слова и терминов-омонимов.

Б. Объединение ЛСВ, принадлежащих к разным частям речи

Качественно иным объединением является объединение ЛСВ, принадлежащих к разным частям речи.

1. Однокоренные слова — гнезда ЛСВ, структурно-семантическая форма которых включает одни и те же мотивирующие признаки; гиперлексемы — «объединение лексем, связанных словообразовательными отношениями на основе морфологически закрепленных лексических категорий» [6].

2. Семантические поля — «...для семантического поля, — пишет П. Н. Денисов, — можно указать ряд опознавательных признаков: 1) обширность; 2) смысловая аттракция (тяготение друг к другу, а не бинарное противопоставление); 3) целостность; 4) упорядоченность; 5) взаимоопределяемость элементов (каждый элемент поля „прилегает“ к соседям); 6) полнота; 7) произвольность и размытость границ; 8) непрерывность» [4, с. 127].

Семантические поля — прежде всего объединение лексем, принадлежащих к разным частям речи, но включающих общую дифференциальную сему (в плане содержания).

Во главе многих терминологических семантических полей стоят ЛСВ терминов-существительных или субстантивных словосочетаний (категории предмета, процесса, свойства, величины и др.), о которых мы говорили выше⁴.

3. К группе Б относятся также и те объединения ЛСВ, которые некоторые исследователи называют «системой».

Д. С. Лотте в своих «Лекциях» отмечал применительно к технике, «что понятия различных категорий, вошедших в разные разделы терминологии, могут быть связаны между собой либо причинно-следственными отношениями, либо общностью предмета мысли, выражением разных сторон (категорий) которого эти понятия являются» [7]; «группы и элементы, для которых характерны причинные связи и взаимосвязи, вернее, сеть связей между функциональными элементами и группами функциональных элементов, по-видимому, есть основание, — считает Г. С. Щур, — рассматривать как систему» [8]. К этой группе объединений ЛСВ в принятой нами классификации относятся объединения отдельных членов родовидовых тематических групп, лексико-семантических групп и элементов других полей. Инклюзивность и ступенчатость считают двумя важнейшими характеристиками системы.

Для каждой системы значений, лежащей в основе терминологии какой-либо науки, отрасли, характерна определенная типовая ситуация, т. е. предметы, процессы, явления, свойства, величины и т. п., и типовой характер взаимоотношений между ними. В любой типовой схеме системного словаря выделяются «первый раздел» и «разделы, следующие за первым». По этому основанию выделяются два класса. К первому отнесены те схемы, в которых разделы, следующие за первым, имеют строго фиксированное положение, ко второму — те, в которых разделы, следующие за первым, не имеют строго фиксированного положения [9].

В определенной последовательности в системы входят члены конкретных и абстрактных родовидовых групп (общие и единичные понятия),

⁴ Конструирование полей имеет значение для отработки однозначности терминов и терминологических элементов, образующих и план содержания и план выражения упорядоченных терминологий.

лексико-семантические группы (в том числе конкретные собирательные и абстрактные собирательные), объединяемые в семантические категории и др.

Терминологические системы техники включают термины-существительные и словосочетания, а также одноосновные глаголы и сочетания с ними. Другие части речи входят только в состав терминов-словосочетаний. В «Сборниках рекомендуемых терминов» КНТТ и ГОСТах глаголы вообще опускаются.

П. Н. Денисов выделяет чисто ситуативные объединения ЛСВ. «Ситуативные группы соотносятся с понятием ситуации, которая подразумевает место, время, обстоятельства, участников, отношения между ними и т. д. Единицами ситуативных групп могут быть случайные ... объединения слов, поскольку сами ситуации могут быть стандартными, стереотипными, обычными, чрезвычайными и т. п.» [1, с. 128].

Эти ситуативные стандартные группы можно было бы соотнести с рассмотренными нами выше «системами», но П. Н. Денисов не отмечает в них как характерную особенность наличие причинно-следственных или других связей, обуславливающих фиксированное положение отдельных групп терминов, их взаимную последовательность.

Предложенная выше классификация группировок ЛСВ позволяет выделить признаки для построения понятийных терминологических словарей. Вполне своевременно подойти к методике разработки упорядоченных терминологий с позиций лингвистического конструирования нового лингвистического объекта [10].

Ниже приведены конструктивные параметры⁵, которым должен отвечать этот новый лингвистический объект — упорядоченная терминология (словарь системного типа).

Перечень конструктивных лексикографических параметров, которые должны планироваться при создании словарей системного типа в технике

1. Научная письменная речь. Связный монологический текст с абзацной организацией связи между высказываниями, образующими позицию словаря. Сквозная нумерация абзацев.
2. Терминологический параметр.
3. Однозначность терминов.
4. Ономастологический параметр.
5. ЛСВ определенной части речи — в данном случае — существительных и субстантивных словосочетаний (без глаголов).
6. Ситуативные объединения с системными связями между ЛСВ, включающие: 1) тематические группы ЛСВ, 2) лексико-семантические группы ЛСВ.
7. Семантизация — дефиниции и рисунки.
8. Нормативный параметр. Стилистический параметр. Рекомендуемые термины и не рекомендуемые термины (дублиеты и варианты). Термины — краткие формы. Символы. Буквенные обозначения.
9. Иностранные эквиваленты.
10. Алфавитные указатели на всех языках системного словаря.

⁵ «Под конструктивными понимаются параметры, требующие для своей обработки построения специальных эвристик. Как правило, эти параметры, включающие семантический компонент — словообразовательный, синтагматический (свободная и связанная сочетаемость), ассоциативный, диглостроноведческий, терминологический, параметр словоизменения (склонения, спряжения, степеней сравнения, наклонения) и другие, и потому как бы подразумевающие присутствие человеческого фактора» [10, с. 137].

ЛИТЕРАТУРА

1. *Денисов П. Н.* Лексика русского языка и принципы ее описания. М., 1980.
2. *Цвет Л. Я.* К вопросу о проблематике и основных исходных категориях исследований лексико-семантических групп. Симферополь, 1978. Деш. в ИНИОН АН СССР. 22.08.78. Р. № 2538.
3. *Канделаки Т. Л.* К вопросу о номенклатурных наименованиях // Вопросы разработки научно-технической терминологии. Рига, 1973.
4. *Ахманова О. С.* Словарь лингвистических терминов. М., 1966. С. 13.
5. *Канделаки Т. Л.* Значения терминов и системы значений научно-технических терминологий // Проблемы языка науки и техники. М., 1970.
6. *Медникова Э. М.* Некоторые особенности английской гиперлексемы // Актуальные проблемы лексикологии и лексикографии. Пермь, 1972. С. 337.
7. Как работать над терминологией. Основы и методы. М., 1968. С. 20.
8. *Щур Г. С.* Теория поля в лингвистике. М., 1974. С. 234.
9. *Канделаки Т. Л.* Роль терминологических словарей систематического типа в процессе изучения основ наук студентами-иностранцами // Проблемы учебной лексикографии. М., 1977.
10. *Караулов Ю. Н.* Лингвистическое конструирование и тезаурус литературного языка. М., 1981.

НИТИНЬ Д. П.

МЕСТОИМЕННИЯ В СИСТЕМЕ ЧАСТЕЙ РЕЧИ ЛАТЫШСКОГО ЯЗЫКА

Эта небольшая в количественном отношении группа словесных знаков по традиции называется местоимением; она относится к универсальной и наиболее употребительной части лексики [1, с. 33; 2, с. 61; 3, с. 449; 4, с. 3]. Классические местоимения по своему категориальному значению, по признакам словообразования, по системе словоизменения и синтаксическому использованию являются весьма своеобразными и взаимно отличающимися словами. Этим объясняется устойчивый интерес языковедов к данной категории слов и одновременно весьма различное, порой крайне противоположное их толкование.

Как попытку преодолеть традиционную точку зрения следует считать отрицание у местоимений статуса единой группы слов, или особой части речи и отнесение их к другим частям речи: местоименным существительным, предметно-личным местоимениям, местоимениям-существительным — местоименно-указательным именам прилагательным, или же местоименным прилагательным [5, с. 69; 6, с. 40, 167—169; 7, с. 531—545; 2, с. 29; 8, 9]. Подобный подход согласуется с традиционным в том, что классические местоимения рассматриваются в рамках однозначных слов, или номинативных знаков, причем уже в традиционной грамматике отмечается, что согласно своим лексико-грамматическим признакам местоимения или приравняются к именам существительным, прилагательным и числительным, или уподобляются союзам, наречиям и частицам.

Как в традиционном, так и в современном теоретическом языкознании местоимения выделяются в отдельную категорию, хотя и по качественным и по количественным характеристикам данный разряд слов весьма разнороден. Таким образом, местоимения, во-первых, относятся к классу дейктических знаков, которые противопоставляются лексически полноточным словам, или номинативным знакам (подклассу имен существительных, прилагательных, глагольных лексем, количественным знакам и др.), и тем самым лишаются номинативной значимости [10, с. 113, 164; 3, с. 446—449]. Во-вторых, осуществляется расширение рамок категории местоименных слов, ибо к ним относят словесные знаки временного и пространственного дейксиса, или местоименные наречия, указательные частицы и другие периферийные группы [10, с. 83; 3, с. 435; 11, с. 93; 2, с. 31—33]. При подобном рассмотрении статус категории местоименных слов, или дейктических категорий, обслуживающих сферу актуальной речи, в аспекте учения о частях речи носит проблемный, порой неоднозначный характер, хотя и значение этого класса в системе подчеркивается [1, с. 15; 3, с. 449].

Латышское языкознание придерживается точки зрения, признающей наличие отдельной самостоятельной части речи — местоимения [12,

13; 14, с. 637—721; 15, с. 500—542; 16, с. 504—550; 17; 2, с. 30]. Действительно, распределение латышских классических местоимений по их признакам по другим частям речи не представляется целесообразным. Местоимения имеют функции имен существительных или прилагательных, однако они также отличаются от данных разрядов слов по своему категориальному значению, морфологической структуре, особенностям словообразования и словоизменения.

Имена существительные и прилагательные могут обозначать как конкретные предметы и признаки, так и отвлеченные понятия. Местоимения же, как правило, — слова, не имеющие предметного коррелята в объективной действительности, и тем самым, как отметил акад. В. В. Виноградов, «в них отсутствует номинативное отношение к постоянным предметам, качествам...» [6, с. 260]. Лексически полнозначных слов, обладающих предметным значением, т. е. имеющих физическую природу означаемого, и полной семантической структурой, не так уж много [3, с. 446; 18, с. 166].

Лица, предметы, явления, признаки, действия манифестируются в бесконечном количестве разнородных отношений, и слова должны дать наименование не только предметам, лицам, но и их свойствам и взаимоотношениям. В них создаются наименования отвлеченных абстрактных понятий, выявленных по признаку занимаемого положения к определенной точке отсчета, по признаку взаимоотношений и выполняемых функций, ср.: *cilvēks* «человек» — *skolotājs* «учитель», *zinātnieks* «ученый», *direktors* «директор» и т. п.

Можно согласиться с положением, что функциональная номинация, представляющая собой отождествление лиц и предметов по функциональному критерию, сходна с реляционной семантикой, т. е. с значением, в состав которого входит компонент «отношение» [1, с. 207—212], ср.: *es* «я» — *runātājs* «оратор», *skatītājs* «зритель». Синтез обоих типов отношений — реляционного и функционального, думается, выявляется в местоимениях, выполняющих одновременно и классифицирующую функцию. Например, субстантивные местоимения по существу являются знаками передачи отношений, знаками осознания себя в сфере взаимных связей с другими лицами и предметами: *es* «я», *tu* «ты», *mūsu fakultāte* «наш факультет» и т. п.

Изучаемый фрагмент действительности (лица, предметы, действия, признаки) в мыслях — в познавательно-обобщающем (гносеологическом) процессе — распределяется по универсальному принципу «новое, неизвестное» — «уже известное», «все имеющиеся» — «часть из имеющихся или упомянутых, известных предметов или признаков», а также в зависимости от размещения в пространстве и времени по отношению к месту и моменту акта познания или коммуникации и наделяется названиями в высшей мере обобщенных признаков и понятий типа *tas* «тот», *šis* «этот», *cits* «другой», *kāds* «кто-то», *minētais* «упомянутый», *iepriekšējais* «предшествующий». Находящиеся в поле зрения предметы, действия выявляются и рассматриваются через призму их отношений к познающему (коммуникативному) лицу, к сообщаемой им информации, упомянутым предметам, явлениям, к данному месту и времени, т. е. реализуется координация действительности или дается координационная иерархия относительно данной точки отсчета.

При помощи определенных слов, которые являются как бы вторичными знаками, выражающими более обобщающее содержание в другой степени абстракции и заодно заключающими в себе дополнительную ин-

формацию о локальных, посессивных и прочих отношениях, передается понятие уже упомянутого, известного объекта (лица, предмета, явления): *zradās mākonī, tie apmāsa sauli* «появились облака, они заслонили солнце». Конкретные явления, признаки, предметы как бы кодируются вторично согласно их отношению к избранной точке отсчета и месту в системе познания и общения и передаются словами-обобщителями, указывающими на соответствующие понятия. Например, адъективные местоимения выражают такие абстрактные понятия, как принадлежность к определенному лицу или субъекту вообще, связь с субъектом, указывают на то, что признак является таким же, как свойства уже известных предметов, или же представляется неопределенным, неизвестным: *tādi cilvēki* «такие люди», *kāds cilvēks* «какой-то человек».

При помощи местоимений можно сообщать об объектах, лицах, предметах и явлениях, которые до сих пор не упоминались и не находились в центре внимания: *citi cilvēki* «другие люди». Посредством местоимений в языке дается обобщенное название любому целому, совокупному или также обобщенному отдельному в сфере определенной совокупности: *viss apnicis* «всё надоело», *katram ir savs pienākums* «каждый (любой, всякий) имеет свой долг».

Таким образом, на уровне языка назначением класса местоимений является наименование предметов мыслей. Местоимения — это словесные знаки, понятийная соотносительность которых превалирует над предметной, поэтому они служат названиями общих понятий и их можно считать в высшей степени обобщенными словами [19, с. 132; 10, с. 84; 4, с. 18]. В языкознании местоимения причисляются к действительным словам, однако с этим трудно согласиться, если под последними подразумеваются словесные знаки, не имеющие своего собственного предметно-логического содержания [3, с. 435—449; 18, с. 166, 177]. Местоимения, как правило, заключают в себе некое новое сообщение и имеют своей сигнификацией определенные понятия, т. е. они отличаются сигнификативным типом значения [10, с. 175].

В речи реализуется соотношение местоимений с референтами конкретной предметной ситуации, т. е. происходит конкретизация их семантики. Контекст и ситуация безусловно имеют большое значение при актуализации и раскрытии значения функциональных наименований и слов обобщенного содержания. Поэтому в принципе можно согласиться с Е. Курпловичем в том, что такие слова, как *я*, *ты* и т. п., получают свое полное содержание только в отношении к внешней ситуации, в контексте [20, с. 239]. Однако к этому хочется добавить — не полное, а индивидуальное (актуальное) содержание, причем последнее является характерной чертой не только местоимений, но и функциональных наименований и многих других слов, ср.: *es — tas, kurš runā* «я — тот, кто говорит», *draugs* «друг», *skatītājs* «зритель» и т. п.

При помощи местоимений в рамках их обобщенного (виртуального) значения не только выделяется предмет и привлекается к нему внимание, но и дополнительно характеризуется какой-то определенный аспект референта, т. е. факты, явления, предметы и лица выявляются и дифференцируются относительно координат речевого акта [10, с. 166; 3, с. 449; 2, с. 62]. Будучи словами-понятиями, местоимения используются для формирования мысли и высказываний, служат средством организации и упорядочения речевого акта [10, с. 88, 166; 1, с. 49]. В определенных контекстах, когда преобладает действительское начало местоимений, они имеют функцию связующих элементов текста и выступают в роли внутрисструк-

турного и анафорического дейксиса [4, с. 120, 195; 18, с. 182: *Zēns gāja pa ceļu. Viņš (→ zēns) kliboja* «Мальчик шел по дороге. Он (→ мальчик) хромал». Местоимения дают возможность экономно выражать мысли, избегать повторений, причем, оказываясь избыточными в плане своего сигнификативного значения, они могут выступать в роли частиц и быть средством организации ритмического потока речи [2, с. 62; 4, с. 23]: *uzvilkt (savu) mēteļi* «надеть (свое) пальто», *savs labums* «своя, определенная польза».

Е. Курилович полагал, что отличаясь только в одном отношении — лексическим содержанием, с синтаксической точки зрения местоимение уподобляется существительному, прилагательному или наречию, как только перестает быть лишь сопровождением некоторого жеста [20, с. 66—67]. От данных разрядов слов местоимения, однако, отличаются не только своеобразием своей лексической природы, т. е. спецификой номинации, но и морфологической структурой, особенностями словоизменения и синтаксического использования, ибо «очень часто местоимения характеризуются функциональными и формальными аномалиями» [11, с. 92]. Среди местоимений выявляются такие, которые отличаются отсутствием категорий рода, числа, имеют свой тип склонения, в частности супплетивное образование форм [2, с. 34, 191], ср. лтш. *es* «я», *manis* «меня», *mēs* «мы», *sevis* «себя», *šis* «этот», *kas* «кто, что» и др.

Латышские местоимения, как правило, являются корневыми словами, и только местоименный корень иногда заканчивается на краткий гласный, т. е. состоит из сочетания какого-либо согласного с кратким гласным [15, с. 502], которое в ходе исторического развития могло слиться с окончанием, вследствие чего морфологическую структуру местоимений в современном языке порой однозначно определить нельзя: *tas* «тот», *tā* «того», *tam* «тому», *to* «тот, того», *tie* «те» и т. п. Местоимения, которые употребляются и изменяются по образцу имен прилагательных (*mans(-a)* «мой(-я)», *tavs(-a)* «твой(-я)», *savs(-a)*, «свой(-я)», *tāds(-a)* «такой(-ая)» и др.), в отличие от литовских образований типа *manasis*, *tavasis*, *savasis* [14, с. 664; 16, с. 521; 21, с. 545], не имеют таких характерных для латышских прилагательных черт, как определенные окончания, способные передавать противопоставление определенности и неопределенности, а также формы степеней сравнения.

От имен существительных и прилагательных латышские местоимения отличаются также непродуктивностью словообразования, поскольку для них в целом не свойственно создание новых слов при помощи суффиксов и префиксов, а также сложением основ; исключение составляют лишь образования типа *nekas* «ничто», *neviens* «никто», «ни один», *ikviens*, *ikkatrs* «всякий, любой, каждый», *jebkas* «что бы то ни было». Большие суффиксальных и сложных образований обнаруживается в литовском языке, что объясняется как некоторыми структурными особенностями, например, наличием словоформ *tu du* «мы (двое), мы оба» и т. п., так и традицией грамматик литовского языка по выявлению разряда местоимений [21, с. 543; 14, с. 637—721].

Исторически местоимения использовались при образовании личных и возвратных форм глаголов и определенных окончаний имени прилагательного [16, с. 703—715, 903—916, 466—477; 2, с. 210]. Характерной чертой системы местоимений является их сочетание в целях усиления или уточнения выражаемого содержания (отношения): *tas pats* «тот же самый», *šāds tāds* «кое-какой», *kurs katrs* «любой, каждый» и т. п.

Значение местоимений, как правило, могут усиливать или уточнять

лишь следующие за ними местоимения, имена числительные или прилагательные (последние в особенности за словами *kas, kaut kas* «что-то, что-либо, кое-кто»): *mēs abi* «мы оба», *viņi visi* «они все», *mēs citi* букв. «мы другие», *mēs divi ejam pa ceļu* «мы вдвоем (букв. «два») идем по дороге», *kas bāls* «что-то белое». В подобных случаях постпозитивный компонент приобретает качество определения, хотя образует с предыдущим местоимением распространенный член предложения. Таким образом, местоимение может выступать в роли определяемого, допуская при себе наличие своеобразного модификатора, и является тем самым номинативной единицей.

Субстантивные местоимения в отличие от существительных не имеют при себе определения, выраженного предшествующим прилагательным. Однако в тех случаях, когда необходимо подчеркнуть тот или иной стилистический оттенок или создать ритмичность языкового потока, имена числительные и местоимения иногда занимают в качестве определения также препозитивное положение по отношению к последующему местоимению, например: *viens es klistu pa pasauli* «я один (букв. «один я», ср.: *один я был против*) брожу по свету».

Как и союзы, местоимения могут быть средством выражения подчинительной связи придаточного предложения, но, будучи союзными словами, они изменяются по форме, выполняя при этом функции членов предложения. Подобно частицам, латышские местоимения могут усиливать и нюансировать значение имен существительных и прилагательных, зачастую образуя вместе с ними единый член предложения. Однако от частиц местоимения также отличаются изменяемостью формы: *ierasties pašā laikā* «явиться в самый раз», *patī labākā* «самая лучшая».

По своим лексико-грамматическим признакам латышские местоимения имеют сходство с именами существительными, прилагательными, числительными, как и с союзами и частицами, но им присущи отличительные черты. Не сливаясь с упомянутыми частями речи, они приобретают, таким образом, статус отдельного класса языковых единиц. Местоимения — это группа своеобразных слов, которую следует признать самостоятельной частью речи, ибо в качестве ее объединяющего и выделяющего начала выступают как особенности их категориального значения (своеобразие номинации), морфологической структуры, словообразования и словозменения, так и специфика в плане синтаксического использования.

Определение всего класса местоимений как заменителей или заместителей имени, от которого русское языкознание отказалось еще в начале XIX в. [6, с. 256—257], и сейчас еще встречается не только в школьных грамматиках [22], но и в теоретической литературе. В лингвистических трудах отмечается, в частности, возможность замены слова на личные местоимения [23, с. 82, 88] или указывается на то, что местоимение выступает заместителем той или иной полнозначной единицы [4, с. 5; 10, с. 74], например, заменяет существительное или прилагательное [18, с. 182; 11, с. 90], при этом используются обозначения: субституты [24; 4, с. 21], знаки-заместители с импликацией лица, предмета, места, времени, (слова-) заместители — проverbs, прономinals, проадъективы, проадвербы [3, с. 435, 446; 4, с. 8]. Заменять знаменательные слова в определенных контекстах могут, однако, лишь некоторые местоимения, ср.: *Zēns iet uz skolu. Viņš nav sagatavojis mājas uzdevumus* «Мальчик идет в школу. Он не подготовил домашние задания». Трудно представить себе, какие имена заменяют, например, местоимения: *es* «я», *tu* «ты», *mans* «мой», *tavs* «твой», *savs* «свой», *visš* «весь», *cits* «другой», *dažs* «некоторый» и др.

Традиционное определение, в соответствии с которым местоимения замещают имена и употребляются вместо них, нашло отражение в самом языковедческом термине: лат. *prōnōmina* — лит. *vietniekvārds* «местоимение». Однако, во-первых, назначением местоимений является не их употребление вместо имени, а выражение отвлеченных понятий, появление которых обусловлено взаимными отношениями лиц, предметов и действий, их признаками, способом и степенью выявления, положением в пространстве и времени, причем одновременно местоимения функционируют в качестве опознавательных знаков в рамках уже имеющейся информации, т. е. определенного контекста.

Во-вторых, сущность знаковой репрезентации вообще, как известно, состоит в замещении и обобщении вещей, ибо «основной онтологической чертой любого знака является функция представления, замещения им другого предмета» ([19, с. 107]; ср. также [25; 10, с. 20]). Поэтому термины типа «знаки-заместители», «местоименные слова», «местоимение» раскрывают характер соответствующих словесных знаков в известной мере односторонне, и их трудно признать удачными.

Как известно, любая отрасль науки, которая не стоит на месте, а развивается, должна время от времени обновлять или пересматривать свою терминологию; ср. [11, с. 393]. Не является исключением и языковедение. Например, относительно традиционных местоимений и прочих местоименных слов лингвисты рекомендуют обозначения: указательные слова, демонстративы [4, с. 115], слова-указатели [4, с. 195], дейктические слова [3, с. 449] и др.

В данной статье предпринята попытка пользоваться термином «обобщители», или «слова-обобщители», поскольку «слова-указатели», «дейктические слова» (дейкисмы), как правило, не имеют сигнификативного содержания как отражения действительности, т. е. познавательной функции обобщения.

В латышских грамматиках традиционные местоимения разделяются на 6—9 (в академической грамматике даже на 10) подгрупп, или семантических разрядов: личные, возвратное, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, вопросительные, определенные (в академической грамматике им соответствуют два разряда — *vispārīnāmie* «обобщаемые» и *noteicošais* «определятельное») и отрицательные местоимения. Однако данная детальная классификация мало оправдана, ибо она не отражает все лексико-семантические и синтаксические варианты, например, при рассмотрении определенных (определятельных), неопределенных, вопросительных, относительных и др. местоимений.

При классификации обобщителей целесообразно учитывать не различные, а общие признаки, на основе которых можно объединять отдельные разряды местоимений, одновременно упрощая схему деления. Номинативная функция обобщителей выявляется в обозначении лица, в осознании и выражении определенности и неопределенности, поэтому соответствующие отвлеченные понятия являются как бы ядром образования лексико-семантической системы классических местоимений, или обобщителей. При этом в любой группе, в зависимости от конкретного употребления отдельных слов, т. е. их синтаксического использования, можно выделить субстантивные и адъективные обобщители.

Использование обобщителей — это один из способов выражения категории лица, категории определенности—неопределенности. Этот способ заключается в использовании словесных знаков той или иной семантики. Таким образом, обобщители как определенная группа слов, т. е. часть

речи, являются лексическим способом выражения названных категорий в отличие от грамматических способов (личные формы глагола, противопоставление прилагательных с определенными и неопределенными окончаниями и т. д.).

Личные субстантивные обобщители указывают на осознание, вычленение из окружающей действительности и выражение самого себя и на связь с другими лицами (*es* «я» — *mēs* «мы»), передают распределение отдельных лиц соответственно отношениям «я» (*ego*) и «не-я» (в чем заключены определенный философский смысл и понимание данных знаков как самого универсального класса местоименных слов [4, с. 24]): *es* «я» — *tu* «ты», *jūs* «вы», *viņš* «он», *viņa* «она».

Указание на лицо содержат не только личные обобщители (классические местоимения), но и личные формы глаголов, их окончания. При отсутствии различий в окончаниях глагольных форм личные обобщители используются для выражения грамматического значения категории лица, например: *es* (*tu*, *viņš*, *viņa*, *mēs*, *jūs*, *viņi*, *viņas*) *brauktu* «я (ты, он, она) ехал(а) бы, мы (вы, они) ехали бы»; см. [6, с. 360—370]. Если финитные формы глагола сохранили различие окончаний, то личные обобщители или вообще не употребляются (например, в повелительном наклонении: *lasī* (*lasiet*) *ātrāk*: «читай (читайте) быстрее!»), или их употребление может стать необязательным и порой даже нежелательным (например, в изъявительном наклонении: *Vakaros labprāt lasu grāmatas* «По вечерам охотно читаю книги»).

Личный субстантивный обобщитель *pats* «сам» выражает понятие лица или индивидуума вообще, указывает на главное лицо: *kas otram bedri rok, pats iekrīt* «не рой другому яму, сам в нее попадешь». Первичное конкретное значение слова *pats* «хозяин; муж», *pati* «хозяйка; жена» (ср.: литов. *pats* «муж», *pati* «жена»; прусск. *waispattin* «жену»; санскр. *pāti* — «господин» [16, с. 540; 21, с. 551; 14, с. 536]) встречается преимущественно в разговорной речи: *vai pats mājās?* «сам дома?». В результате дальнейшей абстракции слово *pats* «самый, же» стало показателем самостоятельности, усилителем других обобщителей, выражающих значение лица или определенности: *es pats* «я сам», *tas pats cilvēks* «тот же самый человек».

Обобщитель *sevis* «себя» указывает на идентичность объекта с субъектом или передает то, что действие обращено к субъекту, например: *viņš neaizmirst sevi* «он не забывает себя, о себе». Данное свойство обобщителей, благодаря которому можно обозначать идентичность субъекта и объекта и сфокусировать действия в сфере субъекта, исторически использовано при образовании возвратных форм глагола, которые в латышском и литовском языках возникли путем присоединения к невозвратным глаголам прономинальной словоформы *si* < **sie* < **sei* или прусск. *si* < **sē* [16, с. 903—916; 21, с. 585—586; 15, с. 554; 6, с. 494—501].

Слова, которые указывают на признак принадлежности или связи по отношению к определенному лицу, следует признать личными адъективными обобщителями: *mans* (-a) «мой(-я)», *tavs* (-a) «твой(-я)» (системные связи между посессивом и личным местоимением отмечает, например, Е. М. Вольф [4, с. 58]). Названные слова, имеющие в отличие от литовских *mano*, *tavo*, полную парадигму склоняемых форм, обозначают отношение принадлежности к 1-му и 2-му лицу ед. числа. Принадлежность 3-му лицу и всем лицам мн. числа в латышском и литовском языках передают неизменяемые формы род. падежа личных субстантивных обобщителей (ср. использование генитива принадлежности имен существительных в латышском языке: *tēva grāmata* «книга отца» — *es paņemu viņa grāmatu*

«я взяла его книгу» [14, с. 673; 2, с. 38]. К личным адъективным обобщителям относится также слово *savs(-a)* «свой(-я)» [в литовском соответственно *savo, savas(-a)*], которое указывает на принадлежность чего-либо деятелю, действующему или какому-то другому лицу, а также передает связь с ним вообще: *paņemt savu grāmatu* «взять свою книгу».

Согласно традиции, в латышском языке к притяжательным местоимениям причисляются образования с суф. *-ēj-* (об их возникновении и употреблении см. [16, с. 280—281; 15, с. 512]) типа *mans — manējs(-a), manējais(-ā), manējie* «моя, моя, мои (родные)». Подобные образования, которые имеют как неопределенные, так чаще всего и определенные окончания и отличаются менее отвлеченным характером значения, больше схожи с именами прилагательными, чем с обобщителями, или классическими местоимениями. В определенных контекстах разговорной речи данный тип слов с суф. *-ēj-* приобретает качества имени существительного: *aiziet pie savējiem* «сходить к своим (родным)».

Латышские слова типа *mūsējie* «наши(родные)», видимо, целесообразно отнести к именам прилагательным или к субстантивированным словам, тем более что другие осложненные суффиксами образования, например, *cītāds* «иной», *visāds* «всякий», *dažāds* «разный», в латышском языкознании считаются прилагательными [16, с. 391; 15, с. 236]. Более последовательный подход у литовских языковедов, которые такие образования, как литов. *maniškis, maniškiai* «мой, мои (родные)», *kitoks* «иной», *visoks* «всякий», *keletas* «несколько» и т. п., не распределяют по разным частям речи, хотя число так называемых традиционных местоимений увеличивается: если в латышском языке рассматриваются около 70 местоименных слов и их сочетаний, то в грамматике литовского языка их насчитывается более ста единиц [15, с. 500—542; 14, с. 637—721].

К числу определенных (определятельных) субстантивных обобщителей в латышском языке в первую очередь относится слово *tas* «это, он», при помощи которого в любом случае можно указать, что речь все еще идет об уже упомянутых явлениях, о предметах, которые контекстуально или ситуативно известны: *tas man nepatīk* «это мне не нравится». Местоименное постпозитивное **-jo-* в балтийских, славянских и других палеоевропейских языках исторически использовалось при образовании системы определенных форм имени прилагательного [16, с. 466—477; 26: 21, с. 533—535; 15, с. 429; 23, с. 59—62].

Значение определенности выражают субстантивные обобщители, которые обозначают совокупное как неделимое целое (*vis* «все», *nekas* «ничто», *neviens* «никто») или отвлеченное отдельное (частное) в рамках совокупности определенных явлений, лиц, предметов и признаков: *ikviens, (ik)katrs* «каждый, всякий, любой», *jebkas* «что бы то ни было», *jebkurš* «любой, всякий», например: *vis ir labi* «все хорошо», *katrs to saprot* «это понимает каждый».

Определенные адъективные обобщители характеризуют расположение уже известных лиц и предметов в пространстве и времени, указывают на признак их более близкого или отдаленного расположения (*šis koks ir bērzs, bet tas — egle* «это дерево береза, а то — ель»), выражают присутствие или отсутствие известных признаков: *sadās (tādās) dienās* «в такие дни». В познавательном процессе известное и неизвестное тесно переплетаются, и это выражается в соотношении определенных и неопределенных обобщителей, ибо границы между ними размыты (*tāds* «такой», *nekašs* «никакой» — *kāds* «какой, кто-то, некто, некоторый»).

Латышский обобщитель *viņš* «он», который первоначально функциони-

ровал в качестве показателя определенности и относился к типичным указательным местоимениям, в наше время используется преимущественно в значении личного субстантивного обобщителя, поэтому в аспекте литературной нормы возникло требование употреблять слово *viņš* лишь применительно к живым существам — лицам [16, с. 517; 15, с. 508]. В отличие от него обобщитель *tas* «это, он», будучи показателем определенности, может обозначать любой известный объект (лицо и предмет). Однако выражая отдаленное положение в пространстве и времени, в настоящее время слово *viņš(-a)* в определенных контекстах употребляется также в функции определенного адъективного обобщителя: *viņā krastā* «на том берегу», *viņos laikos* «в те времена».

Адъективные обобщители могут указывать на партитивные отношения, передавая признак полного или частичного проявления чего-либо. Поскольку квантитативные обобщители обозначают как определенные, так и приближительные количественные проявления (*viss* «весь» — *neviens* «никто» — *dažs* «некоторый; несколько»), они, по своему существу находясь ближе к определенным, ассоциируются также с неопределенными обобщителями, занимая, таким образом, как бы срединное положение между данными семантическими разрядами.

В балтийском языкознании словоформы *abi*, *abas*, литов. *abu*, *abi* «оба, обе», как правило, считаются именем числительным [16, с. 486; 15, с. 498; 14, с. 613], однако вопрос о том, к какой части речи они относятся, представляется спорным. Поскольку отличительный компонент значения словесных знаков *abi*, *abas* сводится к передаче действия, совершаемого вдвоем, или же относится к предметам, явлениям, число которых известно, т. е. равно двум, то данные формы, используемые как в адъективном, так и в субстантивном значениях, думается, следует причислить к определенным квантитативным обобщителям: *pa ceļu gāja divi zēni* — *abi soļoja klusēdami* «по дороге шли два мальчика — оба шли молча». Слово *abi* «оба», будучи выразителем отвлеченного понятия, является вторичным опознавательным знаком, ибо без предыдущего указания на точное количественное проявление предметов или знания того, что задействовано именно два лица, нельзя сказать *pa ceļu gāja abi zēni* «по дороге шли оба мальчика».

Обширную группу в латышском языке образуют неопределенные адъективные обобщители. При субстантивном употреблении они передают такое отвлеченное понятие, как что-то неизвестное (*kas*, *kaut kas* «кое-что, что-либо, нечто», *kurš* «который, кто, что», *kāds*, *viens* «кто-то, нечто, один») или не принадлежащее к уже названным объектам (*cits* «другой»), обозначают неопределенную совокупность нескольких лиц или предметов: *dažs labs*, *viens otrs* «кое-кто, иной, иные, некоторые». Значение неопределенных обобщителей порой уточняется постпозитивным определением (выраженным именем прилагательным или причастием), которое в неопределенности как таковой выделяет какое-то направление или определенную более узкую сферу действия, распространения, например: *pažibēja kaut kas pelēks* «мелькнуло кое-что серое». Неопределенные адъективные обобщители указывают на то, что признак является неизвестным, неопределенным или отличным по сравнению с чем-либо другим: *vienu (kādu) dienu viņš saņēma citu izdevumu* «в один (какой-то) прекрасный день он получил другое издание».

Неопределенные обобщители, если к ним присоединяется отрицательная приставка *ne-* «не-, ни-», в какой-то мере теряют значение неопределенности, превращаясь даже в показатели известной определенности:

kas «кто, что, кое-кто» — *nekas* «ничто», *kāds* «какой» — *nekāds* «никакой», *viens* «один, кто-либо» — *neviens* «никто, ни один»; ср.: *tev kas (nekas) nepatīk* «тебе кое-что (ничего) не нравится». Своеобразное противопоставление неопределенности и определенности, которое отражает как бы переход из одного состояния в другое, заключено в придаточном и главном предложениях путем сопоставления *kas* «кто, что, который» — *tas* «тот». Например: *Kas ziemei vēro vienīgi no Rīgas ielām... tas nevar ne iedomāties, cik skaisti šogad apklāti ar sniega segu lauki* (J. Jaunsudrabiņš. *Si ziema*) «Кто видит зиму только на улицах Риги, тот не может себе представить, до чего красиво в этом году были покрыты снегом поля».

Слова *kas* «кто, что», *kurš* «который», *kāds* «какой», обозначая соответствующие отвлеченные понятия придаточного предложения в их контекстуальной связи с главным, приобретают статус союзных слов, или союзных обобщителей, причем по отношению к главному предложению они теряют свой характер выразителя неопределенности. В такой функции слова *kas*, *kurš*, *kāds* имеют как бы признаки двух частей речи. Будучи союзными словами, они все же еще не утратили морфологически-синтаксический характер обобщителей — изменяемость формы и функционирование в качестве членов предложения. Ряд союзов исторически возник из традиционных местоимений, по-видимому, в результате того, что последние постепенно утратили свое обычное лексическое значение, изменяемость формы и способность быть членом предложения: *kas* — *ka* «что», *kā* «как»; *jis* «он, тот» — *ja* «если», *jo* «ибо, потому что, так как» и др. [21, с. 616; 15, с. 749].

Как и наречия обобщенного значения *kur* «где», *kad* «когда», *kāpēc* «почему», частица *vai* «ли, разве» и др. слова, обобщители *kas*, *kurš*, *kāds* могут выступать в качестве вопросительного слова в начале предложения. В данной функции они полностью сохраняют свой характер неопределенных обобщителей, ибо именно с них начинается вопрос о чем-либо неясном — о неизвестных лицах и предметах, неопределенных, неясных признаках, например: *Kāds rīt būs laiks?* «Какая завтра будет погода?» Поэтому нет особой необходимости выделять отдельную подгруппу вопросительных местоимений, или обобщителей, ср.: *Kas tur noticis?* «Что там произошло?» *Tur būs kas noticis* «Там что-то произошло». В аспекте образования вопросительных предложений следует говорить о вводных словах как категории вопросительных слов вообще [5, с. 79; 6, с. 38—43; 7, с. 726; 27].

Номинативная функция обобщителей может постепенно угасать, и в связи с этим они начинают в большей или меньшей мере функционировать в качестве формальных слов-усилителей, носителей усиительно-выделительного значения. В такой функции обобщители нюансируют значение имен существительных, прилагательных, а также других обобщителей, образуя с ними обычно распространенный член предложения: *bija pats izbrašs vidus* «была самая середина зимы» и т. п. Именно функция усиления, по-видимому, способствовала употреблению обобщителей при образовании форм превосходной степени имен прилагательных: *visu labākais* — *vislabākais*, *pats labākais*, *tas labākais* «самый хороший, лучше всех». О полной десемантизации обобщителей свидетельствует их переход в частицы, ср.: *pats* «самый» — *pat* «даже, же» [15, с. 779].

В узком смысле этого слова обобщителями являются классические местоимения, исключение составляют лишь несколько омонимов имен числительных и прилагательных (*viens* «один; кто-то, какой-то», *viens otrs* «кое-кто, некоторые». *dažs labs* «кое-кто, иные»), а также *abi* «оба». Такие об

разом, обобщители — это обычно корневые слова, которые выражают отвлеченные понятия лица, определенности и неопределенности и отличаются непродуктивностью в плане словообразования.

В более широком смысле к обобщителям можно причислить также другие слова обобщенного значения, которые передают емкие абстрактные понятия и функционируют в качестве особых опознавательных знаков. Они или сигнализируют о том, что речь идет об известном месте, направлении, определенных предметах и признаках, или же указывают, что в момент коммуникации лицо, предмет, место, время, признак являются неизвестными: *šeit* «здесь», *tur* «там», *cik* «сколько», *attiecīgs* «соответствующий», *zināms* «известный» и т. п. От подлинных обобщителей, или традиционных местоимений, данные слова отличаются преимущественно тем, что их часть является производными или осложненными суффиксами формами (типа *attiecīgs*, *zināms*), а другая часть — неизменяемыми словами: *kur*, *tur*, *šeit* и др.

Таким образом, к обобщителям можно отнести как типичные местоимения, так и другие словесные знаки, которые отличаются соотносительностью с понятиями отвлеченного порядка, сложившимися в процессе познания и выявления лиц, предметов и их отношений в реальной действительности, в том числе в процессе коммуникации. Обобщители имеют черты так называемых полнозначных слов, поскольку они, в частности, носят субстантивный или адъективный характер, по другим признакам — они приближаются к дейктическим знакам [28].

ЛИТЕРАТУРА

1. Аспекты семантических исследований. М., 1980.
2. Майтинская К. Е. Местоимения в языках разных систем. М., 1969.
3. Общее языкознание. Внутренняя структура языка. М., 1972.
4. Вольф Е. М. Грамматика и семантика местоимений (На материале иберо-романских языков). М., 1974.
5. Щерба Л. В. Избранные работы по русскому языку. М., 1957.
6. Виноградов В. В. Русский язык. 2-е изд. М., 1972.
7. Русская грамматика. Т. 1. М., 1982.
8. Потебня А. А. Из записок по русской грамматике. Т. 4—2. М., 1958.
9. Вандриес Ж. Язык. М., 1937.
10. Уфимцева А. А. Типы словесных знаков. М., 1974.
11. Есперсен О. Философия грамматики. М., 1958.
12. Шахматов А. А. Синтаксис русского языка. Вып. 2. Л., 1927.
13. Семереньи О. Введение в сравнительное языкознание. М., 1980. С. 216—226.
14. Lietuvių kalbos gramatika. I t. Vilnius, 1965.
15. Mūsdienu latviešu literārās valodas gramatika. I sēj. Rīga, 1959.
16. Endzelīns J. Latviešu valodas gramatika. Rīga, 1951.
17. Endzelīns J., Mielenbāhs K. Latviešu valodas mācība. 11. izd. Rīga, 1937. 48—50. lpp.
18. Новое в лингвистике. Вып. V. М., 1970.
19. Общее языкознание. Формы существования, функции, история языка. М., 1970.
20. Курилович Е. Очерки по лингвистике. М., 1962.
21. Endzelīns J. Darbu izlase. IV sēj. 2. daļa. Rīga, 1982.
22. Pauliņš O., Rozenbergs J., Viķāns O. Latviešu valodas mācības pamatkurss. Rīga, 1978. 79. lpp.
23. Категория определенности — неопределенности в славянских и балканских языках. М., 1979.
24. Блаужилд Л. Язык. М., 1968. С. 150.
25. Аветян Э. Г. Природа лингвистического знака. Ереван, 1968. С. 53.
26. Endzelīns J. Darbu izlase. III sēj. 2. daļa. Rīga, 1980. 437. lpp.
27. Русская грамматика. Т. 2. М., 1982. С. 387—402.
28. Rosinas A. Lietuvių bendrinės kalbos įvardžių semantinė struktūra. Vilnius, 1984.

ЧЕСНОВА Л. Д.

ПРОЦЕСС СЧЕТА И СПОСОБЫ ЕГО ВЫРАЖЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Представлению количественных отношений в сознании современного человека свойственны два аспекта — статический и динамический.

Статический аспект отражает реальное количество в виде результата счисления, т. е. представляет категорию количества как результат этого процесса. Динамический аспект отражает реальное количество в виде процесса счисления, т. е. представляет категорию количества как сам процесс счисления. Поэтому в языке существуют структуры, которые отражают результат счета (*сорок тетрадей, двадцать человек*), и структуры, отражающие сам процесс счисления (*Одна тетрадь, две, три, четыре...; Тетрадь — раз, книга — два, ручка — три, портфель — четыре*).

Сочетания количественных числительных с существительными обозначают результат счета, который либо уже произведен, либо будет произведен. Сравним два предложения: *Проверено сорок тетрадей* (процесс счета произведен) и *Дайте мне сорок тетрадей* (процесс счета только еще будет произведен, т. к. прежде чем дать сорок тетрадей, их нужно сосчитать).

Специфика мышления современного человека позволяет ему в определенных условиях оперировать количественными характеристиками предметов без предварительного счета. Речь идет обычно о небольших (*В доме три этажа; На руке пять пальцев; В неделе семь дней* и т. п.) или общеизвестных установившихся величинах (*В году 365 дней; В январе 31 день; В часе 60 минут* и т. п.), хотя знания о них — также результат процесса счета, который определенным образом зафиксирован в практике людей и затем уже всякий раз не повторяется. Таким образом, значение сочетаний количественных числительных с существительными является особой мыслительной формой, воплощающей в себе результат процесса счета, итог счета и относящейся к статическому аспекту отражения количественных отношений.

Сочетания порядковых числительных с существительными типа *шестая тетрадь, триста пятьдесят вторая страница* также выражают результат процесса счисления с той, однако, разницей, что количественное числительное дает количественную характеристику всей группе считаемых предметов и не определяет в количественном отношении ни один из предметов данной группы, а порядковое числительное дает количественную характеристику одному, последнему из считаемых предметов с учетом итоговой суммы всех сосчитанных предметов. Исследователи отмечают, что «порядковое числительное называет последний член ряда, но за этим членом выявляется весь ряд» [1], и не только выявляется, но и определяется количественно. Порядковые числительные выполняют две семантические функции: определяют один из считаемых предметов по его порядковому месту при счете и показывают общее количество сосчитан-

ных предметов. Так, выражение *шестая тетрадь* означает, во-первых, что данная тетрадь является шестой в данном количественном ряду и, во-вторых, что группа считаемых предметов (тетрадей) с учетом данной тетради состоит из шести. Как видим, значение сочетания порядковых числительных с существительными тоже является особой мыслительной формой, относящейся к статическому аспекту представления количественных отношений, т. е. изображению этих отношений как результата процесса счета. При этом следует помнить, что «и количественное, и порядковое число отражают объективные свойства дискретного количества» [2].

В лингвистической литературе не получил описания сам процесс счисления, т. е. динамическая сторона категории количества осталась за пределами внимания лингвистов. В своей практической деятельности человек обычно считает какие-то предметы, реже действия или события [3]. Но в определенных условиях он оперирует только количественными понятиями в отвлечении от качественной характеристики вещей и явлений. Таким образом, счет в одних случаях связан с количественно-качественной характеристикой объективной действительности, а в других — только с количественной [4, 5].

«Словарь современного русского литературного языка [6] дает следующее толкование слов *счет* и *считать*: *Считать* — 1) называть числа в последовательном порядке, 2) знать названия и последовательность чисел, уметь производить арифметические действия, 3) производить какие-либо подсчеты, измерения, 4) пользоваться при счислении какими-нибудь единицами измерения или показаниями приборов; *Счет* — действие по знач. глаг. считать (в 1—4 знач.) Примеры к 1, 2 и 3 значениям: ... Проверая слышимость, полусонным голосом считал: — *Один, два, три, четыре, пять* (Казакевич. Сердце друга); *Считай по пальцам: сколько нас? Ты, я, Баратынский, вот и все* (Пушкин. Письмо П. А. Плетневу); ... *Подрезов начал загибать пальцы: сорок первый, сорок второй, сорок третий, сорок четвертый, сорок пятый...* *Четыре года войны да шесть лет после войны... Итого десять лет.* (Ф. Абрамов. Пряслины.). Сопоставляя анализ языковых конструкций и толкование значений слов *счет* и *считать*, можно сделать вывод, что процесс счета в современном русском языке предстает в двух формах: в форме перечисления («Один, два, три, четыре» и т. д. или «Ты, я, Баратынский») и в форме вычисления (*Пять и три — восемь; Четыре года да шесть лет — итого десять лет*).

Предметом рассмотрения в настоящей статье является процесс счета в форме перечисления, так как описание обоих видов счисления не может быть проведено в рамках одной статьи.

Слово *перечисление* может употребляться в двух значениях: во-первых, в значении «вести счет» (осуществлять процесс счета), во-вторых, последовательно называть предметы без их количественной характеристики.

Перечисление как процесс счета (перечисление-счет) отличается от обычного перечисления вне счета прежде всего наличием коммуникативной целевой установки на счет. Человек начинает перечислять с целью сосчитать, он ставит вопрос о количестве и перечислением дает ответ на него. Коммуникативная целевая установка на счет может иметь значение как неопределенного количества (много, мало), так и определенного количества (сколько конкретно). Сравним два примера: — *А воскресенье скоро? ... Через сколько? — Завтра будет пятница, потом суббота, отъезженье* (В. Панова. Сережа); — *Где ребята? — На печке. — Сколько их? — Сынок и дочка* (Н. Дилакторская. Кулики) и

Мелькают мимо будки, бабы, мальчишки, лавки, фонари... (Пушкин. Евгений Онегин). Последний пример — это перечисление вне счета.

В плане содержания процесс счета есть последовательное называние чисел (или количественно определяемых предметов), отличающихся друг от друга определенной величиной, сопровождающееся действием сложения, а при обратном счете действием вычитания этой величины.

Так, если ведется счет типа *один, два, три, четыре, пять* и т. д., то современный грамотный человек не производит всякий раз действия сложения каждой предыдущей величины с единицей, чтобы получить величину последующую, процесс счета как бы упрощается, действие сложения (или вычитания при обратном счете) не производится. Однако в процессе обучения счету действие сложения производится всякий раз: — *Считать умеешь? — Даже в два раза больше, чем до десяти. Один да один — два, еще один получится три, еще один — четыре...* (Р. Хайнлайн. Пасынки вселенной), из этого можно сделать вывод, что счет-перечисление имплицитно содержит счет-вычисление.

Последовательное перечисление количественных величин в итоге создает ряд, который можно назвать **счетным рядом**. Счетный ряд состоит из компонентов, называемых нами **компонентами счетного ряда**. Некоторое определенное множество, которое последовательно прибавляется к каждому компоненту счетного ряда (либо вычитается из каждого компонента счетного ряда) для того, чтобы получить следующий компонент этого же ряда, можно назвать **счетной величиной** счетного ряда.

Следовательно, для того, чтобы дать описание процесса счета и способов его выражения в русском языке, следует описать 1) структуру и способы выражения самого счетного ряда, 2) компоненты счетного ряда и 3) счетную величину счетного ряда.

Анализ языкового материала показал, что особенности счетного ряда, структура компонентов счетного ряда, семантика счетной величины счетного ряда зависят от характера счета и прежде всего от того, что считается, а также от того, одинаковые (сходные) или различные предметы подвергаются счету. При этом следует сделать оговорку, что понятия «одинаковые предметы» и «разные, неодинаковые предметы» весьма относительны, ибо и одинаковые предметы чем-то отличаются друг от друга, и в то же время неодинаковые, различные предметы имеют нечто общее (хотя бы уже то, что все они предметы). «Категория различия находится в неразрывном единстве с категорией тождества» [7]. И если говорящий хочет подчеркнуть сходство предметов, он называет их одним, единым именем, выделяя их общие признаки, если же говорящий стремится отметить их различие, он называет предметы разными именами, отражающими разные признаки. Например, при счете месяцев они могут быть представлены как однотипные, одинаковые предметы, поскольку все они месяцы, в этом случае используется существительное «месяц». Но, с другой стороны, они могут быть представлены как различные предметы, так как каждый из них имеет свои особенности по отношению к временам года: холодные, теплые, весенние, летние и т. п. В этом случае используются разные имена для их наименования — январь, февраль, март и т. п. В зависимости от того, каким образом они выступают в сознании говорящего — как одинаковые или как разные, счет их проводится по-разному: *Прошел месяц, два, три — никаких вестей* (Ф. Абрамов. Пряслины) и *Прошел январь, февраль, март... три месяца — никаких вестей*. В первом случае называются числительные (числа), во втором — имена существительные (названия

считаемых предметов). Считаться могут «чистые» числа (счисление в этом случае имеет наиболее отвлеченный характер), считаются могут предметы, действия и события реального мира, и в каждом случае процесс счета имеет свои особенности.

Счетный ряд. Структура счетного ряда зависит от характера счета. Счетный ряд счета-перечисления представляет собой незамкнутый ряд, построенный по типу сочиненного ряда с однородными членами. Если счетный ряд содержит последовательный ряд чисел, то перестановка компонентов счетного ряда невозможна. Невозможность перестановки компонентов счетного ряда обуславливается самым процессом счета с использованием чисел, при котором каждая последующая величина больше предыдущей на определенную величину, и, следовательно, числа должны называться в определенной последовательности: — *Раз, два, три, четыре!* — *громко считал кто-то* (К. Преображенский. Карата начинается с поклонов); *Сколько же останется пациентов? Англичан двое, майор — три, потом четыре, пять, шесть. Шесть человек!* (К. Федин. Санаторий Арктур).

Если счет-перечисление представляет собой счисление разных предметов и при этом не используется последовательный ряд чисел (общее количество дается как итог счета и выражается в заключение количественно-именным сочетанием), то счетный ряд имеет свободный порядок расположения компонентов, и, следовательно, возможна их перестановка: *Вчера он определенно перебрал. Сто пятьдесят «слабых» за обедом, чепушка с Осей-агентом, затем «пенсионная» бутылка с довесом у Петра Житова, потом они еще с Анной Яковлевной, чтобы не замечнуть на повети, раздавали маленькую — сколько это будет?* (Ф. Абрамов. Пряслины).

Синтаксическая структура счетного ряда имеет широкий диапазон: она может представлять собой сочиненный ряд однородных членов в структуре простого предложения; счетный ряд может быть представлен структурой сложного предложения, союзного или бессоюзного, и, наконец, структурой сложного синтаксического целого, представляющего собой ряд самостоятельных предложений, объединенных идеей счета: — *...Раз, два, три, четыре, пять... пять ящиков — простое предложение с однородностью главного члена; ...И загибая пальцы на руке, с гордостью перечислял своих отпрысков: Макса-косой — раз, Яшка-бурлак — два... Ефимко-солдат — четыре, Машка-глухия — пять, Матреха-невеста — шесть, Оля, отцово дитяшко — семь...* (Ф. Абрамов. Присяжину) — бессоюзное сложное предложение, в котором числительные, выражающие количество в процессе счета, являются сказуемыми в простых предложениях, а существительные, называющие предметы счета, — подлежащими в этих предложениях. Счетный ряд в структуре сложного синтаксического целого может быть проиллюстрирован примером: — *Много же вас было? — А вот считай: Мать! Она тогда молодая была, всего ей тридцать годов исполнилось, рано замуж вышла. Потом я. Мне двенадцать было. Потом два брата, девять и семь лет. И еще овчонки две — одной пять, другой два годика* (Ю. Козаков. Долгие крики).

Несмотря на то, что счетный ряд может быть представлен в синтаксических структурах разного типа, по своей синтаксической семантике и форме он в любом случае остается подобным незамкнутому сочиненному ряду с однородными компонентами. Идея сочинения проявляется в неподчиненности компонентов счетного ряда друг другу при одновременном их участии в перечислении. Компоненты счетного ряда связаны друг с другом интонацией перечисления (в каких бы структурах они ни находились)

и могут быть соединены формальными средствами сочинительной связи. соединительными союзами, соединительными частицами-союзами (потом, затем, еще).

Компоненты счетного ряда. Структура компонентов счетного ряда зависит от характера счета и прежде всего от того, что считается.

Если счет представляет собой счисление чисто количественных полятий, то в качестве компонентов счетного ряда выступают количественные числительные, расположенные в строгом порядке по возрастающему значению (прямой счет) или по уменьшающемуся значению (обратный счет), изменить места компонентов такого ряда невозможно: один, два, три и т. д.; десять, двадцать, тридцать и т. д.; сто, двести, триста, четыреста и т. д.

Если считаются предметы, то в качестве компонентов счетного ряда используются либо количественные числительные и имена существительные, либо порядковые числительные и имена существительные. Но в зависимости от того, считаются ли одинаковые или разные предметы, использование числительных и существительных оказывается совершенно различным.

При счислении одинаковых предметов, которые называются одним общим именем, в качестве компонентов счетного ряда выступают числительные без существительных. Существительное, являющееся названием считаемых предметов, появляется вместе с итоговым числительным обычно в конце счетного ряда как итог счета: *Напротив — ореховый комод... Раз, два, три, четыре, пять... пять ящичков* (Н. Хикмет. Романтика); *...Подрезов начал загибать пальцы. — Сорок первый, сорок второй, сорок третий, сорок четвертый, сорок пятый... Четыре года войны* (Ф. Абрамов. Пряслины).

Существительное может находиться в начале счетного ряда, оно называет первый из считаемых предметов. Имея форму единственного числа, оно обычно употребляется без числительного, за ним следуют числительные без существительных: *Месяц, два, три — никакой весты* (Ф. Абрамов. Пряслины). *Она шла день, и другой, и третий, много дней* (В. Пакова. Спутники). *Неделя проходит — ни звука, две проходит — ни звука, три...* (Ф. Абрамов. Пряслины); счетный ряд — *неделя, две, три*. В отдельных случаях при первом существительном возможно числительное один: *Приезжая на Синалеу к ставровской избе, а там — один зарод, другой, третий...* (Ф. Абрамов. Пряслины). Сопоставление структур *месяц, два, три* и *один зарод, другой, третий* дает возможность форму *месяц* считать неполным количественно-именным сочетанием с опущенным числительным, а формы *два, три, другой, третий* — неполными количественно-именными сочетаниями с опущенными существительными.

При счислении неодинаковых предметов в качестве компонентов счетного ряда могут использоваться сочетания числительных с существительными, но не в виде словосочетаний, а в виде предложений, где (как уже отмечалось) существительное, называющее предметы счета, является подлежащим, а числительное, дающее количественную характеристику предметам, — сказуемым и стоит после существительного-подлежащего: *...Загибая пальцы на руке, с гордостью перечисляя свои отпрысков: Максикой — раз, Яшка-бурлак — два... Ефимко-солдат — четыре, Машка-глушья — пять, Матреша-невеста — шесть, Оля, отцово дитяtko — семь* (Ф. Абрамов. Пряслины); — *Так, сказал Петр Житов и стал загибать пальцы. — Сорок пятый — раз, сорок шестой — два, сорок седьмой — три. Три года после войны...* (Ф. Абрамов. Пряслины).

При этом подлежащие, называющие предметы счета, могут быть сами количественно-именными сочетаниями.

При счете неодинаковых предметов, каждый из которых называется своим именем или словосочетанием, в качестве компонентов счетного ряда могут использоваться только имена существительные без числительных: — *Это была всего одна комната, но, господи, сколько в ней было вещей! И зеркальный шкаф, и стол раздвижной с толстыми ногами, и письменный стол, и диван, и стулья!* (В. Панова. Спутники); *Семья жила в Луге: мать, жена, вдовья сестра, две дочери, подросток-племянница. Для краткости дядя Саша звал их: мои шесть женщин* (В. Панова. Спутники). На то, что данные перечисления названий различных предметов являются счетом, процессом счисления, указывают такие признаки: 1) перед началом счета может быть целевая установка на счет, который выражается неопределенно-количественными числительными *сколько, много, мало, столько* и др., 2) после счета-перечисления подводится итог счету в виде определенно-количественного числительного или количественно-именного сочетания, 3) счет предваряется указанием на то, что говорящий при перечислении последовательно загибает пальцы. Ф. Папп отмечает, что русские при счете, называя количественные слова, «сгибают пальцы вовнутрь на открытой левой руке, начиная с мизинца, обычно с помощью указательного пальца правой руки» [8, 9]. *И тут Зарудный, загибая один палец за другим, начал лихо перечислять уже давно известные многим участникам совещания причины хронического отставания Сотюги: просчеты в определении сырьевой базы, недобротенность объекта и в связи с этим нереальность задания, отсутствие жилья и как прямой результат этого необеспеченность предприятия рабочей силой... Восемь пальцев загнул Зарудный. Восемь* (Ф. Абрамов. Прясливы).

Если целевая установка на счет создается словами с неопределенно-количественным значением (*сколько, много, мало* и т. д.), то сам процесс счисления происходит для того, чтобы перевести понятие неопределенного количества в понятие определенного количества. Когда в начале перечисления употреблено определенно-количественное числительное и существительное, то последующее перечисление вряд ли можно признать счетом: ...*За ними из группы Гагарина летели в космос еще семь командиров: Белаяев, Леонов, Волянов, Комаров, Шонин, Горбатко и Хрунов* (Н. Каманин. Летчики и космонавты). В данном предложении сочинительный ряд служит определенным конкретизатором [10] количественно-именного сочетания *семь командиров*, однородные члены уточняют, кто из командиров входит в группу *семь командиров*. Сам же процесс счисления состоялся уже до этого перечисления, и результатом счета является количественно-именное сочетание *семь командиров*.

Наиболее полно представленным оказывается процесс счета в том случае, если есть целевая установка на счет, предшествующая счету и имеющая неопределенно-количественное значение; затем идет счет-перечисление с последовательным использованием количественных показателей, а в конце перечисления дается количественный итог, результат счисления: *Сколько же останется пациентов? Англичан двое, майор — три, потом четыре, пять, шесть. Шесть человек.* (К. Федин. Санаторий Арктур).

В современном русском языке есть структуры, имеющие целевую установку на счет, количественный итог, но с пропуском самого процесса счета. По своей семантике и общей структуре они могут быть сравнимы с эллипсисными структурами (называется тот, кто совершает действие, указывается, где или когда совершается действие, но само действие не назва-

но, оно присутствует имплицитно. Аналогично и в счетных структурах: задается вопрос о количестве, указывается, что процесс счета состоялся, дается итоговое число, а самого процесса счета нет): *Сколько было человек? И штурман всех нас пересчитал. — Десять человек, капитан, сказал он...* (К. Кламан. В диамом рейсе); *Это сколько же годов она помнила? — спросил он себя. С осени сорок второго. Шесть лет.* (Ф. Абрамов. Две зимы и три лета).

Подвергаться счету могут не только предметы, но и действия. Итог счета действий, результат счета действий выражается сочетаниями глаголов с наречиями типа *дважды, четырежды, впервые, вторично, много, сколько* с сочетаниями «числительное + раз»: *дважды сказал, впервые приехал, вторично выступил, сто пятьдесят раз присел* и т. п. [11].

При передаче процесса счета действий наречия типа *дважды, повторно, много, мало, сколько* в составе компонентов счетного ряда используются крайне редко. В процессе счисления действий в качестве количественных слов в составе компонентов счетного ряда обычно употребляются сочетания типа *один раз, два раза, в первый раз, во второй раз, в третий раз* (числительное + раз), наречия *впервые, вторично, во-первых, во-вторых* и т. д. Структура счетного ряда и характер компонентов счетного ряда при счислении действий имеют те же особенности, которые нами отмечались при счете предметов (одинаковых и различных), с той, однако, разницей, что распространение глагола зависимыми от него словами, по существу, переводит счисление собственно действий в счисление ситуаций: *Пеструшка опять промывчала, потом второй и третий раз* (Ф. Абрамов. Присяжники); *— Я женюсь, конечно, — думал он иногда. — Но я, во-первых, подожду: надо подучиться и подрасти и человеком стать. А во-вторых, женюсь на такой девчушке, которая будет со мной жить дружно и честно, как мама прожила с татей* (В. Панова. Спутники). В последнем примере второй компонент счетного ряда передает уже ситуацию.

Гораздо чаще, чем процесс счета действий, в языке выражается счисление ситуаций и разного типа событий. В качестве количественных слов в составе компонентов счетного ряда используются числительные *раз* (не *один*), *два, три* и т. п., субстантивированные порядковые числительные *первое, второе, третье* и т. п., наречия *во-первых, во-вторых, в-третьих*, порядковые числительные *одна, вторая (другая), третья* и только в письменной речи — цифры: 1.2.3 или — 1), 2), 3) и т. д.

Если в качестве количественных слов при счислении ситуаций используются порядковые числительные типа *первые, вторые, третьи* или *одни* (*одни* вм. *первые*), *другие, третьи*, то эти слова выступают в качестве подлежащего в составе неполных количественно-именных сочетаний, в предложениях, излагающих считаемые явления: *В качестве покупателей молодые люди ведут себя далеко не одинаково. Одни ориентируются на ультрамодную одежду и обувь — их называют новаторами моды, другие следуют моде, руководствуясь предложениями журналов. ..., третьи воспринимают моду, но отнюдь не стремятся быть лидерами, — это так называемые имитаторы; четвертые не воспринимают моду, а пятые отвергают ее напрочь* (Лит. газета. 1984. 16 мая).

Числительные *раз, два, три* и т. п. употребляются постпозитивно, и компонент счетного ряда как бы распадается на две части — изложение ситуации в виде простого или сложного предложения и противопоставленного этому предложению числительного: *Помолчите, пусть общество решает. Миша учится в техникуме — раз. Можно сказать, вырос в цеху — два. И жет среди нас авторитет — три* (В. Леонович. На работе и дома);

И, наконец, как самый маловероятный, но все же допустимый вариант: Зыков подслушал разговор — раз. Поменялся паспортами с Брысем — два. О сыне и взаимоотношениях Шальнова с ним Зыков был отлично осведомлен — три (О. Шмелев. Три черепахи); Ведь минусы твои тоже нигде не денешь. — С дисциплиной еще не все в порядке — раз. Троек нахватал — два. Куришь — три (Правда. 1981. 12 окт.). Синтаксическая функция числительных раз, два, три в подобных структурах может быть квалифицирована как сказуемое при подлежащем, выраженном предложением, представляющим изложение ситуации.

Субстантивированные прилагательные *первое, второе, третье* также могут быть сказуемыми (или подлежащими) в структуре компонента счетного ряда при подлежащем (или сказуемом), излагающем ситуацию и являющемся предложением (простым или сложным). Количественное слово в таких структурах стоит обычно на первом месте: *Теперь он, Подрезов, будет командовать народом...*

Первое, чем он уже заручился поддержкой представителя обкома, — свернуть на время работы по жилищному строительству.

Второе — снять половину задания с Сотюжского леспромхоза и разбросать по другим леспромхозам и колхозам.

Третье — это уже на самый крайний случай «прочесать» слегка Красный бор (Ф. Абрамов. Пряслины).

В письменных текстах количественные слова *первое, второе* и т. п. пишутся с красной строки и каждый компонент счетного ряда представляет собой абзац.

Если количественное слово выражается словоформами *во-первых, вторых* и т. п., то две части компонента счетного ряда противопоставляются друг другу в гораздо большей степени, чем при наличии слов *раз, два, три*: количественное слово становится вводным и не входит в структуру предложения, излагающего ситуацию. Возникает как бы две линии перечисления — перечисление количественных слов и перечисление ситуаций: *О нем говорили повсюду — на лесопунктах, в райцентре, в колхозах. Во-первых, должность. Шутка сказать — директор первого механического леспромхоза в районе... А во-вторых, он и сам по себе был камешек, из которого искры сыплются (Ф. Абрамов. Путь-перепутья); Если покупатель, устав гоняться за красивой, но неудобной импортной коляской, и берет для новорожденного отечественную, за шестьдесят рублей, то он уже знает от друзей и знакомых, что она не верш совершенства. Во-первых, она каменеет и трескается даже при легких морозах; во-вторых, она тяжелеет как штанга; в-третьих, в ней нет спинки для поддержания ребенка в сидячем положении; в-четвертых, она не влезает в лифт; и в-пятых, в ней нет ремней безопасности...* (Лит. газета. 1983. 6 июля). Совместное перечисление количественных слов и предложений, излагающих ситуации, порождает счисление ситуаций.

Наиболее противопоставленными являются такие компоненты счетного ряда, количественное слово которых представлено цифрами или числительными и совершенно оторвано от основного предложения: — *Слушай, Тося, а Тося. Завтра пойду договариваться насчет работы. Раз. Водки больше не будет, даю слово. Два. Рада? (В. Панова. Ясный берег); Александр Александрович спокойно, по-преподавательски, рассказал нам основные, общие правила складывания. 1. Пройди маршрут глазами... (следует подробное объяснение этого правила). 2. Три точки опоры... (дается детальное описание с иллюстрациями, как пользоваться этим правилом). 3. Найди опору, опробуй ее... (следуют подробные рекомендации*

по использованию этого правила). ... 4. *Двигайся плавно с минимальными остановками...* (объясняется причинная обусловленность этого правила) (В. Солоухин. Прекрасная Адыгене). Слова с количественным значением помогают определенным образом организовать материал сообщения и выделить в нем наиболее важные моменты и, перечисляя, сосчитать эти представляющиеся наиболее важными части.

Счетная величина. При счете-перечислении счетная величина счетного ряда, т. е. то количество, которым отличается каждый последующий компонент от предыдущего, является имплицитным. По своему значению оно чаще всего бывает равным единице, но может быть и какой-либо другой величиной.

В зависимости от того, имеют ли компоненты счетного ряда количественное слово (в любом его выражении) или не имеют, а состоят только из названий считаемых предметов, функция их в процессе счета различна. Если компоненты счетного ряда состоят из количественных слов и названий считаемых предметов (или только из числительных), то каждый такой компонент представляет собой некоторый итог на данном этапе счета, следующий компонент является уже следующим итогом на следующем этапе счета, который состоит из числа предыдущего итога плюс определенная счетная величина счетного ряда и т. д. в течение всего счета.

Если компоненты счетного ряда не имеют количественных слов, а состоят только из названий считаемых предметов, то каждый компонент не имеет идеи счета на каждом его этапе, он только называет очередной из перечисляемых в процессе счета предметов, итог счета дается в конце счетного ряда количественно-именным сочетанием.

Из сказанного следует: счет как особая мыслительная операция выражается в языке в виде определенного набора конструкций, составляющих одно синтаксическое целое. Это синтаксическое целое состоит из трех частей: 1) из целевой установки на счет, 2) процесса счета, 3) общего итога счета. Бесспорно, в целом счет-перечисление является динамическим аспектом количественных представлений. Однако процесс счета в свою очередь состоит из динамических и статических моментов: сам акт перечисления есть движение мысли от одного компонента к другому, от предыдущего к последующему — это динамика, а компоненты счетного ряда, представляющие собой последовательно сменяющиеся итоги счета, так сказать, этапы в подведении итога есть не что иное, как статический момент в процессе счета.

ЛИТЕРАТУРА

1. Тураева З. Я., Биренбаум Я. Г. Некоторые особенности категории количества // ВЯ. 1985. № 4. С. 127.
2. Панфилов В. З. Гносеологические аспекты философских проблем языкознания. М., 1982. С. 228.
3. Чеснокова Л. Д. Категория количества и синтаксические структуры // ВЯ. 1981. № 2. С. 44.
4. Панфилов В. З. Категории мышления и языка. Ставоление и развитие категории количества в языке // ВЯ. 1971. № 5. С. 18.
5. Чеснокова Л. Д. Категория неопределенного множества и семантические формы мысли // Семантика грамматических форм. Ростов-на-Дону, 1982.
6. Словарь современного русского литературного языка: В 17-ти т. Т. 14. М.—Л. 1963. С. 1323—1324, 1314.
7. Философский энциклопедический словарь. М., 1983. С. 564.
8. Лапп Ф. Паралингвистические факты, этикет и язык // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XV. М., 1985. С. 546.
9. Лапп Ф. Этикет и язык // РЯНШ. 1984. № 1.
10. Чеснокова Л. Д. Семантика сочинительных связей в структуре предложения. Предложение и текст в семантическом аспекте. Калинин, 1978. С. 150.
11. Чеснокова Л. Д. Выражение категории количества глагольными формами современного русского языка // ВЯ. 1983. № 6. С. 87—90.

СУЩИНСКИЙ И. И.

КОММУНИКАТИВНО-ПРАГМАТИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ АКЦЕНТИРОВАНИЯ И ЕЕ РОЛЬ В ВЕРБАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ

(На материале немецкого языка)

Вербальная коммуникация реализуется, как известно, при помощи высказываний [1—3]. Анализ речевых актов показывает, что некоторые высказывания имеют одноаспектную логико-коммуникативную природу, ограничиваясь лишь сообщением какого-либо факта без указания на отношение говорящего/пишущего к сообщаемому. Однако нередко высказывания имеют бинарную логико-коммуникативную структуру [4, 5]. В таких высказываниях, с одной стороны, содержится определенная информация о каком-либо факте (объективно-модальный аспект, или диктум высказывания), а с другой стороны, выражается то или иное субъективное отношение говорящего/пишущего к тому, что излагается, что составляет субъективно-модальный аспект, или модус высказывания. Спектр субъективно-модальных значений богат и разнообразен. Одной из форм проявления личного отношения говорящего к содержанию высказывания считается также акцентирование, подчеркивание, выделение [6, с. 217]. Несмотря на частое использование этого термина в лингвистике, он, к сожалению, до сих пор не получил однозначного и общепринятого определения. В лингвистических работах, касающихся вопросов акцентирования, либо приводятся общие, нечеткие, упрощенные определения, либо они отсутствуют как таковые вообще. Так, по мнению Е. С. Скобликовой, коммуникативная акцентировка представляет собой подчеркивание тех или иных частей предложения в зависимости от задач высказывания [7, с. 10—11]. Т. М. Николаева, внесшая значительный вклад в разработку проблем акцентирования, предлагает две различные дефиниции. В более ранних трудах она толкует акцентирование как общую категорию текста, назначение которой состоит в синтагматическом или парадигматическом противопоставлении одного элемента текста другим его элементам [8, с. 52]. В своей более поздней работе Т. М. Николаева определяет акцентирование иначе: «Акцентное выделение — это обозначение, может быть, и неудачное, активной для восприятия выделенности просодическими средствами какого-либо слова во фразе» [9, с. 3]. В некоторых работах акцентирование толкуется как сугубо фонетическое явление, используемое в коммуникативных целях для подчеркивания одного или нескольких элементов высказывания, которые таким образом должны получить особую коммуникативную весомость по сравнению с другими невыделенными элементами [10, с. 854]. Однако вряд ли можно безоговорочно согласиться с такими узкими и односторонними интерпретациями феномена акцентирования, т. к. они, на наш взгляд, далеко не в полной мере отражают сущность этого полифункционального и многогранного явления, его назначение в коммуникации. Тем более, что

акцентирование в действительности может достигаться не только при помощи фонетических, но и других средств языка, а акцентированию могут подвергаться не только слова, словосочетания, но и предложения, абзацы и целые тексты. Недостаточное внимание в теоретическом отношении к категории акцентирования со стороны лингвистов можно отчасти объяснить тем, что, по их мнению, это явление простое, очевидное, чисто формальное, лишенное всякого смыслового содержания и выполняющее в речи лишь вспомогательную организационно-формительскую функцию. На самом же деле эта категория, как это будет показано ниже, имеет как свое специфическое многообразное формальное выражение, так и специфическую семантику, и играет в речи важную коммуникативно-прагматическую роль. Вот почему лингвистическая разработка категории акцентирования, которая принимает непосредственное участие в логическом и структурном формировании речи, имеет не только теоретическое, но и прикладное значение.

В общем можно сказать, что исследование акцентирования находится все еще на начальном этапе, о чем свидетельствует широкий и разнообразный круг проблем, связанных с этой категорией. В частности, в существующих работах не содержится удовлетворительных сведений ни о самой природе, ни о функциях, ни о специфических характеристиках, ни о коммуникативном назначении этого феномена. Не выявлены особенности референциального значения этой категории, не определен ее лингвистический статус. Дискуссионным является вопрос об отношении категории акцентирования к таким категориям, как фокусировка (актантное членение), актуализация, актуальное членение, эмфаза, экспрессивность и эмоциональность. До сих пор не вскрыты причины, порождающие акцентирование в коммуникации, и т. д. В предлагаемой статье мы сосредоточим внимание преимущественно на следующих кардинальных вопросах: выяснение типичных признаков акцентирования, особенностей его семантики, определение его функций и коммуникативного назначения, его роли в вербальной коммуникации, уточнение лингвистического статуса акцентирования. Решение перечисленных проблем должно внести определенный вклад в развитие коммуникативной лингвистики.

Принимая во внимание существующие формулировки акцентирования и опираясь на свои собственные наблюдения за функционированием этого явления в речи, можно предварительно предложить следующее исходное рабочее определение этого понятия. **А к ц е н т и р о в а н и е** — это резкое выделение при помощи специальных средств (фонетических, морфологических, синтаксических, лексических и графических) тех или иных элементов речи, которые, по мнению говорящего, представляют особую коммуникативную значимость, чтобы этим самым привлечь к ним внимание собеседника, утвердить свою точку зрения и оказать на него целенаправленное и преднамеренное оптимальное воздействие. Однако для того, чтобы объективно, точно и полно определить понятие акцентирования, вскрыть его сущность и назначение в коммуникации, нужно прежде всего выявить его функции, характерные свойства и специфику референциального значения. Для этого необходимо обратиться непосредственно к примерам, в которых в явной форме содержится акцентирование определенных элементов высказывания, достигаемое разными средствами. Только учет акцентуаторов во всей их совокупности и многообразии позволит получить реальную и полную картину механизма исследуемого явления.

Рассмотрим сначала одно из наиболее простых и излюбленных средств акцентирования — специальное усиленное ударение, которое мы будем

называть в дальнейшем эмфатическим (ЭУ) и которое отличается от фразового (ФУ) или логического не только в акустическом, но и функциональном и даже позиционном отношениях [11—15]. Во-первых, ЭУ, в отличие от ФУ¹, более сильное, более громкое ударение. Оно придает большую длительность и более высокий тон тому элементу высказывания, на который говорящий хочет обратить специальное внимание своего собеседника в данной речевой ситуации. Во-вторых, наличие ФУ в любом предложении строго обязательно, т. к. оно маркирует самую важную часть сообщения, которая заключает в себе новую информацию, обозначаемую в лингвистике как информативный центр, ядро высказывания, коммуникативный центр, предиктируемая часть, рема или информационный фокус [16—19]. При объективном словопорядке информационный фокус находится всегда в конце предложения, поэтому ФУ называется еще автоматизированным: *Er wird Ihnen eine Ballade vortragen* (E. Kästner, Fabian). Как видим, ФУ наслаивается на словесное, но в отличие от последнего более напряженное и громкое. ФУ во взаимодействии с другими компонентами интонации выполняет следующие функции: участвует в оформлении коммуникативного типа высказывания и организации звукового облика фразы в единое целое, придавая фразе интонационную завершенность и целостность, и выделяет всегда рематическую часть высказывания [20—21]. ФУ, как и словесное ударение, падает на знаменательные слова и никакой дополнительной информации, кроме той, которая непосредственно содержится в каждом конкретном высказывании, не привносит. Эти различия особенно отчетливо просматриваются при сопоставлении фраз, маркированных ФУ и ЭУ: 1) *Konrad fährt nach Leipzig*; 2) *Konrad fährt nach Leipzig*. Первая фраза, оформленная ФУ, которое падает на последнее слово, произносится с нейтрально-информативной интонацией и ограничивается только констатацией факта, что Конрад едет в Лейпциг. Вторая фраза, помеченная ЭУ, кроме эксплицитного сообщения «Конрад едет в Лейпциг», содержит еще имплицитное указание на контраст между утверждаемым фактом и фактом предполагаемым или высказанным ранее собеседником. Поэтому фраза с ЭУ допускает следующее толкование: «Конрад едет именно в Лейпциг, а не в город X, как это утверждается или предполагается». Как видим, здесь акцентирование связано не только с контрастивностью, но и с корректировкой информации. ЭУ присуще высказываниям потенциально. Его реализация может быть обусловлена интенциями говорящего, констатирующей или пресуппозицией собеседника. Что касается функций ЭУ, то они более многообразны и носят иной характер. Анализ фраз, в которых присутствует ЭУ, показывает, что в большинстве случаев оно выполняет следующие задачи: а) резкое выделение какого-либо элемента высказывания; б) подтверждение истинной точки зрения высказывания, противоположной ошибочной, высказанной или упомянутой ранее или просто пресуппозированной; в) имплицитное привнесение адверсативной добавочной информации («а..., а не..., вопреки утверждаемому, предполагаемому или ожидаемому» — «und nicht..., sondern..., aber..., entgegen der Behauptung, Vermutung, Erwartung»). Следовательно, при помощи ЭУ говорящий имеет возможность в компактной, свернутой форме сообщить гораздо больше, нежели это эксплицитовано лексико-грамматическим материалом высказывания.

¹ ФУ будем обозначать одной наклонной черточкой (/) в отличие от ЭУ, обозначаемого двумя наклонными черточками (//).

В этом легко убедиться на примере следующей высказывания *Martin hat das getan*, коммуникативно-прагматическое содержание которого можно парафразировать следующим образом «Es ist der Fall, daß Martin derjenige ist, der das getan hat + Entgegen der Behauptung bzw. Annahme + Es ist nicht der Fall, daß Martin derjenige ist, der das getan hat». Как вытекает из парафраз, акцентирование в данном случае выражает еще идентифицирующее значение «именно», о чем свидетельствует возможность синтаксической трансформации, в которой значение отождествления выражено в явной форме. Например: *Nicht ich habe das behauptet = Ich bin es nicht, der das behauptet hat, sondern jemand anders*. Как показывают многие примеры, фразы, содержащие ЭУ, по сути дела не содержат какого-либо нового факта: в них лишь корректируется, уточняется информация об этом факте. При этом противопоставляемый элемент либо presupпонируется, либо вербально выражен непосредственно в самом акцентированном высказывании, либо в предшествующем: *Du hast keinen Ehrgeiz. das ist das Schlimme. — Ein Glück ist das* (E. Kästner. Fabian).

Итак, ЭУ, в отличие от ФУ, как видим, имеет не только специфический формальный, но и содержательный аспект, т. е. ЭУ — это семантико-фонологический гибрид. Так как ЭУ способно часто порождать значение контрастивности, то некоторые лингвисты называют его, и в известной мере не без основания, контрастивным ударением [22—24]. Однако необходимо отметить, что ЭУ не всегда связано со значением контрастивности. В этом легко удостовериться, если вспомнить о высказываниях типа *Hände hoch! Die Tür zu! Vor Zugluft schützen!* Во всех этих фразах несомненно содержится просодическое акцентирование, однако значение контрастивности тем не менее отсутствует. Здесь основной задачей акцентирования является подчеркивание особой коммуникативной важности сообщаемого факта в условиях данной речевой ситуации, спиюминутное и мгновенное сосредоточение внимания адресата на акцентируемом и активное побуждение его к обязательному выполнению того, о чем ему напоминают или к чему его призывают или побуждают. И в ряде других случаев ЭУ во взаимодействии с иными просодическими средствами не имплицитно контрастивное значение или информативно-корректирующее, а ограничивается исключительно подчеркиванием, точнее говоря, подтверждением собственной точки зрения говорящего, например: *«Kommst du heute zu mir?» — «Sichers»*. Присутствует или отсутствует значение контрастивности во фразах, акцентированных посредством ЭУ, можно проверить, используя прием подстановки единиц «sondern...», «aber...», «und nicht...» после подчеркнутого элемента в речи. Допустимость такого добавления подтверждает наличие в ЭУ адверсативного смысла, невозможность такого распространения свидетельствует об отсутствии этого значения. Ср.: *Nicht P hat das getan (sondern K.) P hat das getan (und nicht K). Geld her!* Учитывая эту особенность, представляется более оправданным называть специальное, особой силы ударение не контрастивным, а именно эмфатическим. К сказанному следует добавить, что ЭУ — это дискурсивное явление, указывающее на зависимость акцентированного элемента высказывания от предшествующего контекста. Например: *«Und Sie behaupten immer, das Höchste im Sozialismus ist die Familie!» — sagt Schneider, «Der Mensch, — sagt er, — Der Mensch ist das Höchste»* (D. Noll. Doktor Kippenberg).

Поскольку при использовании ЭУ не только постоянно реализуется значение подчеркивания, но и на первый план всегда выступает значение акцентирования особой коммуникативной важности выделяемого элемента, то сему акцентированию можно считать семантической доминантой

и константой значения акцентирования. Анализ речевых актов свидетельствует о том, что ЭУ всегда неразрывно связано с элементами речи, которые, по оценке говорящего, являются в условиях данной речевой ситуации наиболее важными и к которым он хочет привлечь специальное внимание своего собеседника. Это значит, что ЭУ участвует всегда в фокусировке, т. е. в манифестации как конечного, так и контрастивного фокуса [25]. Кроме указанных выше различий между ЭУ и ФУ состоит также в том, что для ФУ важным является оппозиция «данное/новое», «новое/старое», «неизвестное/известное», «неопределенное/определенное», «тема/рема», «упомянутое/неупомянутое», «топик/ядро» [26—28], ибо ФУ маркирует всегда только тот член предложения, который содержит что-то новое (рему, неупомянутое, неопределенное, неизвестное). Для ЭУ это совершенно не существенно. Оно может выделять как то, так и другое, что можно проиллюстрировать на следующих примерах: *Morgen reden wir über alles.* — *Hütel!* (H. Schneider. *Flucht ins Verderben*). *Es ist nicht ein Verfahren.* *Es ist das Verfahren* (D. Noll. *Doktor Kippenberg*). ЭУ в отличие от ФУ может выделять и анафорические единицы, которые по своей семантике указывают на упомянутое или отсылают к ранее сказанному: «*An Ihnen liegt es*», *sagt Boskow*, ... «*Von Ihnen müssen die Parameter kommen!*» (D. Noll. *Doktor Kippenberg*). Далее ЭУ отличается от ФУ позиционно. Оно может падать не только на ударные (знаменательные) слова, но и на безударные (служебные части речи). В частности, ЭУ могут получать даже неотделяемые префиксы (*Das Schiff wird nicht entladen, sondern beladen*), вспомогательные и модальные глаголы (*Er hat das schon getan; Ich wollte, aber ich könnte nicht arbeiten*), местоимения (*Er ist an allem schuld*), неопределенный или определенный артикли (*Ich habe ein/das Heft gekauft*), предлоги (*Ist er für oder gegen meinen Vorschlag?*). Более того, ЭУ может подчеркивать даже такие единицы, как неопределенно-личные местоимения (*jemand, man*), которые, по мнению Харвега [29], не контрастивны по своей семантике: *Da hören wir es ja wieder: man! Man ist gar nichts*, ... (H. Fallada. *Ein altes Herz*).

Наблюдения показывают, что в устной форме общения ЭУ используется весьма активно. Очевидно, это объясняется тем, что ЭУ является мобильным и гибким средством акцентирования, наделенного уникальным свойством варьировать коммуникативно-прагматические интенции говорящего в рамках одного и того же предложения с тождественным лексико-грамматическим материалом. Ср., например: *Ich (und nicht P) schenke (und nicht verkaufe) ihr (und nicht ihm) ein Uhr (und nicht eine Kette)*. Способность ЭУ порождать на базе одинаковой синтаксической структуры с одинаковым лексико-грамматическим составом множество по-разному актуализированных коммуникативных единиц говорит о том, что ЭУ является также одним из важнейших средств актуализации предложений — осуществления высказывания [30—32]. Что касается эмоциональности и экспрессивности, то они не являются неотъемлемыми компонентами семантики ЭУ, как об этом свидетельствуют речевые факты. К примеру, в следующих высказываниях акцентирование бесспорно присутствует. Однако вряд ли правомерно утверждать наличие эмоциональности и экспрессивности в этих синтаксических единицах: *Bitte, diese Tür schließen!* *Das Zimmer ist nicht groß, sondern klein*. Наблюдения за функционированием ЭУ в речи показали, что его реализация предполагает обязательное наличие трех существенных экстралингвистических факторов: а) определенная взаимная осведомленность говорящих о предмете речи (наличие фоновых

знаний), б) набор ограниченного числа возможных альтернатив, пригодных для данной речевой ситуации и известных для обоих партнеров по общению и в) утверждаемая альтернатива, т. е. выбор одной из имеющихся возможностей, которая в условиях данной речевой ситуации соответствует истинному положению вещей.

Не менее важным и действенным средством реализации акцентирования являются лексические акцентуаторы, которые довольно часто употребляются как в устной, так и в письменной формах общения. К ним мы относим акцентирующие частицы [33], потенциаторы (интенсивы, интенсификаторы) [34]. Рассмотрим сначала некоторые из акцентирующих частиц. Для выявления их отличительных свойств будем пользоваться такими лингвистическими приемами, как сопоставление, пермутация, замена и парафразирование. Так, при сопоставлении фраз 1) *Paul will ihm helfen* 2) *Ausgerechnet Paul will ihm helfen* легко обнаруживаются следующие различия, которые и являются характерными признаками акцентирующих частиц. Первая фраза, оформленная нейтрально-информативной интонацией, сообщает просто факт, что П. хочет ему помочь. Во второй фразе сообщается тот же факт, однако использование частицы придает высказыванию добавочное значение: а) резкое выделение наиболее важного в коммуникативном отношении элемента речи, б) отождествление (именно Пауль и никто другой), в) имплицитное значение «вопреки ожиданиям, предположениям» + выражение какого-либо чувства говорящего. Иными словами, более насыщенный смысл второй фразы можно было бы передать при помощи следующих парафраз: «Пауль хочет ему помочь. Этого я (говорящий) от него не ожидал. Это меня удивляет». Помимо того, акцентирующая частица участвует здесь в тематизации, т. е. в подчеркивании члена предложения, который уже известен, упоминался, на что указывает имя собственное. Если обратиться к примерам с другими частицами, то мы увидим, что они также выполняют целый комплекс задач: *Über die Zuverlässigkeit von Untersuchungsschaft haben nur die Richter zu entscheiden* (Verfassung der DDR). Во-первых, акцентирующая частица *nur* выделяет в этом предложении рематическую часть, принимая участие в фокусировке. Во-вторых, частица эксплицитно придает высказыванию значение ограничения и имплицитно значение противопоставленности. Однако никакой эмоциональности и экспрессивности этот акцентуатор данному высказыванию не сообщает. Противопоставляемый элемент подчеркнутого члена предложения в тексте вербально не выражен. Он просто presupponiert, т. е. выделенное слово имеет внеконтекстный ассоциативно противопоставляемый элемент. В других случаях добавочное значение контрастивности, имплицитное в семантику частицы *nur*, может быть эксплицитировано в предшествующем либо последующем контексте: *Es ist auch seine Sache. Nicht nur die deine* (R. Flierl. Die Freundin). Выяснилось, что почти каждая акцентирующая частица имеет не только общие черты, присущие этому классу слов, но и свои индивидуальные черты [35–36], свои собственные presupпозиции. Например, в предложении *Selbst Paul hat mich unterstützt* частица *selbst* помимо маркирования фокуса и резкого выделения темы передает в скрытой форме дополнительный смысл, который можно описать так: «Вопреки моим ожиданиям» + «к моему удивлению» + «другие тоже». Различия между акцентирующими частицами четко проявляются при их замене, что приводит к изменению коммуникативно-прагматического содержания высказывания. Ср., например: *Lediglich (sogar, ausgerechnet, nicht einmal) er sagt uns die Wahrheit*.

Наблюдения за функционированием акцентирующих частиц в речи

опровергают широко распространенное мнение о том, что они являются только индикаторами ремы. Примеры показывают, что они могут маркировать как рему, так и тему. Таким образом, характерной особенностью акцентирующих частиц, судя по всему, являются их полифункциональность и дополнительная имплицитная информация (по терминологии Т. М. Николаевой «фразы-тени» [37, с. 52—53]). Активное употребление частиц в речи объясняется, по-видимому, их полифункциональностью и способностью в свернутой форме сообщить больше информации, чем это содержится непосредственно в самой фразе. Кроме того, ряд частиц наделен свойством подвижности — изменением местоположения в предложении, — что позволяет в рамках одного и того же предложения с тождественным лексическим наполнением создавать ряд разнокоммуникативных единиц. В то же время немецкий язык имеет в своем распоряжении лексические акцентуаторы, ограничивающиеся исключительно выражением значения подчеркивания («именно это»). Так, из сопоставления следующих двух фраз *Ich sage die Wahrheit; Ich sage die reine (pure) Wahrheit* видно, что обе фразы в содержательном плане не отличаются друг от друга. Объективно-модальный план в любом случае остается без изменения — присутствует или отсутствует акцентуатор. Но во второй фразе при помощи акцентуатора говорящий выражает свое стремление убедить своего собеседника в достоверности излагаемого и вызвать тем самым у него желаемую реакцию. Аналогичные прагматико-речевые функции выполняют лексические акцентуаторы типа *keinesfalls, keineswegs, auf keinen Fall, unter keinen Umständen*, закрепленные за отрицательными высказываниями. К таким акцентуаторам говорящий прибегает в том случае, когда хочет придать своим негативным высказываниям позитивную истинность, подтвердить свою точку зрения и побудить своего собеседника к неприменному разделению этой точки зрения, что в конечном счете способствует оптимальной реализации интенций говорящего и достижению коммуникативной согласованности (консенсуса) между говорящими. К этой группе средств по своим функциям тесно примыкают модальные слова [78—79], подчеркивающие своей семантикой высокую степень уверенности говорящего в реальности сообщаемого, т. е. его убежденность в полном соответствии содержания высказывания действительному положению вещей: *bestimmt, sicher, zweifellos, gewiß* и др. Посредством этих акцентуаторов говорящий стремится не только подкрепить свою точку зрения, но и навязать ее своему собеседнику, заставить его поверить в сказанное. Использование модальных акцентуаторов этой группы в речи обусловлено, как правило, отрицательной пресуппозицией собеседника. Последние две группы акцентуаторов отличаются еще и тем, что они подчеркивают не одно какое-либо слово, а целое предложение. В реализации акцентирования активно участвуют лексемы со значением «высокая степень», которые мы будем называть потенциаторами. Они составляют многочисленную и непрерывно обновляемую группу единиц и в стилистическом отношении делятся на две подгруппы: а) стилистически немаркированные потенциаторы, характеризующиеся немногочисленным и стабильным составом (*überaus, sehr* и др.) и б) стилистически маркированные, наделенные эмоционально-экспрессивной окраской и характеризующиеся постоянным обновлением своего состава: (*kolossal, mächtig, riesig, schrecklich*). Потенциаторы реализуют значение акцентирования возведением динамического или статического признака в высокую степень, указывающую на выход за пределы обычного, общепринятого: *Er ist ein sehr aufgeweckter Junge*. Это своеобразная группа акцентуаторов характеризуется полифункциональностью.

Их функции явственно просматриваются при сопоставлении фраз с наличием или отсутствием потенциаторов. Ср., например: 1. *Sie sind freundlich*; 2. *«Sie sind sehr freundlich»*, — *sagte der Bettler* (E. Kästner. Fabian). Как вытекает из сопоставления, потенциатор *очень* резко выделяет в предложении то слово, которое является ремонотелем и информационным фокусом, сообщает о наличии признака в высокой степени, что всегда указывает на экстраординарность, подтверждает точку зрения говорящего, усиливает достоверность сказанного, повышает его действительность. Потенциаторы при этом способны маркировать как рематическую, так и тематическую часть высказывания.

Таким образом, помимо названных выше сем, в состав семантики акцентирования входят еще «подтверждение» и «высокая степень», «необычность». Немецкий язык имеет богатейший арсенал средств акцентирования на синтаксическом уровне. Остановимся сначала на особом словопорядке. Известно, что в немецком языке при относительной свободе расположения некоторых членов в простом предложении, тем не менее, за каждым членом закреплено наиболее обычное для него место, определяемое синтаксическими и морфологическими факторами. Кроме того, местоположение неглагольных членов определяется принципом функциональной перспективы предложения в зависимости от их коммуникативно-информационной весомости. При нейтральном порядке слов сообщение развертывается в строгой последовательности от темы к реме, причем наиболее важный информативный элемент находится в конце предложения и оформляется в устной речи автоматизированной интонацией [40—43]. Однако в определенных речевых условиях и в зависимости от интенций говорящего нормативные правила могут умышленно нарушаться, т. е. какой-либо член предложения намеренно помещается на необычное для него место, что неизбежно ведет к выделению этих элементов в речи и привлечению к ним внимания адресата. Так, вынос в повествовательном предложении на первое место именной части сказуемого или глагольного сказуемого в форме инфинитива или партиципа II, обстоятельств, дополнений придает этим членам особую коммуникативную весомость: *Lehrer ist er schon; Arbeiten soll er!* In *Weimar wohnt er*. Данный прием акцентирования связан всегда со значением противопоставленности, что подтверждается возможностью добавления единиц со значением адвербативности: *Arzt will er werden (und nicht Lehrer)*. Такой синтаксический прием часто используется в живой разговорной речи, где инициальная позиция является наиболее ударной. Особое местоположение членов в предложении представляет собой частное акцентирование. При этом выделенный элемент может иметь в одних случаях внеконтекстный ассоциативно противопоставляемый элемент, а в других случаях противопоставленный элемент может быть вербально выражен в предшествующем отдаленном или непосредственном контексте. Иногда противопоставляемый член называется в самой акцентированной фразе: *Atomare Äbrüstung und nicht Äufrüstung braucht die Menschheit* (Einheit. 1985. № 2). Такой вид акцентирования способен выделять как тему, так и рему. Обычно использование этого приема акцентирования вызвано стремлением говорящего противопоставить и утвердить свое собственное суждение некоторому ложному, которое он либо предвосхищает, либо оно высказано в речи собеседником: *«Ein Verhör etwa?»* — *«Keine Vernehmung»*, *erwiderte, Wallner. «Unterhalten will ich mich mit dir»* (W. Schneider. Flucht ins Verberben). Попутно заметим, что применение пассива делает также возможным выдвигать в инициальную позицию член предло-

жения, который в действительном залоге являлся бы дополнением и занимал бы в предложении обычное конечное место: *Ein paläontologisch außergewöhnlich bedeutsamer Fund wird von den Forschern des Staatlichen Museums für Naturkunde in Stuttgart untersucht* (Urania. 1983. № 2). Пользуясь таким приемом, пишущий хочет выделить член предложения, являющийся пациентом, чтобы придать ему особую коммуникативную значимость и сосредоточить внимание адресата на объекте, подвергающемся действию. Учитывая это свойство страдательного залога — выделять фокусирующий актант, — некоторые языковеды по праву рассматривают пассив как одно из формальных средств реализации актантной перспективы [44, с. 129—137]. Для акцентирования темы применяются такие синтаксические приемы, как вычленение (*Die Großmutter, die hat ihm alles verziehen*), или экстрапонирование, т. е. выделение темы посредством специальных предложений (*Von der Frau ist zu sagen, daß sie ihm alles verziehen hat*). В качестве средств акцентирования темы могут выступать и некоторые шаблонные словосочетания типа *Was... betrifft: Was die Abgrenzung zwischen den Fachsprachen angeht, so gibt es hier gewisse Probleme ...* (L. Hoffmann. Kommunikationsmittel).

В разговорно-обиходном стиле для достижения акцентирования используются специальные фразеологизированные модели предложений, характерными признаками которых являются специфичность структурной схемы, идиоматизм грамматического значения, обязательное наличие конструирующих компонентов модели [45—46]: *Solches Fieber! So eine Frechheit! Welch großer Erfolg! Was für ein Eifer! Wie mich das freut!* Эти структурные схемы предложений вместе с восклицательной интонацией определяют высокую степень статического или динамического признака и эмоциональную оценку говорящего, характер которой зависит от семантики стержневого лексического компонента. Своеобразными акцентуаторами являются схемы, выделяющие рематический член предложения. Их обязательными структурными компонентами выступают указательное местоимение *es* и связка *sein*. Построенные по этой схеме предложения имеют статус главной части сложноподчиненного, в котором придаточная часть представлена относительными предложениями, присоединяемыми относительными местоимениями, например: *Es war Karl Marx, der das soziale Wesen der Technik aufgedeckt hat...* (Urania. 1983. № 11). Структура таких синтаксических единиц (по терминологии Есперсена «расщепленные предложения» [47], по терминологии Алессона «эмфатические конструкции» [48]), дает возможность пишущему выдвинуть в позицию фокуса наиболее коммуникативно важный элемент предложения и привлечь к нему особое внимание адресата. Основным семантическим свойством этих эмфатических [49] предложений следует признать их способность передавать не только эксплицитное значение подчеркивания и отождествления («именно А»), но и имплицитное противопоставительно-корректирующее значение («и никто иной, ничто другое, как это утверждается или предполагается»). Допустимость инверсированного словоупорядка у расщепленных предложений свидетельствует о том, что семантика акцентирования создается здесь структурной схемой в целом, а не только фокусным местоположением выделяемого элемента: *Dieser Blick war es, der den alten Mann ergriffen hatte* (H. Fallada. *Altes Herz geht auf die Reise*). Сложноподчиненные предложения такого рода допускают трансформации в форме простых предложений, но при их чтении выделенный элемент должен произноситься с ЭУ: *Es war P, der das getan hat — P hat das getan*. Что касается типографских средств акцентирования,

то наибольшее применение находят: восклицательный знак, подчеркивание, изменение насыщенности шрифта (полужирный или жирный), изменение размера шрифта, замена строчного начертания прописным, разрядка, цвет печати, курсивный или наклонный шрифт.

Итак, даже далеко не полный анализ существующих в немецком языке акцентуаторов на разных уровнях языка позволяет сделать следующие выводы. Акцентирование — это функциональный, речевой, коммуникативно-прагматический феномен, имеющий не только специфическое формальное выражение, но и специфическое референциальное значение. Семантика акцентирования включает в себя следующие семантические множители: выделение, подчеркивание, подтверждение, идентифицирование (именно А), противопоставительность и корректировка (*а не...*, *а...*, *вопреки ожиданию, предположению, утверждению*), высокая степень, экстраординарность. При реализации акцентирования названные семы могут выступать во взаимодействии, а иногда и порознь, что зависит от характера акцентуаторов. Семантической доминантой и константой акцентирования является сема «подчеркивание». Чаще всего акцентирование носит противопоставительно-корректирующий характер. Акцентирование присуще высказываниям потенциально: его реализация зависит от интенций говорящих и от конституативных условий коммуникации. Оно базируется главным образом на противопоставлении утверждаемой истинной точки зрения говорящего некоторой ложной, которая предвосхищается им (предсуппонируется) или же высказана собеседниками. Основным семантическим свойством акцентирования является привнесение добавочной имплицитной информации и утверждение одной из ограниченного числа вариантов, соответствующих действительному положению вещей. Акцентирование — это уникальное явление, т. к. оно, подчеркивая и выделяя наиболее важные с точки зрения говорящего элементы предложения, позволяет производить на основе одной синтаксической структуры с тождественным лексико-грамматическим материалом целый ряд высказываний с различными коммуникативно-прагматическими интенциями. Акцентирование с разной частотностью встречается во всех функциональных типах речи, оно может сопровождать любой коммуникативный тип высказываний и все виды речевых актов. Акцентирование — это полифункциональная дискурсная категория, указывающая на зависимость акцентированных фраз от предшествующего контекста, особый аспект многогранной категории актуального членения.

ЛИТЕРАТУРА

1. Гак В. Г. Высказывание и ситуация // Проблемы структурной лингвистики 1972, М., 1973.
2. Звегинцев В. А. Предложение и его отношение к языку и речи. М., 1976.
3. Степанов Ю. С. Имена. Предикаты. Предложения. М., 1981. С. 291.
4. Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка. М., 1955. С. 44.
5. Солганик Г. Я. К проблеме модальности текста // Русский язык. Функционирование грамматических категорий. Текст и контекст. М., 1984. С. 177.
6. Русская грамматика. Т. 2. Синтаксис. М., 1982. С. 217.
7. Скобликова Е. С. Современный русский язык. Синтаксис простого предложения. М., 1979. С. 10—11.
8. Николаева Т. М. Актуальное членение — категория грамматики текста // ВЯ. 1972. № 2. С. 52.
9. Николаева Т. М. Семантика акцентного выделения. М., 1982. С. 3.
10. Grundzüge einer deutschen Grammatik. 2-te Aufl. Berlin, 1984. S. 854.
11. Шевякова В. Е. Современный английский язык. М., 1980. С. 75.
12. Шевченко Т. А. Фразовое ударение в немецком языке: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1975.

13. Wörterbuch der deutschen Aussprache. Leipzig, 1971. S. 97.
14. Schmerling S. F. Aspects of English sentence stress. Austin — London, 1976.
15. Helfrich H. Satzmelodie und Sprachwahrnehmung. Berlin — New York, 1985.
16. Матезиус В. О так называемом актуальном членении предложения // Пражский лингвистический кружок. М., 1967.
17. Крушельницкая К. Г. К вопросу о смысловом членении предложения // ВЯ. 1956. № 5.
18. Распонов И. П. Строение простого предложения в современном русском языке. М., 1970. С. 98—99.
19. Лантева О. А. Нерешенные вопросы теории актуального членения // ВЯ. 1972. № 2. С. 41.
20. Костунова И. И. Современный русский язык. Порядок слов и актуальное членение предложения. М., 1976.
21. Trojan F. Satzbetonung und Satztheorie // Muttersprache. 1961. Bd. 71. S. 265.
22. Bolinger D. L. Contrastive accent and contrastive stress // Language. 1966. N 1. V. 37.
23. Leech G., Svartvik J. A communicative grammar of English. Moscow, 1983. P. 155.
24. Fuchs A. «Normativer» und «kontrastiver» Akzent // Lingua. 1976. № 3—4. V. 38.
25. Quirk R., Greenbaum S., Leech G., Svartvik J. A university grammar of English. Moscow, 1982. P. 353.
26. Чейф У. Данное, контрастивность, определенность, подлежащее, топика и точка зрения // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. II. М., 1982. С. 290.
27. Слюсарева Н. А. Проблемы функционального синтаксиса современного английского языка. М., 1981. С. 85.
28. Dahl O. Topic and comment. A study in Russian and general transformation grammar // Acta universitatis Gothoburgensis. Göteborg, 1969. P. 8.
29. Harweg R. Die textologische Rolle der Betonung // Beiträge zur Textlinguistik. München, 1971.
30. Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка. М., 1965. С. 93.
31. Кацнельсон С. Д. Типология языка и речевое мышление. Л., 1972.
32. Димитрова С. Актуализация предложения и ее зависимость от представления говорящего о степени осведомленности адресата // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XVI. М., 1985. С. 535.
33. Helbig G., Kötz W. Die Partikeln. Leipzig, 1981.
34. Sušcinskij I. I. Die Steigerungsmittel im Deutschen // Deutsch als Fremdsprache. 1985. № 2. S. 95.
35. Doherty M. Epistemische Bedeutung // Studia grammatica. 23. Berlin, 1985.
36. Сушинский И. И. О функциях акцентуаторов // ФН. 1984. № 4.
37. Никольская Т. М. Контекстуально-конситуативная обусловленность высказывания и его семантическая цельность // Русский язык. Текст как целое и компоненты текста. М., 1982. С. 52—53.
38. Панфилов В. З. Взаимоотношение языка и мышления. М., 1971.
39. Helbig G. Die deutschen Modalwörter im Lichte der modernen Forschung // Beiträge zur Erforschung der deutschen Sprache. Bd. 1. Leipzig, 1981.
40. Firbas J. On the interplay of prosodic and nonprosodic means of functional sentence perspective // The Prague school of linguistics and language teaching. L., 1972.
41. Beneš E. Die funktionale Satzperspektive (Thema-Rhema-Gliederung) im Deutschen // Deutsch als Fremdsprache. 1967. № 1. S. 25.
42. Крушельницкая К. Г. О порядке слов в немецком языке // ИЯШ. 1957. № 1. С. 8.
43. Домашнев А. И. Очерк современного немецкого языка в Австрии. М., 1967.
44. Лейкина Б. М. К проблеме соотношения залогов и коммуникативного членения // Проблемы теории грамматического залогов. Л., 1978. С. 129.
45. Москальская О. И. Проблемы системного описания синтаксиса. М., 1981. С. 89.
46. Sušcinskij I. I. Intensivierungssätze in der deutschen Sprache der Gegenwart // Deutsch als Fremdsprache. 1981. № 3. S. 142.
47. Jespersen O. A Modern English grammar on historical principles. L., 1961. P. 147—148.
48. Ahlsson L. E. Hervorhebung durch Umschreibung mit dem Verb sein im heutigen Deutsch // Studia Neophilologica. 1969. V. 41. S. 307.
49. Motsch W. Ein Typ von Emphasesätzen im Deutschen // Vorschläge für eine strukturelle Grammatik des Deutschen/Hrsg. von Steger H. Darmstadt, 1970. S. 88.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

ОБЗОРЫ

НИКОЛАЕВА М. А.

О ЛОГИКО-СЕМАНТИЧЕСКИХ РАБОТАХ СОВРЕМЕННЫХ ФРАНЦУЗСКИХ ЛИНГВИСТОВ

Начало сближения современной французской лингвистики и логики относится к концу 60-х и началу 70-х годов. Еще в 1966 г. вышел специальный номер журнала «Langages», озаглавленный «Логика и лингвистика» [1]. Позднее ряд номеров этого издания и другие публикации были посвящены той же проблематике [2—7]. Значительным событием стало опубликование книги О. Дюкро [8], в которой автор стремился показать возможность использования в лингвистическом анализе логических моделей. Оценивая важность этой работы, Р. Мартен, один из видных представителей логико-семантического направления во французской лингвистике, писал, что она «вызвала к жизни новый тип исследований, способный, по-видимому, привести к полному обновлению теоретических концепций» ([9], ср. [10]). Лингвисты обращаются к различным направлениям логики — от логики Аристотеля до современных модальных логик — не только потому, что логические языки могут быть использованы в качестве метаязыка описания естественных языков и средства его формализации, но также и потому, что это дает возможность глубже вскрыть своеобразие, сложность и уникальность естественного языка.

Среди исследований проблем семантики с использованием логических методов намечаются три направления: 1) *о п о м а с и о л о г и ч е с к о е*, при котором аксиоматически полагается существование концептов — компонентов сложных понятий, — с которыми затем сопоставляются данные естественных языков; 2) *т е о р е т и ч е с к и е* построения на основе некой «естественной логики», свойственной языкам (психо-механическая теория Г. Гийома, концептуальный план языка в теории Б. Потье и др.); 3) *л о г и к а а р г у м е н т а ц и и и р е ч е в ы х а к т о в*, разрабатываемая О. Дюкро и его последователями [10].

В данном обзоре мы остановимся на двух фундаментальных исследованиях, в которых подводятся итоги многолетних дискуссий по логико-лингвистическим проблемам и предлагается собственная оригинальная их трактовка. Это — исследование Ж. Клейбера [11] и книга Р. Мартена [12]. Эти работы в определенной мере дополняют одна другую, демонстрируя два разных подхода к вопросам лингвистической семантики.

Книга Ж. Клейбера представляет собой обширное исследование, в котором рассматриваются в историческом и критическом планах основные проблемы лингвистической референции. При изложении своей собственной концепции автор идет от общих проблем к более частным вопросам. В первой части книги обсуждаются следующие положения: имеют

ли референциальную функцию 1) все лексические единицы, 2) только существительные, 3) только именные синтагмы. Как это ни парадоксально, автор не считает указанные точки зрения несовместимыми. Он исходит из существования двух уровней референции: уровня внутривербальных потенциальных референтных свойств лексических единиц и уровня актуальной референции в речевых актах, осуществляемой говорящими. При этом доказывается, что актуальная референция слов зависит от их виртуальной референтной способности, понимаемой как отражение в смысловом содержании слов условий их соотношения с экстралингвистическим объектом. Подобная точка зрения расходится с мнением о том, что «референция характеризует употребление языка говорящими и не является свойством самих выражений» [13]. Ж. Клейбер не закрывает глаза на существенное различие между потенциальной референтностью языковых выражений и конкретным отнесением их к объектам мира в речи. Однако он считает возможным объединить их на общей основе. Референтные свойства языковых выражений обусловлены системой экзистенциальных пресуппозиций. Автор отдает себе отчет в том, что связывая значения лексических единиц с их виртуальной референтностью, т. е. с отношением к экстралингвистическому миру, нельзя обойти вопрос об онтологическом статусе языкового значения. Эта проблема в целом относится, по его мнению, к компетенции философии, лингвист же рассматривает ее только в интересующем его аспекте. Ж. Клейбер считает, что все лексические единицы, в том числе прилагательные, глаголы, существительные абстрактного значения, предполагают существование соответствующих референтов: свойств, действий, состояний. Природа этих виртуальных референтов, в том числе и виртуальных референтов конкретных существительных, носит чисто концептуальный характер. Виртуальные референты — концепты — представляют собой, по его мнению, абстрактные мыслительные сущности, еще не получившие грамматической категоризации [11, с. 24]. Различие между прилагательным, выражающим определенный признак, и соответствующим существительным обнаруживается не на уровне концептов, а на уровне их референтной функции в предложении. Если в предложении концепт *белый* должен занять референтную позицию, он принимает именную форму *белизна*. Сам же выбор референтной или предикатной позиции — дело говорящего, его пропозициональный акт. Таким образом, отношение между парами слов типа *белый* — *белизна*, *мудрый* — *мудрость*, анализируемое обычно в терминах лексической производности и номинализации, есть прежде всего отношение функциональной первичности. Первичная функция прилагательного — служить предикатом, и лишь на вторичном уровне, по аналогии с базовой структурой «индивидуальный объект — концепт», оно может в именной форме стать объектом, которому предписывается каков-либо свойство¹.

Какова же разница между концептом и означаемым? Она заключается, по мнению автора, в различной ориентации. Концепты — экстралингвистические сущности, которые противопоставляются другим экстралингвистическим сущностям, тогда как означаемые неразрывно связаны с языковыми единицами (ср., например, разное значение вопросов: *Что такое лошадь?* и *Что означает слово «лошадь»?*).

Хотя языки по-разному членят действительность, общность природы

¹ Разумеется, речь идет лишь о логическом отношении: употребление в референтной позиции существительного со значением свойства, не образованного от прилагательного (например, франц. *mansuetude*), осознается как вторичное [11, с. 104].

людей должна, как полагает Ж. Клейбер, приводить к некоторым константам в способе отображения в языке мира и его постоянных характеристик. Различие между языками находится в пределах этих констант. Так, универсальная классификация концептов по категориям — предметы, живые существа, свойства, действия — свидетельствует об определенном единообразии языкового отображения реальности. Эти соображения ведут к постулированию существования аксиоматических, неанализируемых единиц — поэм — более глубинных, чем семьи, и представляющих собой универсальные семантические элементы, свойственные всем языкам. В результате лексикализации — закодированного сокращения комбинаций первичных концептов — образуются семантически непрозрачные единицы, несущие пресуппозицию существования своих референтов. Создание лексических единиц, позволяющих называть вещи непосредственно, а не через их свойства, свидетельствует о важности соответствующих концептов для данной социально-культурной группы. Языковые концепты — виртуальные референты лексических единиц — приложимы ко множеству отдельных объектов. Отсюда делается важный вывод: языковые выражения не могут сами по себе идентифицировать единичные объекты без экстралингвистических знаний говорящих [11, с. 31]. Уровень концептов в отвлечении от грамматических характеристик выражающих их слов является исходным для референтных свойств языковых выражений. Предполагается, что отдельные классы концептов передаются преимущественно определенными разрядами слов, которые вместе с тем способны выражать и другие классы референтов. Это относится в первую очередь к существительным, обозначающим концепты не только пространственных объектов, но и качеств, действий, состояний и т. д.

В соответствии с природой виртуальных референтов выделяются два класса существительных: 1) категорематические и 2) синкатегорематические [11, с. 39]. Первый разряд подразделяется в свою очередь на индивидулирующие, обозначающие исчисляемые предметы, и глобализующие существительные, которые называют неисчисляемые объекты. Концепты, выражаемые категорематическими существительными, соотносятся с объектами, которые составляют однородную и устойчивую референтную категорию (*собака, снег*), причем у индивидулирующих существительных эта референтная категория понимается как класс референтов, состоящий из отдельных объектов. Концепты, выражаемые синкатегорематическими существительными, соотносятся с объектами, которые не образуют подобной однородной и устойчивой категории. Так, концепты слов *близина, мудрость* соотносятся с разнородными референтами: *близина снега, извести, белья* [11, с. 39]².

Поскольку индивидулирующие категорематические имена имеют пресуппозицию существования устойчивого референтного класса и поэтому референтно автономны, их референты представляются более реальными, чем референты синкатегорематических существительных. Именно на этом основано утверждение о том, что индивидулирующие категорематические существительные являются типичными референтными языковыми единицами.

Переходя к уровню функциональных единиц, автор показывает,

² Разделение существительных на категорематические и синкатегорематические не совпадает с оппозицией «конкретные/абстрактные существительные», т. к. среди синкатегорематических имен имеются и конкретные (*бег, стрельба, оттепель*), а среди категорематических — неконкретные существительные (*лингвистика, химия* и др.).

почему основную роль в референции обычно играют именные синтагмы — именные группы (ИГ). Полутно уточняется понятие актуализации. Во французском языке существительное актуализуется не на уровне ИГ путем его сочетания с артиклем или другим детерминативом, а лишь в высказывании при его отнесении к единичному объекту. Однако и в предложении не все сочетания существительного с детерминативами служат актуальной референции. Таковы имена в позиции предикатива в составном сказуемом (*je suis un homme*), а также в других конструкциях: *aucun homme n'est venu, il est faux que j'aie un ami* и т. д. В этих предложениях ИГ, по мнению автора, также имеют референцию, но не актуальную, ибо они не отсылают к единичным объектам [11, с. 74].

Таким образом, пресуппозиция существования, связанная со всеми лексическими единицами, модифицируется и уточняется при переходе от изолированного слова к ИГ в составе высказывания: все лексические единицы имеют пресуппозицию существования соответствующего концепта; категорематические имена (они составляют большинство слов этого разряда) предполагают существование автономной референтной категории и, наконец, ИГ имеют пресуппозицию существования непустого класса референтов. Уточнение экзистенциальной пресуппозиции интуитивно ощущается как усиление реальности объектов референции.

В рамках разграничения виртуальной и актуальной референции решается вопрос о референтности предикатов. Предикаты не имеют референции в пропозициональном смысле. Если предложение имеет две позиции (референтную и предикатную), то языковые выражения референтны только в первой позиции. С другой стороны, предикатное выражение, как и любая лексическая единица, имеет пресуппозицию существования соответствующего референта (например, свойства (*sagesse*) в предложении *Pierre est sage*).

Актуальная референция к единичным объектам, осуществляемая с помощью ИГ в позициях аргументов при предикате, подразделяется на два вида: единичная определенная (идентифицирующая) референция и единичная неопределенная (неидентифицирующая) референция.

Как же протекает акт референции к единичному объекту? Требование Дж. Серла и П. Стросона относительно того, чтобы говорящий мог, при необходимости, идентифицировать тот или иной объект, представляется автору слишком жестким. Интуитивное понимание единичного объекта как определенного заменяется более общей дефиницией: единичный объект должен рассматриваться говорящим как отличный от всех других предметов того же вида, причем это убеждение может основываться как на собственном опыте говорящего (именно он выделил объект), так и на переданном ему опыте других людей. Осуществляя такую референцию, говорящий верит в существование (реальное или фиктивное) и в единственность объекта или стремится внушить эту веру собеседнику. При этом используется не только значение (виртуальная референция) выражения, но и экстралингвистические знания об объекте. Убеждение говорящего в существовании и единичности объекта составляет прагматическую экзистенциальную пресуппозицию, связанную как с актом единичной определенной референции (это обычно не оспаривается), так и с единичной неопределенной референцией. В последнем случае говорящий, по мысли автора, устанавливает каузальную связь между своим собеседником и объектом референции, причем не только с помощью референтного выражения, но и всего высказывания. Так, услышав предложение *Un homme a escaladé le Mont-Everest*, служащий может, на основании инфор-

мации, заключенной в этом высказывании, идентифицировать референт (в каузальном смысле): *L'homme qui a escaladé le Mont-Everest* [11, с. 154—155] ³.

Рассмотрение референтных свойств определенных дескрипций (ОД) поднимает целый ряд проблем. Автор останавливается на трех вопросах: 1) семантико-логическое представление ОД, 2) их атрибутивное и референтное использование, 3) прозрачное и непрозрачное употребление ОД. Ж. Клейбер показывает, что ОД имеют не только прагматическую, но и семантическую пресуппозицию существования и единичности референта. Подробное обсуждение этого вопроса приводит автора к важному выводу: в естественных языках, где не существует абстрактных переменных, система пресуппозиций (от экзистенциальных пресуппозиций, связанных со всеми лексическими единицами, до пресуппозиций существования и единичности, свойственных определенным дескрипциям) избавляет говорящего от необходимости утверждать в каждом акте высказывания существование объектов референции. В логических языках это утверждение обязательно, т. к. здесь единственной пресуппозицией является существование переменных и предикатов [11, с. 211].

В связи с обсуждением референтной функции ОД автор высказывает свою точку зрения на продолжающуюся многие годы дискуссию об истинностном значении предложений с ОД, не имеющими реальных референтов, типа *Нынешний король Франции лжс*. Сторонники классической двужановой логики, вслед за Расселом, оценивают это предложение как ложное. Последователи П. Стросона видят в нем особый тип предложений — предложение с «истинностным провалом», которое не является ни истинным, ни ложным, поскольку содержащееся в нем утверждение относится к несуществующему объекту. Ж. Клейбер пытается показать, что между позициями сторон нет непримиримого противоречия. Но существу, анализируются два разных объекта: анализ Рассела касается логической пропозиции, тогда как Стросон рассматривает логическую структуру высказывания. Логик, который переводит это предложение естественного языка на язык логики и устанавливает его эквивалентность с высказыванием *Ныне существует один и только один король Франции, и он лжс*, вынужден признать анализируемое предложение ложным, ибо он располагает только двумя оценками — истина или ложь. Философы языка и вслед за ними лингвисты смотрят на вещи по-другому. Теория Стросона вскрывает семантические различия между эквивалентными с точки зрения логики предложениями: ложность предложения с нереферентным субъектом иного рода, чем предложения, в котором предикат ложен относительно субъекта.

Другой вопрос, рассматриваемый в книге, — это возможность двоякого употребления ОД, на которую обратил внимание К. Доннелан, разграничивший так называемые референтное и атрибутивное использования ОД. При референтном употреблении ОД служит просто средством выделения объекта и может быть заменена другой ОД или именем собственным. В широко известном примере Доннелана *Убийца Смита* — *сумасшедший* ОД может быть заменена, например, именем преступника — *Джонс*. При атрибутивном использовании ОД предикат прямо связан с содержанием, т. е. с отраженными в ней свойствами объекта. Поэтому ОД не может быть заменена другим обозначением. При атрибутивном прочтении приведенное высказывание интерпретируется следующим об-

³ Другую точку зрения отстаивает О. Дюкро [14].

разом: сам факт убийства или его обстоятельства приводят к выводу, что совершивший его человек — сумасшедший. Опираясь на разграничение референтного и атрибутивного употребления ОД, Доннелак пытался ввести уточнения в логическую характеристику предложений с периферентным субъектом. По его мнению, предложение *Нынешний король Франции мыс* не имеет истинностного значения только при атрибутивном прочтении ОД *король Франции*. Если же говорящий использовал эту дескрипцию референтно, например, ошибочно назвав королем Франции нынешнего французского президента, то предложение может быть признано истинным или ложным.

Разбирая лингвистические аспекты референтного и атрибутивного применения ОД, Ж. Клейбер вносит ряд уточнений, и в том числе следующие:

1) Как референтное, так и атрибутивное употребление ОД служит, по его мнению, целям референции к определенному единичному объекту, т. е. оба, по существу, референтны⁴. Различие между ними заключается в самом объекте референции: при референтном употреблении это — экстралингвистический объект, взятый как некое целое, при атрибутивном использовании — свойства объекта, отраженные в ОД [11, с. 236];

2) Атрибутивное употребление возможно только для ОД, которые могут выполнять функцию предиката;

3) Вводится дополнительное разграничение для ОД, референция которых зависит от места и времени использования, типа *король Франции*, *президент республики*, *директор лицея*. Различается «плавающее» атрибутивное использование (*usage flottant*), при котором референция производится к самому понятию должности (*Президент республики является главнокомандующим армии*) и «неплавающее» атрибутивное применение ОД (*usage non flottant*), при котором объект референции — лицо, занимающее должность, как таковое (*Президент республики перегружен работой*) [11, с. 250].

Автор отмечает, что хотя двусмысленность референтного или атрибутивного использования ОД возможна, она встречается крайне редко, поскольку возможность разночтений вступает в противоречие с некоторыми «законами дискурса», в частности с законом «максимальной информативности» (*exhaustivité*), подробно описанным О. Дюро. В данном случае максимальную информативность имеют те языковые выражения, которые позволяют слушающему наиболее точно идентифицировать объект референции, например, имя собственное, если оно известно. Поэтому при оценке ОД, которые могут иметь атрибутивное прочтение, слушающий будет склонен трактовать их именно как скрытые предикаты.

Другой вид двусмысленности ОД, который разбирается в книге Ж. Клейбера, это оппозиция их референтной «прозрачности/затемненности» в косвенных контекстах, т. е. в предложениях, вводимых глаголами говорения и глаголами пропозициональной установки (*dire, croire* и др.). Автор считает, что, в отличие от предыдущего случая, в косвенных контекстах объект референции один и тот же, но он получает разное обозначение в зависимости от того, чью точку зрения отражает избранная для его обозначения ОД — говорящего или субъекта пропозициональной установки. Возможность разночтений возникает при несопадении этих точек зрения. Так, предложение *Эдил хотел жениться на своей матери* может быть ложно понято слушающим, если он не знаком с драмой Софок-

⁴ Противоположного мнения придерживается Е. В. Падучева [45].

ла и не знает, что Эдип, намереваясь жениться на Иокасте, не знал, что она его мать. «Затемненное» использование ОД в косвенных контекстах, как и их атрибутивное употребление возможно только для ОД, которые способны занимать позицию предиката.

При исследовании референтных свойств имен собственных (ИС) автор исходит из своего основного положения: актуальная референция языковых единиц определяется их виртуальной референцией, т. е. значением в системе языка. Каково же значение ИС? По своему характеру они не дескриптивны, не несут никакой информации о свойствах объектов именования и этим коренным образом отличаются от имен нарицательных⁵. ИС, по мнению Ж. Клейбера, представляет собой сокращение предиката наименования, выражаемое формулой «именоваться (N) x» [11, с. 326]. Это значение — «единственный x, носящий имя N» — позволяет осуществлять актуальную референцию к единичному объекту.

Предлагаемая интерпретация противопоставляется как теории индивидуального значения ИС, так и теориям, сводящим языковую сущность ИС к их референтной функции в речи. Что касается связи между ИС и объектом, то она носит произвольный характер и восходит к экстралингвистическому акту наречения, знание о котором передается от одного говорящего к другому. В формуле ИС «именоваться (N) x» глагол *именоваться* имеет языковое, а не металингвистическое значение. Элемент (N) — переменная, гомоморфная означающему имени.

С позиций изложенной теории два имени, относящиеся к одному и тому же объекту, не синонимичны, хотя и кореферентны. Это объясняет, почему возможно высказывание *Он не знает, что Эверест — это Джомолунга*, тогда как высказывание *Он не знает, что Эверест — это Эверест* аномально. С другой стороны, высказывание *Поль танцует* имеет одно и то же значение, даже если оно относится к разным людям, носящим имя Поль.

Подводя итоги своего исследования, Ж. Клейбер показывает, что 1) многие проблемы, обсуждаемые обычно в логике и философии языка, получают свое разрешение, если подходить к ним с точки зрения лингвистики; 2) частные вопросы референции, такие, как референтность ИС, должны рассматриваться в рамках общей теории, которая указывает пути их решения и вместе с тем проверяется ими.

В книге Р. Мартена «К логике смысла» излагаются основы лингвистической теории, охватывающей язык в целом. Свою семантическую теорию Р. Мартен называет относительно-истинностной семантикой (*une sémantique véri-relationnelle*). Обосновывая свое стремление поставить исследование языковых значений на твердую почву, автор подробно рассматривает соотношение понятий истинности и смысла, поскольку мысль о том, что понятие истинности должно занять центральное положение в семантике, сама по себе отнюдь не очевидна. Семантика М. Бреая, С. Ульмана, историческая семантика, интерпретативная семантика Р. Джэкендоффа и семантика речевых актов почти полностью без нее обходятся. «На первый взгляд, — пишет Р. Мартен, — сближение семантики и категории истины даже противоречит здравому смыслу: предложения имеют смысл независимо от того, истинны ли они или ложны объективно» [12, с. 19]. К тому же целый ряд высказываний — вопросительные, побудительные, перформативные, дефинитивные и др. — не имеют истинностного значения. Однако, с другой стороны, бессмысленные высказыва-

⁵ Некоторая формальная специализация ИС для обозначения определенных групп объектов не может считаться их значением.

ния не могут быть ни истинными, ни ложными. Значит, истинностные характеристики предложения предполагают его осмысленность. Смысл предложения связан не с его объективной истинностью, а лишь с у с л о в и я м и его истинности или ложности. Именно таким образом «семантика условий истинности» объясняет осмысленность таких правильных, но неправдоподобных выражений, как *Я пробегаю 1000 метров менее чем за 10 секунд*. Между тем, в естественном языке не всегда возможно определить условия истинности предложений, особенно предложений абстрактного характера, не говоря уже о языке поэтических произведений, «находящихся по ту сторону истины и лжи» [12, с. 22]. Разрабатываемая Р. Мартеном относительно-истинностная семантика ограничивается изучением существующих между правильными и осмысленными предложениями истинностных отношений, судить о которых может любой человек, владеющий языком. Преимущества подобного подхода заключаются, по мнению автора, именно в том, что проблема смысла ставится не в абсолютных терминах — в этом случае она, по его словам, рискует быть неразрешимой, — а в относительном плане: задача заключается не в том, чтобы установить смысл предложения, а в том, чтобы определить, в каких истинностных отношениях оно находится с семантически связанными с ним предложениями. При этом исследуются отношения между прямыми, не зависящими от ситуации смыслами фраз. Ситуативные значения, столь же разнообразные и бесчисленные, как и сами ситуации, отнесены к совершенно иной области — к прагматике.

В изданной ранее книге Р. Мартена [16] были рассмотрены три вида отношений между предложениями: отношения логического вывода, антонимии и семантической эквивалентности. В книге «К логике смысла» круг изучаемых явлений значительно расширился, а методы исследования претерпели существенные изменения. В семантический анализ были включены новые понятия, частично заимствованные из многозначных логик: нечеткая истина, возможные миры, универсумы верований (*universes de croyance*), а также связанное с ними понятие аналитичности. В рамках относительно-истинностной семантики эти понятия, уже используемые в лингвистических описаниях, получили новое определение и применение.

Понятие аналитичности находится в центре семантической теории именно потому, что отношения между предложениями устанавливаются только в соответствии с их смыслом, не зависят от внешних условий и одинаковы для всех носителей языка. Аналитичность определяется как отношение между предложениями *p* и *q*, истинное для каждого человека, знающего данный язык, в любое время и в любом месте. Оно вводится в само определение относительно-истинностной семантики — семантики аналитических отношений между предложениями [12, с. 25].

В специальном разделе, посвященном категории истины, автор показывает, что в естественном языке истина относительна. Эта мысль проходит красной нитью через всю книгу. Лингвистическая истина относительна, ибо она допускает градации: предложение может быть более или менее истинным. Она модальна, т. е. связана с возможными мирами. Наконец, истина в языке утверждается говорящим, а это утверждение может не быть истинно объективно или с точки зрения слушающего, оно истинно в рамках определенного универсума.

Высказывание на естественном языке истинно в большей или меньшей степени в силу целого ряда причин. 1) Тот факт, что дискретные единицы языка членят континуум реальности, влечет за собой большую или мень-

шую неадекватность в отдельных зонах. 2) Нечеткость самих языковых обозначаемых связана как с континуумом полисемии (нечеткость разграничения значений полисемантических слов), так и с континуумом грамматических значений, что нашло свое отражение в гипотезе кинетизма Г. Гийома. Означаемое языковых единиц предстает как нечеткое множество различных по важности признаков. 3) В естественном языке возможно употребление слов с выборочным составом признаков (*usage sélectif*), например, в «тавтологических» предложениях типа *Деньги есть деньги*. 4) Значение слов варьируется у носителей языка в зависимости от их знаний, опыта, отношения к явлениям и т. д. Даже аналитические высказывания на естественном языке носят относительно-истинностный характер. Таковы словарные дефиниции, анализу которых, наряду с проблемами полисемии, автор посвящает вторую главу своей книги. Неопределенность словарных дефиниций связана как с их структурным многообразием, так и с различным набором смысловых элементов, через которые раскрывается содержание слов. Среди этих смысловых элементов, Р. Мартен теоретически разграничивает компоненты — универсальные предикаты, определители значений (в том числе дифференциальные компоненты — семы) и виртуэмы, выражающие необязательные признаки предметов и явлений. На практике же, замечает он, провести границу между этими разрядами весьма затруднительно, поскольку мнения носителей языка об обязательном или необязательном характере признаков существенно расходятся. Анкета, проведенная сотрудниками университета в Меце, показала, например, что ни один из признаков, отобранных для определения слова *auberge* «гостиница», не был признан опрошенными как обязательный.

Рассматривается также вопрос о поэмах — семантических примитивах, необходимых для аксиоматизации лексикографических определений. Если в книге «Идифференция, антонимия и парафраза» поэмы были определены как неделимые и неопределяемые единицы содержания, то в рассматриваемой книге поэмы понимаются как универсалии эмпирического порядка, отражающие некоторые физические, физиологические, антропологические и культурные данности реального мира, настолько важные для жизни человека, что они не могут не оставить своего отпечатка в языке. Автор склоняется к мысли о том, что универсальный характер носят не столько содержания поэм, сколько процедуры их выделения — операциональные универсалии, которые позволяют построить поэматические системы, способные охватить весь словарь языка.

Несомненный интерес (не только теоретический, но и практический) представляет разработка вопросов полисемии на основе компонентного анализа. Усилия автора направлены на систематизацию и частично формализацию известных логических отношений между значениями. У существенного выделяются следующие виды полисемии: 1) сужение значения, происходящее в результате прибавления видовых сем к исходному значению; 2) расширение значения при утрате видовых сем; 3) метонимическое отношение, при котором содержание исходного слова становится видовой семой производного значения; 4) метафорическое отношение, при котором идентичность по крайней мере одной из видовых сем обуславливает подобие значений. 5-й и 6-й виды полисемии основаны на прибавлении одних сем и одновременном утрате других. 5-й вид полисемии характеризуется идентичностью архисемем исходного и производного значений (*rayon* «луч» → «радиус»; в том и в другом случае архисемема — «линия»). В 6-м виде полисемии архисемема исходного и произ-

водного значений различны (*plateau* «поднос» → «плато», соответственно архисемемы «подставка» и «местность»). У глаголов различается внутренняя полисемия, имеющая те же разновидности, что и полисемия существительных, и внешняя полисемия, связанная с семантикой актантов и сопровождающаяся иногда изменением управления.

Далее в книге Р. Мартена показаны нечеткость означаемых языковых знаков, постепенный переход от одних значений к другим. В качестве примеров берутся употребления артиклей и некоторых других определителей существительного; рассматриваются также метафорические высказывания, основанные на таком использовании слов, при котором часть их содержания остается «в тени» и сохраняются лишь контекстуально релевантные признаки. Например, когда устанавливается эквивалентность человека и волка (*Человек человеку = волк*), то из всех свойств волка выбираются лишь те, которые могут относиться и к человеку. Метафора всегда характеризуется семантической неопределенностью, т. к. результат употребления слова с сокращенным набором признаков, как правило, остается имплицитным.

Относительная истинность высказываний тесно связана с понятием «возможного мира». Семантика возможных миров объясняется либо незнанием прошлого (*Возможно, что Пьер вернулся*) и его гипотетическим представлением (*Пьер вернулся бы вчера, если бы...*), либо неуверенностью, неотделимой от будущего (*Пьер вернется*). И в том, и в другом случае высказывание помещается в воображаемые условия, при котором оно может быть истинным.

Понятие возможного мира может трактоваться по-разному: либо как необусловленная совокупность непротиворечивых фактов (в этом случае реальный мир предстает как один из бесчисленного множества возможных миров), либо как мир, альтернативный реальному миру и отличающийся от него чертами, отраженными в одном или нескольких предложениях, истинность которых в реальном мире не подтверждается [12, с. 31—32].

Понятие возможного мира подчинено понятию универсума верований: истинное во всех возможных мирах не обязательно истинно во всех универсумах, т. е. для всех говорящих, и наоборот, высказывание может быть представлено как истинное во всех возможных мирах лишь в каком-либо одном универсуме. Универсум определяется как неопределенное множество предложений, которые говорящий в момент речи считает истинными или хочет выдать за истинные [12, с. 36]. Как уже отмечалось, истинность высказывания в естественном языке — это не объективная истина, она утверждается говорящим причем не имеет значения, верит ли он или нет в то, что говорит, ошибается ли или хочет ввести в заблуждение адресата.

Понятие универсума говорящего дополняется понятиями гетероуниверсума и антиуниверсума. Гетероуниверсум — это множество предложений, истинных для того, чью речь передает говорящий; антиуниверсум — множество предложений, которые ложны в определенный момент, но которые могли бы быть или которые можно представить себе истинными. Так, нереальное время создает антиуниверсум. Предложение *Si Pierre avait réussi ...* может быть истинным в контрфактическом мире. Понятия возможных миров, универсума говорящего, гетеро- и антиуниверсумов позволяют по-новому осветить такие хорошо изученные грамматические явления во французском языке, как будущее время, сослагательное наклонение и *conditionnel*, которое автор рассматривает

как время, а не как наклонение. Следует отметить, что различные случаи употребления грамматических форм анализируются с учетом вероятности их появления.

В последней главе книги, названной «Семантика и прагматика. Истина реального мира» Р. Мартен намечает пути перехода к проблематике, связанной с речевыми актами, т. е. областью, которую он называет собственно прагматикой. В семантическом компоненте выделяются два уровня и соответственно две функции: 1) на фразовом уровне (*niveau phrasique*) определяются приемлемость и смысл предложений, зависящий от условий их истинности; 2) на уровне дискурса предложение включается в связный текст. Когезия (связность текста) основывается на таких критериях, как изотопия анафора, общность пресуппозиций, которые принадлежат тексту как таковому и не зависят от экстралингвистической ситуации [12, с. 204—206].

Среди критериев текстовой связанности особое место занимает тема-рема-тическое членение. Выделение темы автор связывает с понятием пресуппозиции, в которое вносятся существенное уточнение: разграничение общих и частных (локальных) пресуппозиций. Общие пресуппозиции связаны с фактами экзистенциального или временного предшествования. Они обнаруживаются с помощью общего вопроса и фразового отрицания: предложение *Pierre est resté à Paris* имеет общую пресуппозицию *Pierre était à Paris*. Средствами выявления частных пресуппозиций служат частичный вопрос или отрицание одного из членов предложения *Le facteur vient de passer* (локальная пресуппозиция — *quelqu'un vient de passer*). Тема предложения, по мнению автора, есть не что иное, как его локальная пресуппозиция, которая уточняется только в контексте. При этом как локальные, тематические, так и общие пресуппозиции могут быть объективно информативны, они лишь представлены как неинформативные. Так, из предложения *L'an dernier, au Japon, Pierre a ...* адресат может узнать и то, что ему было, возможно, неизвестно, а именно, что в прошлом году Пьер был в Японии [12, с. 214].

Далее автор останавливается на разграничении темы и субъекта. Он выделяет четыре вида субъекта: логический, грамматический, семантический и тематический. Логический субъект — это чисто абстрактная единица, представляющая экстралингвистическую сущность, которая получает обозначение в языке. Грамматический субъект — это первый (или единственный) аргумент глагольного предиката. Семантический субъект совпадает с агенсом действия в теории глубинных надежд: *Sophie apprend par Pierre que ...* И, наконец, тематический субъект — это общая часть предложения и его локальной пресуппозиции. Вся проблематика тематизации и фокализации надстраивается над более глубинным уровнем, на котором предложение имеет инвариантный смысл: условия его истинности не зависят от этих операций [12, с. 229].

Что касается области прагматики, то в ней автор выделяет два различных раздела: иллокутивную и дискурсивную прагматику. Иллокутивная прагматика, являющаяся, в сущности, разделом семантики, занимается языковыми явлениями, которые «подготавливают» акты речи. Например, утвердительная или вопросительная формы предложения позволяют предвидеть утверждение или вопрос; слова *je, ici, maintenant* служат для уточнения «пространства высказывания» (*espace énonciatif*) [12, с. 228]. Другим важным понятием иллокутивной прагматики является детерминация (референция) с помощью артиклей, указательных, притяжательных местоимений и т. д. На уровне предложения детер-

минация происходит в чисто виртуальной ситуации, независимо от действительной референции в данном конкретном высказывании. Область собственно прагматики — это реальные высказывания в реальных ситуациях. Только такие высказывания могут быть оценены как истинные или ложные. Высказывание как результат конкретного речевого акта «навязывает» адресату представления, убеждения и верования говорящего. Например, высказывание *Он остался несмотря на возвращение Софьи* имеет пресуппозицию *Возвращение Софьи могло быть причиной его ухода*, которая дается как нечто само собой разумеющееся.

Интерпретативная прагматика объясняет пресуппозиционное и «ожидаемое» содержание высказываний, тогда как сами эти механизмы находятся в ведении семантики. Если же помимо этого аспекта высказывания учитывается вся совокупность ситуативных условий, имеет место реинтерпретация локутивного смысла высказывания (это ведет к установлению его действительного значения) и иллюкутивного действия (это ведет к перлокутивным, производным действиям). Например, высказывание *Я вернусь*, которое как предложение имеет иллюкутивный смысл утверждения, становится обещанием в устах гостя, комплиментом, адресованным посетителем ресторана его хозяину, угрозой, если оно произнесено домовладельцем, требующим квартплаты с жильцов, и т. д. Ввиду бесчисленного множества ситуаций возникает вопрос — кардинальный для определения прагматики как науки — о предсказуемости значений высказываний. На этот вопрос автор отвечает весьма осторожно. Прагматическая реинтерпретация может, по крайней мере частично, рассматриваться как лингвистика текста, где уточняются ситуационные данные; она использует данные других семиотик (мимика, интонация, жесты), связана со знанием законов дискурса (по Г. П. Грайсу), ее предсказуемость частично обеспечивается устоявшимся прагматическим использованием некоторых лексических элементов. И все же область прагматики столь неопределенна, что многие лингвисты предпочитают оставаться в рамках лингвистики текста.

Оценивая обе работы французских лингвистов в целом, можно, очевидно, отметить их стремление к широким обобщениям, приоритет, отдаваемый ими системным языковым явлениям, что выражается как в концепции референции Ж. Клейбера, в частности, в его положении о виртуальных референтах как основе актуальных референциальных актов, так и в расширении области семантики (за счет прагматики) в общей теории языка Р. Мартена. Отметим также, что хотя авторы избегают прямо ставить вопрос о соотношении языка, мышления и действительности, их анализ семантических явлений свидетельствует о том, что они подходят к этой проблеме с достаточно трезвых и реалистических позиций. Показательны в этом отношении описание Р. Мартеном содержательной структуры многозначных слов и его исследование группы лексем с целью обнаружения в словарном составе языка номинативных элементов, которые, напомним, рассматриваются им как эмпирические универсалии (87—90). Эти изыскания предполагают, по существу, отражающую природу языковых единиц. В тех же случаях, когда упускается из виду важность определенного решения проблемы мир — мышление — язык, это ведет к нежелательным последствиям. Так, Ж. Клейбер распространяет каузальную теорию С. Крипке, в которой акт наречения свободен от каких-либо гносеологических предпосылок [17], на все выражения, способные к актуальной референции, что фактически приводит в противоречие с его пониманием виртуальных референтов

как абстрактных сущностей, концептов. Глубоко прав был А. Рей, писавший в свое время, что «самое скромное описательное изучение содержания лингвистических форм поднимает всю совокупность общих проблем, туманно именуемых философскими» [18].

ЛИТЕРАТУРА

1. *Langages*. 1966. № 2: Logique et linguistique.
2. *Langages*. 1973. N 3: Logique et langage.
3. *Langages*. 1976. N 43: Modalités, logique, linguistique, sémiotique.
4. *Langages*. 1977. N 48: Quantificateurs et référence.
5. *Sémantique et logique*, sous la direction de Pottier B. P., 1976.
6. *Modèles logiques et niveaux d'analyse linguistique*. P., 1976.
7. *Langue française*, 1983. N 57: Grammaire et référence.
8. *Ducrot O. Dire et ne pas dire*. P., 1972.
9. *Martin R. The French contribution to modern linguistics*. P., 1975. P. 53.
10. *Martin R. Logique et sémantique du français // Le français moderne*. 1978. N 4. P. 298.
11. *Kleiber G. Problèmes de référence: descriptions définies et noms propres*. P., 1980.
12. *Martin R. Pour une logique du sens*. P., 1983.
13. *Линский Л. Референция и референты // Новое в зарубежной лингвистике*. Вып. XIII. М., 1982. С. 161.
14. *Дюкро О. Неопределенные выражения и высказывание // Новое в зарубежной лингвистике*. Вып. XIII. М., 1982.
15. *Падучева Е. В. Высказывание и его соотношение с действительностью*. М., 1985. С. 89.
16. *Martin R. Inférence, antonymie et paraphrase*. P., 1976.
17. *Петров В. В. Философские аспекты референции // Новое в зарубежной лингвистике*. Вып. XIII. М., 1982. С. 407.
18. *Rey A. Remarques sémantiques // Langue française*. 1969. № 4. P. 6.

РЕЦЕНЗИИ

Кузнецова О. Д. Актуальные процессы в говорах русского языка (лексикализация фонетических явлений). Л.: Наука, 1985. 180 с.

В настоящее время русская диалектология подвинулась на новую ступень изучения народных говоров. Уже имеются обстоятельные исследования системы фонетических и морфологических особенностей говоров. Последние три десятилетия составили особый период в собирании, накоплении, а также обобщении и изучении новых лексических материалов. Еще никогда русская диалектология не располагала такой мощной материальной базой, какой располагает она сегодня. Из последних предприятий, имеющих принципиальное значение для дальнейшего развития диалектологии, назовем составление в стенах Института русского языка АН СССР «Словаря русских народных говоров», 22 выпуска которого уже вышли из печати. Этот словарь содержит материалы, проливающие новый свет на развитие всех диалектных особенностей и, в частности, того интересного явления, которое представляет предмет изучения в рецензируемой работе.

Новый скачок в накоплении информации о диалектной лексике выявил массу новых фактов, которые нельзя объяснить действием лишь современных фонетических закономерностей и которые нуждаются в объединении и объяснении не как отдельные отступления от диалектной закономерности (что отмечалось иногда и ранее), но по возможности наиболее широко, с раскрытием причин и обстоятельств их появления.

Лексикализованными автор признает «...фонетические особенности, реализующиеся в отдельных словах, характеризующие фонематический состав конкретных слов и служащие их различительными индивидуальными признаками» (с. 5). Изучению в рассматриваемой монографии подвергаются только такие лексикализованные фонетические особенности, которые отразились в диалектных словах, имеющих тождественные по значению параллели в литературном языке, но отличающиеся от них фонематическим составом.

Задачи исследования О. Д. Кузнецовой многоплановы. Это «...комплексное изучение процессов лексикализации в русских говорах, выявление диалект-

ных особенностей, обусловленных этим процессами, пояснение характеристик, свойств и признаков таких особенностей, вскрытие причин и условий, вызывающих лексикализацию, определение места лексикализации фонетических явлений в языковой системе» (с. 7). Помимо этого, автор в число своих более конкретных задач включает выявление и введение в научный оборот всего разнообразия лексикализованных фонетических явлений, их классификацию, определение времени появления и территорий их распространения, особенностей употребления, взаимоотношений с другими регулярными и нерегулярными изменениями звуков и т. д. Как видим, круг поднимаемых и исследуемых в монографии вопросов многообразен и разнообразен.

Актуальность исследования обусловлена прежде всего почти полной неизвестностью причин и условий лексикализации фонетических явлений в русских народных говорах. Хотя мысль о существовании лексикализованных фонетических явлений уже высказывалась в русистике, однако причины возникновения и условия протекания этого процесса оставались нераскрытыми. Вместе с тем без тщательного изучения всего пласта слов с нерегулярными изменениями звуков не могут быть полными наши представления о лексическом составе говоров, а тем более о его особенностях, о регулярных и нерегулярных фонетических изменениях, о лексико-фонетическом варьировании, о взаимодействии элементов разных уровней языка. Познавание лексикализации как процесса исторического помогает восстановить прошлое состояние народных говоров, усичить закономерности их развития, их отличия от общенародного литературного языка.

Круг источников, из которых делались выборки материалов, широк. Среди них картотека Словаря русских народных говоров (более двух миллионов читат на 300 000 диалектных слов), другие картотеки, в том числе рукописные, фольклорные сборники, личные записи диалектной речи. Особенно внимательной выборке подвергались записи произведений устного народного творчества,

в которых оказались отраженными черты произношения сказителей.

Многоязычие состоит из четырех глав. Первая глава, в которой рассматриваются нерегулярные фонетические явления в говорах, во многом носит теоретический характер. Прежде всего речь идет о состоянии фонетической системы говоров и нерегулярных явлений. Автор приводит большое количество примеров, подтверждающих то, что реализация тех или иных диалектных особенностей происходит не прямолинейно, а с отступлениями, исключениями. Такой подход отражает очень важную черту русской диалектологии, восходящую к глубоким традициям отечественной русистики: с одной стороны, внимание к каждому отдельному факту речи и, с другой, исследование каждого факта на языковом уровне во всех его сложных системных отношениях.

Особо в этой главе рассматривается понятие лексикализации. По мнению автора, отличие фонетического явления от лексикализованного состоит в том, что первое ограничено позиционной обусловленностью и не ограничено возможностью реализации, а второе — не ограничено позицией, но ограничено реализацией в небольшом кругу слов. С этим мнением в принципе нельзя не согласиться, так как оно подтверждается многочисленными примерами из разных говоров разных хронологических срезов.

Далее О. Д. Кузнецова прослеживает отражение лексикализованных явлений в диалектных словарях и в описаниях говоров: в Опыт областного великорусского словаря, в Дополнениях к нему, в последующих областных словарях, авторы которых интуитивным путем отграничивали слова с нерегулярными изменениями звуков от слов, в которых нашли отражение фонетические закономерности говоров.

Первая глава заканчивается разделом, который содержит богатую коллекцию слов с лексикализованными фонетическими явлениями. В основу классификации, естественно, кладется фонетический принцип и в то же время учитывается положение лексикализованного звука в слове (в начале или в середине или в конце). Полуточное указание места записи дает возможность предварительно наметить территорию распространения и самих явлений, и тех или иных конкретных слов, в которых они нашли отражение. Сюда относятся, например, слова, отличающиеся количеством фонем: с отпадением начальных гласных *а*, *о*, *и* (*рестант*, *гурец*, *зголово*), с отпадением начальных согласных *с*, *з* и др. (*зелянуть*, *колязко*), с приставными начальными гласными *и* (или *о*), и (*аржаной*, *омзой*), *ульгота*) и т. д. и т. п.

Вторая глава посвящена лексикализованным особенностям, являющимся остатками старого фонетического явления. Автор прежде всего внимательно прослеживает предысторию изучения протетического *й*, составляет различные точки зрения на его характер, констатирует действительную утрату и архаичность его в современных говорах: *явим* — *овин*.

Большое место во второй главе занимает анализ севернорусских слов с *а* на месте *е* после шипящих (*жалезо*, *жаныш*). Он потребовал от автора особого внимания, так как соответствующие лексемы до сих пор недостаточно изучены и систематизированы.

В третьей главе рассматриваются лексикализованные особенности, возникшие на почве действующих фонетических явлений. Соответствующие наблюдения автора имеют принципиальное значение, ибо они открывают не известные ранее причины и условия лексикализации в говорах. Анализу подвергаются две группы слов: 1) с отпадением начальных гласных *а* и *о* (*кушерка*, *граном*); 2) с отпадением гласных в основе (*лукица*, *протаты*).

Материалы этой главы позволяют наглядно проследить протекание процесса лексикализации, увидеть многие из факторов, способствующих закреплению лексикализуемых явлений, восстановить исходную форму ряда диалектных слов (*моркотно*, *зидрога*).

Глава четвертая содержит анализ слов с диалектными суффиксами и префиксами. О. Д. Кузнецова исследует, в частности, процесс, недостаточно раскрытый даже в общих чертах — образование диалектных аффиксов фонетическим путем. Конкретно речь идет о приставке *ува-* и о суффиксах *-ану-* (*-ону-*) и *-об* (*а*).

Из описания глаголов, например с приставкой *ува-*, явствует, что они представляют сравнительно небольшую группу слов, называющих обычно каждодневные конкретные действия (*ува-брат*, *ува-знать*), имеющих односложный состав (*бить*, *знать*), ударение на основе и некоторые другие специфические черты. Восходя к приставкам *е-* и *у-*, приставка *ува-* сохраняет их семантические особенности. «Образование новых слов в данном случае, — указывает автор, — происходит необычным способом: не путем присоединения форманта к основе, а путем изменения внешнего облика форманта — префикса» (с. 132).

Положительным моментом в работе О. Д. Кузнецовой выступает также то, что описание материала в ней проводится не с формально-синхронных позиций, а диахронно-синхронных. Это дает возможность исследователю показать рас-

смаатриваемые лексикализации в развитии, в причинно-следственных связях с другими языковыми явлениями, без чего все описание было бы во многом формализованным и омертвленным.

Наряду с достоинствами в описании исследуемого материала в монографии О. Д. Кузнецовой есть некоторые неполадочности. К ним мы относим:

1) Нарушения принципа отбора материала для анализа. На с. 34 автор специально оговаривает, что из объекта исследования исключает слова, которые отличаются от соответствующих литературных не только своими фонетическими, но и другими особенностями, например, родом, парадигмой (типа *аблок* — *аблоко*). Это делалось исходя из того, что исследование явлений в «чистом» виде способствует более четкому выделению их сущности, их свойств. Вместе с тем в материалах монографии неоднократно встречаются слова, в которых нашли отражение одновременно фонетические и словообразовательные особенности. Например, слова *ладки*, *жирбаки* отличаются от *олады*, *ожерелье* как отсутствием начального *о*, так и суффиксальным оформлением; *переде*, *спалакать* отличаются от *переди*, *всплакнуть* и отсутствием начального *в*, и суффиксами (с. 36); *аржавинный* от *ржавый* — начальным *а* и суффиксом; *аграмадный* от *громадный* — начальным *а* и окончанием (с. 37); *сплодотвять*, *сподульшенькая* от *полотать*, *гульничая* — как начальным *с*, так и соответственно суффиксом (*-ша-*) и суффиксом и приставкой (*по-* — *-еньк-*) (с. 38) и т. д.

2) Неразграничение в ряде случаев диалектных лексикализованных явлений, распространенных действительно только в говорах, и общенародных, просторечных явлений (типа *работария*), собственных разговорной речи недостаточно образованной части населения, лиц, невнимательных к своим речи, в частности, при убыстренном ее темпе. Так, в монографии приводится как пример слова с выпадением корневого гласного образование *борновать*. Однако оно не может быть признано диалектизмом, так как пропуск в нем *о* — результат сильной редукции во втором предударном слоге и тенденции к словообразованию сорного *р*, возможной в речи, да еще убыстренной, многих людей, независимо от места их рождения и проживания. То же самое следует сказать об образовании *вихорь*, относимом в монографии к диалектизму. Произнесение гласного между двумя согласными, только переданного собирателем через орфографическое *о* (возможно, по аналогии с распространенными словами на *-орь* — *жорь*, *аскорь*, *якорь*), свойственно большинству

говорящих на русском языке и также не может быть признано диалектным явлением. Количество подобных примеров можно было бы увеличить.

3) Нередкое неразграничение общераспространенных в говорах, постоянно присутствующих, именно лексикализованных диалектных явлений и индивидуальных, случайных искажений слов, свойственных отдельным носителям говоров и не вошедших в массовое употребление. Например, о том, что в говорах наречие *едва* произносится как *о́два*, а глагол *держать* как *до́ржать*, свидетельствуют многочисленные записи на разных территориях. В противоположность этому такое произношение, как *а́дучь* — *стучать*, *гара́жен* — *графин*, *госпита́тель* — *воспита́тель*, зафиксировано по одному разу, что ставит под сомнение принадлежность этих слов соответствующим говорам, а говорит скорее об их употреблении в индивидуальной речи.

4) При утверждении автором своей точки зрения на рассматриваемые диалектные фонетические явления недостаточное внимание в отдельных случаях уделяется другим концепциям, содержащимся в литературе и позволяющим трактовать эти явления иным образом (см., например, [1]).

Сделанные замечания не умаляют достоинств рецензируемой работы, а наоборот, подчеркивают те большие трудности, которые связаны с исследованием актуальных процессов в говорах русского языка, в частности, лексикализациями нерегулярных изменений звуков.

Таким образом, изучение разных типов лексикализованных явлений показало, что они могут появляться не только вследствие отмирания старых фонетических закономерностей, как считалось ранее, но и по другим причинам. Обнаружилось многообразие причин их возникновения. Лексикализованными могут быть отклонения, исключения из регулярных особенностей, «обратные» мены, результаты фонетических процессов ассимиляции и диссимиляции, метатезы, вставки гласных и согласных, явления, вызванные основными тенденциями в развитии диалектных систем. Эти, как и другие теоретические выводы автора, обогащают научное представление об одном из интереснейших процессов, происходящих в словарном составе русских народных говоров, — процессе лексикализации.

Максимов В. И.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бромлей С. В. Лингвистическое содержание понятий «центральные» и «периферийные» говоры // Проблемы изучения русских говоров вторичного образования. Кемерово, 1983.

Рецензируемая книга относится к новому и малоразработанному направлению в русистике — исторической деривационной морфологии, предметом которой является соотношение словообразования и формообразования в их динамике. В настоящее время это единственная в русистике обобщающая работа о взаимосвязанных процессах в субстантивном словообразовании и словоизменении.

В последние десятилетия словообразование исследуется прежде всего как особый языковой уровень. Это способствовало разработке теории и принципов описания синхронного словообразования. В то же время теснейшие связи словообразования с морфологией и синтаксисом, лексикой во многом еще остаются не выявленными. Изучение этих связей как в диахронии, так и в синхронии — одна из актуальных задач теории языкознания и научного описания языка.

На конкретном материале автор убедительно доказывает, что ряд общих свойств, присущих словообразованию и формообразованию, дает возможность рассматривать их как подсистемы одного, морфологического, уровня. Суффиксы, будучи своего рода «предокончаниями», теснейшим образом связаны со словоизменительными классами существительных. Однозначность / неоднозначность связи субстантивного суффикса с морфологическими категориями существительных определяет специфику словообразовательной семантики производных, а также возможность / невозможность их морфологического варьирования.

В монографии рассматривается словообразование существительных на протяжении XI—XVII вв. в связи с развитием и становлением грамматических категорий рода, числа, падежа, категории одушевленности / неодушевленности, выявляется роль словообразования в организации лексико-грамматических разрядов существительных, прослеживаются исторические изменения в словообразовании различных лексических групп существительных в разные периоды истории русского языка. Описание изменений в субстантивном словообразовании производится по синхронным срезам. Выделяются 1) исходная система (X — нач. XI вв.), 2) древнерусский (XI—XIV вв.) и 3) старорусский (XV—XVII вв.) периоды. Исследование построено на огромном фактическом материале памятников письменности разных жанров XI—XVIII вв., данных диалектологии и лингвистической географии. При этом последовательно разграничиваются факты, характерные для языка книжно-письменного типа и для

языка народно-разговорного типа. Анализ материала проводится в направлении от «средств к функциям» и от «функций к средствам» сравнительно-историческим и синхронно-сопоставительным методами, методами исторической интерпретации изоглосс Диалектологического атласа русского языка. Относительная хронология рассматриваемых явлений уточняется и путем сопоставления словообразовательных моделей с одинаковыми формантами в нарицательной и ономатической лексике.

Функциональный анализ субстантивных суффиксов (гл. 1) позволяет автору дать новую, оригинальную классификацию суффиксов в зависимости от той морфологической нагрузки, которую они несут, вскрыть тесную взаимосвязь морфологических и деривационных функций субстантивных суффиксов, представить иерархию различных групп суффиксов в зависимости от наборов присущих им функций. На основании однозначной / неоднозначной связи суффиксов существительных с частью речи, грамматическим родом, типом склонения выделяются: 1) суффиксы, общие для существительных и других именных частей речи (прилагательных, причастий, числительных, местоимений) — общенменные (ОС), 2) суффиксы, специфичные только для словообразования существительных — частноименные суффиксы (ЧС). ЧС подразделяются на подгруппы суффиксов, однозначно связанные с родом и типом склонения (ЧС¹), родом (ЧС²), типом склонения (ЧС³) и не однозначно связанные с родом и типом склонения (ЧС⁴). Центральное положение в словообразовании существительных занимают суффиксы, однозначно связанные с грамматическим родом и типом склонения. Они представляют наиболее многочисленную группу и образуют слова только с одним из присущих существительным семантических типов словообразовательных значений — либо мутационным, либо модификационным, либо транспозиционным. Так, все слова типа *зодати* в древнерусский и старорусский периоды представлены наименованиями лиц мужского пола со значением «носитель процессуального признака, названного производящей основой» и принадлежат к одушевленным сущ. муж. рода. Все слова на *-ие* в своих первичных значениях обозначают отвлеченный от носителя процессуальный признак. К числу периферийных относятся суффиксы, не являющиеся формальными показателями рода и склонения, а также определенного типа семантических отношений между производными и произво-

дациями (ЧС², ОС). У ОС отсутствуют собственно морфологические функции, они указывают лишь на производность слова, на его отношение к другому слову. Принадлежность суффиксов к той или иной группе исторически изменчива. Выявляется, что чем больше морфологическая нагрузка субстантивных суффиксов, тем больше их деривационная нагрузка, и наоборот. В русском языке постепенно растет число продуктивных суффиксов с наибольшей нагрузкой и сокращается число суффиксов с наименьшей морфологической нагрузкой.

В тесной связи со словообразовательной структурой слова, продуктивностью отдельных суффиксальных словообразовательных типов происходят изменения в истории грамматической категории рода (гл. 2). Между грамматическим родом и словообразовательным суффиксом устанавливаются однозначные отношения: суффикс становится показателем грамматического рода имени существительного. В связи с этим прекращается производство слов разного рода от одних и тех же основ с тождественными формантами. Так, уже в древнерусском языке единичным образования типа *бы-ть* и *бы-то* «имущество», *бы-ть* (жен. род) «бытие». Родовые варианты характерны для существительных производных (или слов с опрошенной основой), если им не свойственны признаки пола, и слов, образованных с помощью формантов, употребляемых не только при словообразовании существительных, но и других частей речи (-а-, -и-, -ы-, -т- и др.). Регулярность девербативов с нулевым суффиксом мужского, среднего и женского рода в древнерусском и старорусском языках объясняется многозначностью мотивирующих глаголов, наличием различных лексико-семантических вариантов производящего глагола. В дальнейшей истории русского языка производные лексемы разного грамматического рода, первоначально являющиеся вариантами, либо утрачиваются (один из вариантов), либо при определенных условиях (сохранении структурно-семантической связи с производящими, многозначности) вступают в отношения синонимии и далее функционируют в качестве разных лексем. При продуктивности девербативов разного грамматического рода и однородности их словообразовательной структуры наблюдается тенденция к дополнительному распределению производящих основ на лексическом уровне. Признак грамматического рода становится существенным не только для словоформ существительных, но и для дифференциации лексем. К XIII—XIV вв. суффиксы субъективной оценки, не образующие новых по смыслу слов, утрачивают связь с грамматическим родом

и типом склонения (суф. -ишьк-, -еньк-, -ежк- и др.). К концу XVII в. суффиксы субъективной оценки перестают быть показателями среднего рода, их грамматический род, как и других существительных с оценочными суффиксами, начинает определяться родом производящего существительного.

Формирование категории одушевленности/неодушевленности также связано с изменениями словообразовательных типов личных имен существительных (гл. 3). Формирование категории одушевленности рассматривается в связи с категорией лица. Категория лица/не-лица, свойственная древнерусскому языку, выделяется прежде всего на лексическом уровне средствами словообразования. Показателями лица и мужского пола являются в древнерусском языке суф. -а-¹, -ар-¹, -а-², -и-², -тея-¹ и др. (ЧС¹) (*тъкаль*, *виноградарь*, *врачъ*, *вочичъ*, *учительъ*). Неличные существительные с указанными суффиксами в древнерусских памятниках отсутствуют. Личным существительным муж. пола по большей части соответствует грамматический мужской род. Дополнительным средством выделения наименований лиц мужского пола является форма Р-В пад. ед. числа. Относительная слабость словоизменительных средств выражения категории одушевленности/неодушевленности в древнерусский период компенсируется дифференциацией суффиксов. Кроме того, личные и неличные имена с суффиксами других групп (-ик-, -ыч-, -ък-, и т. д.) обычно не производятся от одного и того же слова. С усилением словоизменительных средств выражения категории одушевленности/неодушевленности становится возможным производство личных и неличных существительных муж. рода с помощью одних и тех же суффиксов, т. е. идет процесс объединения личных и неличных существительных в один словообразовательный тип. В старорусский период происходит ряд изменений в словообразовании существительных женского рода. С формированием категории одушевленности/неодушевленности растет удельный вес словообразовательных коррелятов имен мужского и женского рода. С завершением формирования категории одушевленности/неодушевленности становится возможным образование названий лиц женского пола по образцу продуктивных словообразовательных моделей, а не непосредственно от наименований лиц мужского пола. С развитием категории одушевленности/неодушевленности связано и формирование существительных общего рода, в деривации которых участвуют суффиксы, либо однозначно не связанные с родом и типом склонения, либо однозначно связанные только с типом

склонения на -а, но не с родом. В старорусский период слова общего рода образуются или с помощью экспрессивных суффиксов от стилистически нейтральных слов (ср.: *продолжа, скупала*), или с помощью стилистически нейтральных суффиксов от экспрессивных слов или слов с отрицательной оценочной характеристикой (*невеща, льяница*). Основную массу слов общего рода в старорусский период составляют образования с экспрессивными суффиксами, однозначно связанными с типом склонения (ЧС⁴).

Взаимодействие словозменения с семантико-словообразовательными особенностями существительных выявляется и в развитии категории числа (гл. 4). В монографии определяются закономерности, с которыми связаны словозменительные формы числа с полной и неполной числовой парадигмой. Так, словозменительные формы числа полной парадигмы характерны для слов-derivатов с мутационным СЗ, транспозиционным СЗ действия/состояния и модификатов, в значении которых не входит семантический признак количества. Неполная числовая парадигма ед. числа характерна для транспозитов со значением отвлеченного качества, а также дериватов, словообразовательному значению которых присущ признак нерасчлененности (вещественным и собирательным именам). Исполная числовая парадигма мн. числа характерна для дериватов, в СЗ которых входит признак множественности в сочетании с признаком разнородности (ср.: *остатки, убытки*). Нейтральными родовых различий во мн. числе способствует формированию словообразовательных типов плюративов, суффиксы которых не являются показателями рода и типа склонения. Особенно интересны наблюдения автора, связанные с категорией числа собирательных существительных. Устанавливается, что между средствами словообразования и словозменения, выражающими одно и то же значение или имеющими общую семантическую часть, складываются отношения дополнительного распределения. Так, к концу древнерусского периода собирательные существительные типа *братья* начинают конкурировать с исконными формами мн. числа производных слов. Общность признака множественности у собирательных существительных и словоформ мн. числа производных имен. рост употребительности в деловом языке старорусского периода форм мн. числа типа *коля* обуславливает угасание продуктивности первичных собирательных существительных типа *колье* и формирование вторичных собирательных имен с ЧС¹ (*-сте-о, -щик-а, -от-а* и др.).

Развитие типов склонения также связано с изменениями в словообразователь-

ной структуре имен существительных (гл. 5). Исследование показывает, что противопоставление типов склонения в разные исторические эпохи зависело не только от распределения существительных по роду, но и от принадлежности производных к определенному словообразовательному полю. Процесс упрощения субстантивного словозменения сопровождается усложнением систем словообразования, усилением продуктивности живых словообразовательных моделей. Утрата типов склонения *яа -а, -и* (муж. р.), основ на согласный связана с тем, что уже к XI в. в древнерусском языке к ним принадлежат почти исключительно слова или непроизводные, или с суффиксами, утратившими деривационные функции. Ослабление противопоставления типов склонения существительных в плане выражения (сокращение словозменительных классов, унификация типов склонения во мн. числе, рост явления надежного синкретизма) сочетается с усилением семантической оппозиции словообразовательных типов разных субстантивных классов. Для разных словозменительных классов постепенно становятся специфичными типы семантических отношений между производным и производящим. Для существительных мужского склонения (типа *конь, столе*) продуктивны образования с мутационным СЗ носителя признака; среднего рода (типа *село, поле*) продуктивны дериваты с транспозиционным СЗ (прежде всего подтип СЗ отвлеченного процессуального признака); для склонения женского рода (типа *кость*) продуктивны экспрессивы с мутационным СЗ носителя признака, образовании с транспозиционным СЗ (прежде всего отвлеченного качественного признака).

Объем реценции не позволяет нам коснуться ряда вопросов теории словообразования, получивших в монографии оригинальную трактовку (специфика словообразовательного значения, вопросы синонимии, омонимии, полисемии в словообразовании).

В целом монография Ю. С. Азарх представляет собой серьезное, самостоятельное исследование, объединяющее в себе конкретный анализ огромного материала (исторического, диалектного, в ряде случаев современного русского языка) и теоретическое его осмысление. В каждой главе содержится впервые сделанные автором общие и частные наблюдения относительно взаимосвязи подсистем словообразования и словозменения. Выводы и обобщения вносят новое не только в теорию и методику исследования исторической грамматики русского языка, но и в теорию общего языкознания. Некоторые теоретические положения впервые вводятся в языковедскую практи-

ку. Наиболее важные из них: 1) оформлению морфологической категории средствами словообразования предшествует период ее функционирования как категории лексико-словообразовательной; 2) между словообразованием и формообразованием при выражении ими одного смысла существуют отношения дополнительного распределения; 3) параллельно с процессом упрощения системы словоизменения существенных идет процесс усложнения системы словообразования этой части речи, т. е. оппозиция словоизменительных классов усиливается с помощью средств словообразования. Впервые вскрыта функциональная неоднородность субстантивных суффиксов, зависимость между словообразующими и формообразующими функциями суффиксов существительных. Продуктивность словоизменительных классов связана с принадлежностью к ним словообразовательных типов, суффиксы которых обладают наибольшей функциональной нагрузкой.

Некоторые положения автора являются дискуссионными, что вполне естественно для такого труда. Так, вызывает возражение выделение частной группы суффиксов *-мен-, -ес-, -ат-, -ер-* (ЧС⁸),

которые в древнерусский период уже утратили свои словообразующие функции и стали формативными основ чисто морфологического характера.

Нет достаточно четкой дифференциации и соотносительности в характеристиках словообразовательных значений, выделяемых автором: частное и общее, семантико-словообразовательное и лексико-словообразовательное. Соотношение всех видов словообразовательных значений (в ряде случаев спорное) дано лишь в выводах, что затрудняет чтение книги. Спорным является отнесение ряда образований к конденсатам. Возможны замечания по поводу некоторых морфологических характеристик отдельных суффиксов. Затрудняет чтение обилие сокращений, часть из которых не является необходимой.

В целом же результаты проведенного исследования найдут разнообразное практическое применение в научно-исследовательской работе в области истории русского языка, при чтении университетских курсов, спецкурсов по истории русского языка, при подготовке учебных пособий для вузов.

Шелузова Н. Т.

Сукунов Х. Х. Структурно-типологический анализ развития национально-русского двуязычия (На материал кабардино-черкесского языка). Нальчик: Эльбрус, 1984. 209 с.

Национально-языковые вопросы в Советском Союзе изучаются достаточно интенсивно и разносторонне. Однако на определенном этапе в языковых процессах возникают новые проблемы, решать которые можно, только всесторонне исследуя тенденции языковой жизни всей семьи социалистических наций и народностей СССР. Характерные для социалистического общества взаимосвязь, взаимобогащение и взаимопонимание вызывают в языках народов СССР изменения, способствующие более тесному единению и развитию наших народов и их языков.

Рецензируемая книга представляет собой первую попытку социально-лингвистического и структурно-типологического анализа кабардинско-русского двуязычия. Она состоит из введения и четырех глав.

Во введении (с. 3—40) раскрываются методологические и теоретические основы исследования, отмечается возрастание роли национально-русского двуязычия, излагается краткая история развития адыгско-русского двуязычия.

Анализ кабардинско-русского двуязычия дается в контексте социальных факторов взаимодействия русского и кабардинского языков и с учетом условий формирования и развития младописьменно-

го кабардинского литературного языка.

Принципиально важным и новым в работе является то, что в первой главе «Основные структурно-типологические особенности русского и кабардинского языков и принципы их конвергентного и дивергентного анализа» (с. 41—77) проводится конкретный системный анализ звукового строя двух языков. Структурно-типологическая характеристика особенностей фонологических систем и фонетических процессов в них дается с учетом четырех взаимодействующих процессов: а) внутреннего развития родного языка, б) взаимодействия двух неродственных языков, в) интерферентного влияния второго языка на первый (родной), г) интерферентного влияния первого на второй.

Под структурно-типологическим анализом языковых систем Х. Х. Сукунов понимает биллингвистическое описание, определяемое как установление сходств и различий, схождения и расхождений между русским и кабардинскими языками. Системная характеристика сходств и схождения в анализируемых языках осуществляется применительно к языковым фактам и явлениям двух типов. Это 1) типологически тождественные или однородные, близкие факты и явления, характерные для второго и первого языков, —

сочетания согласных в начале слова: *бд, бр, вв, вд, вж, вз, дв, зв, эд, пс, пт, сс, ст*, в середине слова: *бз, бж, нд, рж*, в конце слова: *мтз, рт, рс, рц, рц, пс, ст*; в обоих языках имеется большая группа исконных слов, у которых совпадают полностью или частично основные обобщенные значения; полное совпадение общего значения имени существительного, наличие однотипных способов словообразования, полное или частичное совпадение значений и функций словообразовательных аффиксов: русск. -б-, -от- и каб. -гъз в лексемах типа *хороба — къуангъа, молотыа — къуангъа, мухота — дагугъа, пустота — къуангъа; телъ, —ец, —къуа: писатель — тхакъуа, искатель — къыгъуа, творец — угуагъуа*; в образовании форм превосходной степени прилагательных: *красе-ейш-ий — дагъ-клей, нов-ейш-ий — щъа-рыш* и т. д. и 2) конвергентные особенности, являющиеся продуктом языковых контактов.

В работе подчеркивается, что в результате контактирования русского и кабардинского языков, а также в силу территориальной близости, культурных, этнических, социальных и прочих связей в кабардинском языке появилось большое количество сходных языковых признаков, произошли структурные схождения, которые обусловлены не родством данных языков, а приспособлением к одинаковым социальным условиям существования. Так, в процессе массового усвоения интернациональной социально-политической, научно-технической и общекультурной лексики с соблюдением орфографических и орфоэпических норм русского языка в речи билингвов обнаруживаются некоторые русские проносительные навыки, необычные фонологические явления [новые фонемы (*ж, ш, ц, э, ю*), сочетания фонем, звуковые комплексы в начале, середине и конце слова (*бл, рб, рд, нк, ск, кс*), многочисленные начальные интернациональные префиксы (*авиа-, авто-, бета-, зоо-*...) и постпозитивные (*-изм, -скоп, -загр, -граф*...) блоки, аффиксы, компоненты сложных слов].

Указанные факты способствуют возрастанию информационной нагрузки согласных и гласных фонем не только за счет увеличения их качества, но и благодаря тому, что уже существующие фонемы начинают употребляться в позициях, где они в исконных лексемах не встречались.

При системной характеристике различий и расхождений между русским и кабардинским языками учитываются языковые факты и явления также двух типов: 1) исконные типологические различия, существующие в обоих языках и 2) приобретенные расхождения, являющиеся результатом языковых контактов.

Во второй главе «Конвергентный и ди-

вергентный анализ фонологических систем основных компонентов билингвизма» (с. 78—153) на основе характеристики артикуляционных баз и сопоставительно-типологического анализа звуковых систем русского и кабардинского языков выявлены общие для сопоставляемых языков специфические фонемы и особенности их реализации. При этом особое внимание уделено дистрибутивному разбору конвергентных и дивергентных явлений, характерных для контактирующих звуковых систем. Также представлен большой фактический материал, иллюстрирующий сочетания согласных с согласными и гласных с согласными. Х. Х. Сукунов показывает, что отмеченные структурно-типологические сходства и различия, схождения и расхождения могут проявляться и на других языковых уровнях: лексико-семантическом, морфологическом и синтаксическом.

В третьей главе «Конвергентный и дивергентный анализ фонетических процессов в русском и кабардинском языках» (с. 154—168) описаны типологически сходные и специфические для обоих языков явления живых фонетических процессов в области консонантизма и вокализма.

В четвертой главе «Билингвистический анализ акцентных систем русского и кабардинского языков» (с. 169—191) автор выявляет конвергентные и дивергентные особенности, присущие уровням акцентологии и интонации предложения в сопоставляемых языках. Значительное внимание в главе уделяется изучению интерферентных ошибок, встречающихся в русской речи кабардинцев-билингвов, основной причиной существования которых являются многочисленные расхождения в системах словесного ударения и интонации предложения русского и кабардинского языков. Кроме того, отмечаются и факты, свидетельствующие о некоторых схождениях в акцентологии этих языков, они служат продуктивной основой дальнейшего развития кабардинско-русского двуязычия.

Билингвистическая конвергенция в рассматриваемой книге представлена как явление, способствующее взаимообогащению контактирующих языков. В условиях интенсивного развития двуязычия и тесного социального и речевого взаимодействия представителей русского и кабардинского народов происходит взаимное влияние их языков. Русский язык оказывает значительное влияние на кабардинский, особенно в области лексики. Рассматривается и обратный процесс — заимствование слов русским языком из кабардинского. Так, по мнению Х. Х. Сукунова, достоянием русского языка стали зафиксированные во многих словарях кабардинские слова: *абрек, нагзан, га-*

зыри, шашка, тамада, а также топонимы Анапа, Моздок, Машук, Туапсе и др., которые через русский язык вошли и в другие языки народов СССР.

Вместе с тем в рецензируемой монографии имеются и недостатки. Отметим некоторые неточности при анализе слов иноязычного происхождения. По мнению автора, лексемы *аманат* «аманат», *кхамы* «кхамы» заимствованы из русского языка (с. 75). Известно, что эти слова вошли в кабардинский (как и в русский) из тюркских языков (см. [1]). Морфемы *ник*, *чик*, *шик*, вошедшие в кабардинский язык в составе отдельных русских лексем, не являются суффиксами, потому что не заимствованы производящие основы таких слов, как *отличный*, *разведка*, *габой*, *круг* и др. (с. 68).

На с. 142—153 много таблиц. На наш взгляд, ради стройности композиции кни-

ги их следовало бы поместить в приложения или же привести только сводные, наиболее важные.

В заключение отметим, что автор подверг анализу большой фактический материал. Результаты исследования, несомненно, окажут большую помощь научным сотрудникам, преподавателям русского и родного языков и всем, кто интересуется проблемами развития национально-русского двуязычия и общей теорией билингвизма.

Чекаев К. З.

ЛИТЕРАТУРА

1. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. М., 1964. Т. I. С. 75; Т. II. М., 1967. С. 176.

Цова-тушинско-грузинско-русский словарь / Сост. Кадагидзе Д. и Кадагидзе Н. Под ред. Чикобава Арс. Тбилиси: Меджнерба, 1984. 935 с.

Цова-тушинский (или бацбийский) язык — один из бесписьменных иберийско-кавказских языков. Его двуязычные носители компактно представлены в единственном селе Земо-Алвани (Ахметский район ГрузССР). Выход в свет этого уникального словаря, содержащего 7 088 словарных единиц, означает исчезновение еще одного белого пятна на лингвистической карте Кавказа.

Будучи первым словарем цова-тушинского (бацбийского) языка, он, несомненно, станет настольной книгой для каждого кавказоведа. К сожалению, тираж словаря составляет всего 800 экземпляров, вследствие чего он сразу стал библиографической редкостью.

Создание данного словаря началось еще в конце XIX в. и длилось около ста лет. Вначале над ним долгие годы работали авторы — отец и сын Д. Н. и Н. Д. Кадагидзе, затем их дело продолжили сотрудники Института языковедения АН ГрузССР под руководством Р. Р. Гагуа. Это дало возможность тщательно пересмотреть и проверить весь состав словаря, выделить самые употребительные лексические единицы, четко изложить значение каждого слова, снабдить его определенным грамматическим аппаратом и сопоставить с параллелями из грузинского и русского языков. Для написания цова-тушинской лексики используется грузинский алфавит, здесь же приводится ее латинская транскрипция, переводы представлены грузинским и русским шрифтом.

Словарь снабжен пояснениями относительно принципа построения словарных

статей. Вкратце он состоит в следующем: после основного слова на цова-тушинском языке дана его грамматическая характеристика, затем фонетические варианты (если таковые имеются), далее — транскрипция на латинской основе и только после этого — грузинский и русский эквиваленты. Имена существительные даны в форме им. падежа с указанием показателя грамматического класса. Специальной пометкой снабжены имена, имеющие только мн. число. Имена прилагательные, изменяющиеся по классам, помещены под буквой «d», так как афф. -d, кроме функции показателя класса вещей, имеет функцию нейтральную. Наречия, образованные от прилагательных, даются в той же статье, что и прилагательные (с пометой), ср.: *d-aq, oⁿ* большой и здесь же — *d-aq, u^{is}* очень (нареч.) (с. 64). Основное внимание в словаре уделено глаголу. Указаны его вид, переходность, класс, в необходимых случаях — наклонение и число, иногда статичность. На грузинский язык глагол передается масдаром. Особыми пометами обозначены местоимения, наречия, причастия, частицы, союзы, послелоги.

Надо отметить, что цель авторов при создании словаря заключалась в том, чтобы путем анализа и сопоставления раскрыть семантику слова в цова-тушинском и выразить ее соответствующими грузинскими и русскими эквивалентами. В сущности в этом и состоит общепризнанный принцип составления дву- и многоязычных словарей. В связи с этим составителям часто приходится прибе-

гать к описательному переводу на грузинский и чаще русский языки, например: ц.-т. *daržik*, груз. *xinklis guli*, русск. *фарш для хинкали* (с. 151), ц.-т. *datxur*, груз. *xavici*, русск. *творог или мука, поджаренная на масле* (с. 138) и т. д. и к синонимам в грузинских и русских эквивалентах, которые дают нужные и наиболее точные смысловые оттенки переводимого слова, например: ц.-т. *doklar*, груз. *anxili, brazian*, русск. *сердитый, злоба* (с. 211), ц.-т. *gogō*, груз. *rgoli, saltē, rkali, cre*, русск. *кольцо, обод, круг* (с. 124) и т. д.

Авторы словаря нашли удачный прием выделения показателей категории грамматических классов в цова-тушинских лексемах, корректно решив вопрос распределения их в зависимости от наличия классных аффиксов, а именно: слова, начинающиеся с классного показателя (это, в основном, глаголы и имена прилагательные) помещены под той алфавитной буквой, с которой начинается основа слова, т. е. *d-ažar* *пастись*, *d-a-qaq* *есть* под «а», *d-e-gar* *повернуться*, *d-e-žar* *ударять* под «е», *d-o-žar* *продать*, *d-or-xar* *одеть* под «о» и т. д.

В изданных ранее словарях чеченского и ингушского языков, где также отмечались показатели классов, все лексемы помещались под теми буквами, которые соответствовали классным аффиксам, иначе говоря, одно и то же слово в словаре повторялось четыре раза. В связи с этим следует указать, что рецензируемый словарь дает возможность ответить сразу на несколько вопросов: какова основа слова; употребляется ли данное слово во всех классах и, таким образом, сократить и без того немалый объем словаря.

Другим достоинством словаря следует считать то, что значения слов и их оттенки богато иллюстрированы словосочетаниями и фразами. В предисловии отмечено, что по мере возможности даны их грузинские буквальные переводы. Иллюстрации словарных единиц даны без русского перевода (с. 19). Если учесть, что словарь трехязычный, то будет понятным, что в данном случае, к сожалению, перевод на русский язык опущен из соображений экономии объема словаря. Надо заметить, однако, что в большинстве случаев фразеологизмы и устойчивые сочетания имеют как грузинские, так и русские переводы, например: ц.-т. *tujzi tpsar*, груз. *marilis da-qaq* *посыпать солью* (с. 286); ц.-т. *e staq da(ħ)aq e-ye²¹*, груз. *es kaci sul gato-vinda* *этот человек совсем выжила из ума* (с. 233) и т. д.

Поскольку лексема может иметь одно и более значений, авторы помещают в словарную статью столько фраз, сколько значений отмечено у данного слова; так,

слово *kok* — *нога* имеет еще пять значений: 1. ножка (стола); 2. стебель (растения); 3. помощник; 4. вторая жена; 5. составная часть сложных основ или словосочетаний — *kok ba'ar* *начинать зодить* (о ребенке). Все пять значений снабжены фразами, которые дают возможность правильно понять семантическое значение слова.

Надо отметить и то, что в приводимых примерах, фразах в определенной степени отражена жизнь цова-тушинского народа, в особенности его исторический быт; так, например, в словаре встречаются фразы: ц.-т. *me²e iqa želreⁿ dağardo*, *oqimleⁿ kilō jo vobex* (с. 339) «через каждые 20 овец делается на палке зарубка»; *dej-žkēy le'e(ħ) ditz da*, *le'e(ħ) nažr*, *le'e(ħ) ma kałē* (с. 151) «в качестве начинки хинкали может быть или мясо, или сыр, или творог» и т. д.

История цова-тушин связана с историей Грузии, и данный словарь является тому еще одним подтверждением, так как в нем нашло отражение наличие общих лексем, которые уходят своими корнями в древний картвельско-нахский языковой субстрат; так, например: ц.-т. *bader* *ребенок*, *foł* *рука*, *tag* *муж*, *zabroⁿ* *жадный*, *se ozoⁿ* и т. д.

В грузинском обнаруживаются лексические заимствования из греческого, арабского, турецкого, персидского, русского и других языков. Они составляют источник пополнения и цова-тушинского словаря, ср.: груз. *čibux-i* > ц.-т. *čibux* «трубка для курения», груз. *supra* > > ц.-т. *supr* «скатерть»; груз. *žalat-i* > ц.-т. *žalat* «изверг» и т. д. Внедрение в язык всех новых заимствований происходит путем непосредственного устного общения.

К достоинствам словаря следует отнести и выделение множества устойчивых словосочетаний. Они представлены в виде гнезд. Главным образом даются глагольно-именные сочетания, где в качестве основного выделяется слово, которое, сочетаясь с другим, с семантической точки зрения, является опорным, например: *cark-kbili* *зуб*, далее следуют сочетания: *carkaⁿ dital* *десна*, *cark jał'ar* *прорезаться* (о зубах), *cark jał'ar* *кусать* (ся), *cariki* *gečar* *скалить* *зубы*, *cariki* *ječitar* *стучать* *зубами* (от холода), *cark ofjar* *иметь* *зуб* *против-кого-л.* и т. д. (с. 721). Чаще всего они даны в виде отдельных статей и иллюстрируются фразами.

Разумеется, будучи первым опытом создания подобного труда, словарь не лишен и определенных недостатков (главным образом технического характера), которые следует исправить при подготовке второго издания. Желательно также уточнить некоторые приводимые в словаре переводы.

Шавелишвили Б. А.

Содержание монографии Г. Е. Корнилова гораздо шире ее названия, так как основной задачей автора является исследование ограниченной тематической группы слов-IMITATИВОВ в чувашском языке (IMITATИВЫ в авторском идиолекте предлагается называть категорию слов, традиционно именуемых звукоподражаниями, образными словами, мимемами, ономотопеями), а утверждение новой методики этимологического и, шире, сравнительно-исторического исследования лексики отдаленно родственных языков. Применение этой методики, по мнению автора, позволяет проникнуть в качественно иное состояние человеческой речи, нежели современное и вообще исторически засвидетельствованное. Такую цель ставит перед собой ИМИТАТИВКА, или теория ИМИТАТИВОВ, являющаяся новым направлением в языковедении вообще и в тюркологии (еще уже — в чувашеведении) — в частности¹ (с. 182).

Структурно монография состоит из введения и трех глав. Введение (с. 8—14) представляет собой сжатое, тезисное изложение основных, исходных положений ИМИТАТИВИКИ. В эволюции человеческого языка речи постулируется прохождение каждым отдельным языком четырех качественно различных этапов: 1) доИМИТАТИВНЫЙ, 2) ИМИТАТИВНЫЙ, 3) ПОСТИМИТАТИВНЫЙ, 4) под условным названием «неизвестное будущее». Языковедение реально занимается только исследованием ПОСТИМИТАТИВНОГО этапа, т. е. оно анализирует те лексические единицы, которые являются АНТИИМИТАТИВАМИ и находятся в оппозиции к ИМИТАТИВАМ (последние представлены унаследованными в языке, хотя и не в первоначальном фонетическом облике, живыми ИМИТАТИВАМИ, а также в составе погашенных производящих корней-РАДИКОИДОВ, так что их ИМИТАТИВНАЯ природа и происхождение в ряде случаев на плоскости синхронии ощущается слабо). Реконструкция ИМИТАТИВНОГО фонда позволяет установить идентичность ОТИМИТАТИВНЫХ корней-РАДИКОИДОВ в языках, традиционно относимых к разным языковым семьям, но в период прохождения ИМИТАТИВНОГО этапа, возможно, связанных отношениями древнего родства. Здесь исследование Г. Е. Корнилова как будто соприкасается с результатами, полученными в последнее время в рамках ПОСТРАТИВНОЙ теории², но, как мы уви-

дим в дальнейшем, предлагаемые приемы генетического отождествления языковых фактов и приемы реконструкции архетипов в корне отличны от достаточно жестких и строгих методик компаративистики и ПОСТРАТИВИКИ.

Глава «Учение Н. И. Ашмарина о мимемах и теория ИМИТАТИВОВ» (с. 15—46) посвящена разбору взглядов известного тюрколога-чувашевода на звукоподражательную теорию происхождения языка, активным сторонником которой он являлся, посвятив ряд специальных работ этой теме. Н. И. Ашмарин, один из первых отечественных лингвистов специально и систематически анализировавший процесс мимемиса (подражания) в языке, выдвинул ряд принципиально важных положений, которые в целом разделяются Г. Е. Корниловым. Отметим среди них следующие: «обычные, закономерные исторические звукопереходы, известные во всех языках и являющиеся основным объектом исторической фонетики, не касаются или почти не касаются большой и значительной по объему массы ИМИТАТИВОВ» (с. 16); звуковые особенности ИМИТАТИВОВ следует описывать в рамках особой фонетики и фонологии, так как их составные элементы (в терминологии автора «идеофоны и аллоидеофоны») в отличие от фонем первоначально обладали смысловыразительной функцией (ср. анализ ИМИТАТИВА КАР: «К, передающий внезапность финала действия/состояния, процесса, движения и т. п.» (с. 8); «А-, символизирующий высшую силу, интенсивность, значительную длительность-протяженность и т. п., и -Р, указывающий на полноту завершения и исчерпания действия-процесса» (с. 9). На основе этого ИМИТАТИВА, например, сблизятся литов. *kąptelėti* «схватить» и чуваш. *kar, kar, jar* «хватать, пасть» (глагол ультрагиперонового подвиза) и др.; ИМИТАТИВУ интересует «историческая структура корня и история формирования корнеслова в конкретных семьях языков» (с. 39); существует определенная типология фонологического строения непроизводных корней-ИМИТАТИВОВ (МИМЕМ)³; анализ лексики урало-алтайских языков в аспекте мимемиса и создание сравнительного словаря ИМИТАТИВОВ могли бы стать существенным вкладом в теорию и практику этимологических исследований (в частности, для прояснения сложных лингвогенетических отношений между финно-угорскими и тюркскими язы-

¹ По крайней мере, привлекается материал именно тех шести языковых семей, которые относятся к ПОСТРАТИВИКИ.

² Н. И. Ашмаринным всего выделено 115 типов структур и рассмотрено около 1600 реализующих их МИМЕМ [1].

ками Волжско-Камско-Уральского этнолингвистического региона).

Во второй главе, посвященной названию «Обзор и опыт встречного исследования проблем имитативизма в советском языкознании» (с. 47—67), Г. Е. Корнилов развивает некоторые свои теоретические положения, а также дает критический комментарий под определенным углом зрения некоторым работам той же тематики. Ввиду того, что автор ставит одной из своих целей реконструкцию качественно иного состояния речи вообще в отличие от компаративистики, которую интересует история конкретных языков и/или группы родственных языков (см. с. 67), в данной главе он излагает свои соображения о процессе семизиса в сфере языка, названного им «лингвизацией человеческого общества». Рассуждения автора по этой проблеме, на наш взгляд, несколько априорны и не очень доказательны³. Во всяком случае, ему не удалось показать убедительно, как происходит переход от имитативного этапа к постимитативному этапу развития языка. Есть определенные сомнения в том, что это вообще возможно, если мы будем использовать чисто языковедческие методы. Необоснованны, с нашей точки зрения, и обвинения компаративистов в антиисторизме, в неправильности методики процепирования языковых фактов в плоскость единого праязыка при сравнительно-исторических исследованиях.

Большую (две трети общего объема) и основную часть рецензируемой монографии занимает глава третья «Опыт встречного исследования звукоазывающих корней с позиций чувашеведения и теории имитативов» (с. 68—180). В ней автор предпринимает, с одной стороны, реконструкцию исходных поливалентных имитативов, которые являются центрами

этимологических гнезд, образованных современными и принадлежащими разным языкам слов ономотопеитического образования (слов-имитативов). Г. Е. Корнилов в поиске типологических параллелей и генетических соответствий к тюркским и финно-угорским основам (в первую очередь рассматривается, естественно, чувашский имитативный фонд) привлекает индоевропейские (в основном, балтские, балтийские, иранские), кавказские, семитские, кетский, японский и малайский языки. Именно в этой главе демонстрируется своеобразная индивидуальная техника этимологического анализа, которая несопоставима по результатам с обычной практикой этимологических исследований. Всего подвергнуто анализу 38 этимологических гнезд, объединяющих первичные корни-имитативы⁴ и производные от них лексемы. Тем самым можно сказать, что этимологизируются не цельнооформленные слова, а рассматриваются скорее происхождение самих корней, представляющих как бы «окаменелости» первобытной глоттогонии.

В рамках данной рецензии невозможно обсудить или подвергнуть хотя бы частичной верификации конкретные этимологические решения, предлагаемые Г. Е. Корниловым. Поэтому мы ограничимся некоторыми общими соображениями.

Всем первичным корням-имитативам приписывается некая прасемантика, например, типа: дуновение (ртом); сосание; звук смеха; вздох; писк; топанье; топот; хватание; шорох; шелест; изображение скольжения и т. д. Через понятие поливалентности (иначе говоря, полисемии имитативов) даются правила вывода конкретных значений (сем) этимологизируемых лексем, причем за основу берется сходство их фонетических оболочек. Обычные звуковые корреспонденции, по мнению автора, здесь «не работают» и поэтому в каждом отдельном случае реализуются особые звукопереходы. Результатом является выстраивание ряда гомогенных лексем, принадлежащих разным языкам, разным временным периодам истории конкретного языка, но производным, согласно Г. Е. Корнилову, от одного первоначального имитатива. Так, например, только в рамках гнезда XXVIII (изображение скольжения) подвергаются этимологизации (назовем только некото-

³ Думается, что все дело в том, что автор несколько односторонне понимает процессы корнепроизводства, основопроизводства и словопроизводства, возводя их только к имитативам (т. е. постулируя только одну возможность образования природных именных и глагольных корней от подражаний). При этом не учитывается то обстоятельство, что любые языковые знаки прошли через неоднократные ступени переосмысления также и на основе символического отражения явлений реальной действительности, да и первоначально они могли выступать не только в виде иконических, но и «непроизводных» быть знаками-индексами и знаками-символами. См. важную в этом аспекте работу Р. Якобсона [2], где дается известная типология знаков в языке с опорой на семантическую концепцию Ч. Пирса.

⁴ Как видно из рубрикации гнезд, процесс «имесиса» (имитации) автором понимается не только как звукоподражание, а в широком смысле, как «подражание с помощью звуков объектам живой и неживой природы, а также их свойствам и качествам, событиям и явлениям» (с. 60).

рые примеры из русского языка): *слизкий, слизь, слеза, глас'голос, гладкий, глядеть, слива, глиста, глубокий, глотать, колупать, хаикнуть, колесо, колос, голова, слон, судак, пламя, павить, плеск, плавиться* и т. д. Если учесть то обстоятельство, что каждая из этих лексем (неполного списка) сравнивается, сопоставляется с предполагаемыми параллелями из чувашского, других индоевропейских, йетского, китайского, финно-угорских, тюркских и т. д. языков, то не удивительно, что общее количество привлеченных осков лишь в данном гнезде составляет свыше 300 единиц.

Методика этимологизирования, примененная при анализе конкретного языкового материала в монографии, с нашей точки зрения, может быть названа ахроничной. Мы видим здесь своего рода архитимологию, которая совершенно не учитывает реальной истории слов и определенных временных и пространственных ограничений. Потому-то упреки в антиисторизме к компаративистике (см. выше) могут быть отнесены скорее к самой теории имитативов. Г. Е. Корнилов, тем не менее, под определенным углом зрения трактует такие важные проблемы сравнительно-исторического языкознания, как историческая структура корня, процесс формирования корнеслова в естественных языках.

Вероятно, и об этом справедливо пишет в предисловии Н. А. Баскаков, мы видим в рецензируемой монографии попытку создания «принципиально нового этимологического

словаря чувашского языка», который в идеале должен логически последовательно и до конца объяснить всю его природную (незаимствованную) лексику (с. 7).

В заключение несколько слов о технико-издательском оформлении данной книги. К сожалению, книга не снабжена указателями (здесь просто необходимы индексы первичных корней имитативов, слов и осков разных языков). Библиографический аппарат также не оформлен единообразно: встречаются постраничные списки, местами источник указывается внутри авторского текста, отсутствуют выходные данные некоторых цитированных изданий. Эти недочеты делают издание «слепым» и затрудняют работу с богатым фактическим материалом, использованным автором.

В целом публикация монографии Г. Е. Корнилова свидетельствует о том, что чувашское языкознание, следуя традициям своих основоположников Н. И. Золотницкого и Н. И. Ашмарина, сохраняет интерес к постановке важных крупных проблем.

Хузангай А. П.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ашмарин Н. И. О морфологических категориях подражания в чувашском языке. Казань, 1928.
2. Яковсон Р. В поисках сущности языка // Семиотика. М., 1983.

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

20—22 ноября 1986 г. в г. Хошимине (СРВ) состоялся IV Международный симпозиум востоковедов социалистических стран «Актуальные проблемы восточного языкознания». Была продолжена традиция обмена мнениями по данным проблемам, сложившаяся на предыдущих симпозиумах (Москва, 1977; Варшава — Краков, 1980; Берлин, 1983). В симпозиуме участвовали делегации 7 стран: СРВ, ГДР, НРК, ЛНДР, ПНР, СССР, ЧССР. Советскую делегацию возглавлял чл.-корр. АН СССР М. Н. Боголюбов. Впервые приняли участие в симпозиуме делегации Кампучии и Лаоса.

Симпозиум открыл председатель Комитета общественных наук СРВ проф. Фам Ньм Кыонг, отметивший важность проведения подобных симпозиумов для развития сотрудничества ученых социалистических стран; с приветствием выступил зам. председателя Народного комитета г. Хошимина тов. Нгуен Кон Ай.

На пленарных заседаниях было заслушано 12 докладов. М. Н. Боголюбов (СССР) исследовал процесс формирования каузативно-транзитивных морфем в ирванских языках, являющихся общими для разных языков инновациями, связанными с процессом заполнения пустого места в системе. Два доклада были посвящены проблеме слова и морфемы в изолирующих языках. В докладе Н. В. Солицевой и В. М. Солицева (СССР, прочитан Ю. Я. Плямом) обосновывалась концепция моносилабизма морфемы и преобладающего полисилабизма слова в этих языках, существования в них морфологических категорий; в то же время И. В. Васильев (ЧССР) отстаивал идею совпадения слова и слога-морфемы как общего закона изолирующих языков. Доклад Фам Ху Тхонга (СРВ) был посвящен системе вьетнамских фонем. М. Кювстлер (ПНР) исследовал современное состояние фонетики цзиньского диалекта, отметив ряд ее отличий от литературных норм. Нгуен Тай Кан (СРВ) рассказал о

состоянии изучения во вьетнамской науке истории вьетнамского языка на материале иероглифических памятников. Х. Фитце (ГДР) рассмотрел категорию множественности в алтайских языках, выявляя различные значения множественности в синхронии и диахронии.

Ряд докладов был посвящен проблемам социолингвистики. Хоанг Туе (СРВ) говорил о вопросах культуры языка и языковой политики в странах с различными социальными системами, сопоставляя процессы целенаправленного воздействия на язык в социалистических, капиталистических и развивающихся странах. Л. Б. Никольский (СССР) дал анализ нормализации языка межэтнического общения в освободившихся странах, выделил основные типы автохтонных межэтнических языков в зависимости от времени распространения и характера коммуникации. З. Браунер (ГДР) исследовал языковые ситуации в странах Африки, особо остановившись на формировании общественно-политической лексики в языках этих стран. Со Муи Кхенг (НРК) рассматривал развитие и обогащение кхмерского языка в современный период. Бу Сен Кхам (ЛНДР) говорил о деятельности лаосских языковедов после создания ЛНДР в 1975 г.

Секционные заседания симпозиума проходили по трем секциям. На секции I («Проблемы общего языкознания и изучения вьетнамского языка») прочтано 15 докладов, в большинстве посвященных вопросам вьетнамской фонологии и грамматики; в ряде докладов говорилось о необходимости учета в общем языкознании фактов вьетнамского и других изолирующих языков и о неправомерности переноса на эти языки некоторых понятий, выработанных на европейском материале. С таким переносом полемизировал, в частности, Као Суан Хао (СРВ), противопоставлявший слоговой вьетнамский фонемный европейским языкам. С точки зрения слоговой модели интерпретировал вьетнамскую фонологию также К. Кадеи (ГДР). Нгуен Хай Зи мьнг (СРВ) остановился на пробле-

ме выявления психологических закономерностей для носителей вьетнамского языка на материале исследований травматической афазии. В области грамматики исследовались агглютинация (Нгуен Лай, СРВ), способы выражения отрицания и его семантика (Нгуен Дык Зан, СРВ); о разных аспектах вьетнамского синтаксиса говорили Лыу Ван Ланг, Хоанг Зан, Ле Суанг Тхай (все — СРВ). Доклад Хоанг Фе (СРВ) был посвящен вопросам логического анализа языка; аналогичные проблемы в связи с задачами составления словарных статей на вьетнамском материале рассмотрел И. Карл (ГДР). Прагматические факторы в семантической структуре слова исследовал До Хыу Тян (СРВ). Ву Тхе Тхак (СРВ) охарактеризовал вьетнамские звукоподражательные слова. На секции также были заслушаны доклады К. Б. Кепинг (СССР) «Сложное предложение в таггутском языке», Г. Ц. Пюрбеева (СССР) «Грамматическая функция интонации в монгольских языках», Мао Са Кона (НРК) «Каузативное значение глагольных пар в кхмерском языке».

На секции II («Проблемы сравнительно-исторического, типологического, ареального языкознания») состоялось 15 докладов, большинство из них было связано с типологическим и сопоставительным исследованием языков Юго-Восточной и Восточной Азии. Ю. Я. Плам (СССР) рассмотрел типологические особенности изолирующих языков, их отличия от языков иного строя, прежде всего в плане выражения тех или других типов грамматических значений. Нгуен Куанг Хоанг (СРВ) предложил классификацию языков по признакам возможности/невозможности перемещения слоговой границы относительно морфемной, допустимости/недопустимости внутрислоговой морфемной границы, наличия/отсутствия сочетаний согласных в составе слога. Нгуен Ван Лоой (СРВ) описал типы превазализации в языках Юго-Восточной Азии. Х. Газде (ГДР) рассмотрел классификацию предикативов в китайском и ряде других языков. О типологии слов-повторов в мон-кхмерских языках говорил Хоанг Ван Хань (СРВ). В. Вурцель (ГДР) сопоставил классификаторы языков Восточной и Юго-Восточной Азии и именные классы в языках банту. Р. Хуца (ПНР) сравнил системы вьетнамских, китайских, корейских и японских личных местоимений. Сопоставительное изучение кон-

тактной лексики провели для языков лаха и тайского — Хоанг Ван Ма (СРВ), для тайского и вьетнамского — Доан Тхиен Тхуат (СРВ). Результаты полевых исследований языков наименьшинств СРВ отражены в докладах Хоанг Тхи Тян и Нгуен Кханг Хунг (оба — СРВ). О проблемах диахронической типологии языков Индокитая говорил Буй Кхань Тхе (СРВ). Н. В. Станевич (СРВ) на материале вьетнамского памятника «Кхоа хы дук» и его китайского перевода исследовала китайско-вьетнамскую грамматическую интерференцию. М. З. Закиев (СССР) в докладе «Этнонимика и этногенез» проследил историю этнонима «татар», встречающегося в разных значениях у многих народов.

На секции III («Проблемы междисциплинарного языкознания») большинство (из 14) докладов было посвящено вопросам социолингвистики. Нгуен Ни И (СРВ) рассмотрел опыт Вьетнама в области создания языковой нормы и ее распространения через просвещение. В ряде докладов говорилось о формировании и развитии литературных языков в странах Восточной Азии: на Филиппинах (Я. Гензор, ЧССР), в Коре (Х. Огарек-Цой, ПНР), в Японии (В. М. Алпатов, СССР), М. Мучка (ЧССР) трактовал проблему становления литературных языков в связи с задачами перевода. Кут Са Ван (ЛНДР) осветил процесс создания ласоской научно-технической терминологии. В целой группе докладов [Фам Дык Зыонг, Чан Куок Выонг, Нгуен Ван Тхай, Данг Нием Ван (все — СРВ)] речь шла о комплексном изучении языков и культур народов Вьетнама. Вьетнамскую диалектологию в области тона исследовал Ву Ким Банг (СРВ). В программу секции были включены и доклады типологического характера (Нгуен Фан Канг, Ле Куан Тхиенг, Хоанг Као Кыонг (все — СРВ)).

На симпозиуме был проведен обмен мнениями по вопросам развития сотрудничества востоковедов-лингвистов социалистических стран, все выступавшие указывали на большое значение симпозиумов «Актуальные проблемы восточного языкознания» для укрепления научных связей. Следующий симпозиум намечено провести в 1989 г. в Праге.

Алпатов В. М. (Москва)

25—26 сентября 1986 г. в г. Теберда Карачаево-Черкесской АО проходил симпозиум «Языковые проблемы развития социалистической культуры», организованный Отделением литературы и языка АН СССР, Институтом языкознания АН СССР, Научным советом по комплексной проблеме «Закономерности развития национальных языков в связи с развитием социалистических наций» и Карачаево-Черкесским госпединститутом. В симпозиуме приняло участие свыше 40 ученых Москвы, Ленинграда, многих союзных, автономных республик и областей страны. Рассматривались вопросы роли русского языка, русской культуры, языков и национальных культур других народов СССР в развитии духовной жизни советского общества.

Пленарное заседание симпозиума открыл ректор Карачаево-Черкесского госпединститута В. В. П л а с т и н н и. Вопросы развития языков и культуры народов области посвятил свое выступление секретарь Карачаево-Черкесского обкома КПСС С. Х. Семенов. Был прослушан доклад М. П. К и м а (Москва) «Совершенствование социализма и социальные функции культуры», в котором обосновывалась необходимость разработки функциональной концепции культуры. Для моделирования функциональной системы культуры оптимальным является выделение в ней трех основных функций: 1) познавательно-творческой; 2) просветительно-воспитательной; 3) функции организации социальной практики (организационно-практической). В докладе А. И. Х о л м о г о р о в а (Москва) «Классовое и национальное в духовной культуре народов СССР» язык и культуры рассматриваются как взаимосвязанные социальные явления.

А. Я. З и с ь (Москва) в докладе «Проблемы терминологии в эстетической науке» отметил необходимость упорядочения терминологического аппарата современного искусствоведения, эстетики и всего комплекса наук, изучающих эстетическую культуру.

Докла Ю. Д. Д е ш е р л е в а (Москва) «Социально-лингвистический аспект развития духовной культуры» был посвящен важным проблемам, связанным с функционированием, развитием и взаимодействием языков и духовных культур народов нашей страны в условиях совершенствования советского общества, роли

русского языка и русской культуры в социальной жизни союзных, автономных республик, областей и округов. Особый интерес вызывают сложные социалистические проблемы развития общественных функций языков, решение вопросов, касающихся языка обучения в школах, средних специальных учебных заведениях и вузах. Все, что выделяет общественное сознание в процессе освоения человеком реальной действительности, материализуется, формируется и внешне проявляется в звуковой материи, подвергаясь структурному оформлению по внутренним законам функционирования и развития языка. Язык как социальное явление служит основным, универсальным средством научного познания, а роль микросоциальных факторов является определяющей в существовании, функционировании и развитии языка.

С докладом «Проблема взаимоотношения языка и культуры в трудах ученых славянских социалистических стран» выступила Г. П. Н е щ и м е н к о (Москва). Доклад «Роль русского языка в развитии общесоветской культуры народов Карачаево-Черкесии» сделал М. А. Х а б и ч е в (Карачаевск).

В докладе Р. Г. К о т о в а (Москва) «Культурно-языковые проблемы многонационального общества в свете компьютеризации» подчеркивается, что развитие культуры и языка в свете широкой компьютеризации всех сфер современного общества (многонационального и многоязычного) требует решения ряда важных проблем осуществления языковой политики. Основной из этих вопросов: что несет ЭВМ (точнее — микроЭВМ) культуре, языку, духовному облику человека?

С сообщениями выступили: Л. К. Граудина (Москва), А. Н. Жукова (Ленинград), И. В. Тресков (Нальчик), А. И. Чередищенко (Киев), М. З. Закиев (Казань), З. У. Блягов (Майкоп), А. М. Асламов (Кировабад), А. Д. Койчев (Карачаевск), А. А. Алексеев (Москва), К. В. Бахиян (Москва), В. М. Паныкин (Москва), И. Б. Мунаев (Грозный), А. У. Урусалов (Махачкала), К. Э. Джамалов (Махачкала), О. А. Миязев (Карачаевск), Г. У. Кыскараева (Фрунзе), М. А. Асимова (Душанбе) и др. Симпозиум принял развернутые рекомендации.

Алексеев А. А. (Москва),
Хабичев М. А. (Карачаевск)

С 4 по 8 мая 1986 г. в г. Дилижане (Армянская ССР) работала Всесоюзная школа-семинар «Сочетание лингвистической информации в автоматическом словаре», организованная Научным советом по лексикологии и лексикографии АН СССР совместно с Институтом языка АН Армянской ССР. В работе школы приняли участие представители ведущих лексикографических центров страны: Москвы, Ленинграда, Еревана, Киева, Кишинева, Мянска, Таллина. Помимо пленарного заседания состоялись также заседания двух секций: «Теория и практика лексикологии и лексикографии» (секция № 1) и «Автоматизация лексикологических и лексикографических работ» (секция № 2). Всего было прослушано около сорока докладов и сообщений. В пленарных докладах, сообщениях и в выступлениях в дискуссии подчеркивалось, что объект современной лексикографии многогранен, внутренне неоднороден и требует многоаспективной обработки. В ходе работы школы-семинара обсуждалось в основном два круга проблем: во-первых, общие вопросы лексикологии и лексикографии, актуальные также и для разработки теоретических основ автоматизации лингвистических работ; во-вторых, практические результаты составления словарей, прежде всего с помощью ЭВМ, а также задачи совершенствования принципов и методов соответствующих работ. Был высказан ряд конструктивных идей и предложений.

К первому кругу проблем относится идея создания универсальной лингвистической модели — общей для описания всех языков (предложенная и обоснованная в докладе Г. Б. Джанукяна (Ереван) «Универсальная лингвистическая модель и вопросы семантического анализа»). Данная модель опирается на общие философские категории и предусматривает установление частных лингвистических категорий, с помощью которых может быть получена многоаспектная характеристика свойств и признаков объекта. Свойства объекта характеризуются восемью категориями: сравнение, причинность, краткость, аспект, протекание, памятность, длительность, время. Для характеристики признаков объекта также используется восемь категорий: состав, число, зависимость, порядок, форма, мера, направление, позиция. Сами названные категории представляют собой сложные единицы описания, включающие в свой состав более элементарные единицы — термины (примером термина может служить *сема*). Применение универсальной лингвистической модели помо-

жет устранить такие недостатки описания, как неразличение объема и содержания понятия, первичных и вторичных признаков объекта и под.

Внимание участников школы привлекла идея создания комплекса эвристики, позволяющего анализировать научный текст одновременно несколькими способами, одним из которых является установление коллекций опорных слов, представляющих в тексте соответствующих семантический срез [И. П. Белецкий (Киев)]. Обсуждались также: вопрос о необходимости квалифицировать единицы реляционной семантики как средства парадигматической адаптации сообщаемого, что должно найти отражение и в словаре [М. В. Ляпон (Москва)]; проблема валентности как средства представления синтагматической информации в автоматическом словаре [З. М. Шаляпина (Москва)]; новые аспекты изучения и представления в лексикографических изданиях и их машинных версиях отдельных частей речи: наречия в плане выявления субъектно-объектной ориентации как одного из центральных элементов в структуре его грамматической семантики [А. Б. Пенчковский (Владимир)]; исследование предикатных и отпредикатных слов с точки зрения их семантической структуры [К. С. Арустамян, С. С. Бабалян, Л. Е. Маркосян (Ереван), В. А. Плунгян, Е. В. Рахилина (Москва)]; анализ союзов и частиц в аспекте их логического и семантического анализа с целью адекватного представления в словаре [Л. Г. Брутян (Ереван), М. Г. Шур (Москва)]. Кроме того, были рассмотрены типы представления информации в автоматических словарях, анализирующих текст [Н. Н. Леонтьева (Москва)].

Самостоятельной областью лексикографической теории в последние годы становится изучение словарной статьи (и в обычных, и в автоматических словарях) — ее структуры, информативного потенциала как в отдельных частях, так и в целом. Способы построения словарной статьи, виды представленных в ней сведений в конкретных типах словарей анализировались в ряде сообщений и выступлений [Н. В. Перцов (Москва), А. С. Белоусова (Москва), Т. А. Аполлоновская (Ленинград), Е. Н. Тихонова (Москва), А. К. Дарбинян (Ереван), И. Г. Носенко (Минск)].

На заседаниях школы-семинара обсуждались также идеи создания словарей новых типов. Так, А. Я. Шафкевич (Москва) предложил создать многоязычный политематический автоматический словарь, который должен характеризоваться компактностью записи информа-

ции, возможностью одноразовой записи информации, потенциалом для распознавания необходимости некоторых утверждений (типа *В Москве растут пальмы*) и др. параметрами. Были рассмотрены также принципы составления единого апеллятивного и ономатического словаря [В. Э. Сталтмане (Москва)], словаря современного городского просторечия [М. В. Кптайгородская (Москва)], комплексного учебного словаря русского языка [А. И. Тихонов (Москва)], толково-словообразовательного словаря русского языка [Е. Я. Шмелева, А. Д. Шмелев (Москва)]. Соответственно обсуждались принципы отбора материала и способы его квалификации. Б. С. Шварцкопф (Москва) предложил при подготовке нового словаря крылатых слов и выражений пересмотреть оценку контекста — первоисточника крылатых выражений как фактора, не связанного с лингвистической сущностью проблемы.

Другой круг проблем, рассмотренных на школе-семинаре, касался итогов использования электронно-вычислительных средств при обработке лингвистических материалов, составлении новых словарей, а также перспектив дальнейшей работы в этом направлении. Выступления участников школы показали, что осуществляется создание банков лингвистических данных с помощью ЭВМ. Кроме того, в ряде учреждений страны успешно идет работа по составлению на ЭВМ сло-

варей, прежде всего двуязычных и многоязычных. Вниманию участников школы были предложены реальные способы использования автоматизации в исследованиях филологического словаря на основе его машинной версии и в нормативно-словарном исследовании.

В решении, принятом на заключительном заседании, констатировалось, что работа школы-семинара прошла успешно. Были обсуждены актуальные проблемы лексикологии, лексикографии и составления словарей с помощью ЭВМ. Намеченную проблематику целесообразно в таком комплексе включать в следующие конференции и научно-практические школы по лексикографии. В докладах, сообщениях и выступлениях в дискуссиях были выявлены перспективные пути исследования обсуждавшихся проблем. Учитывая положительный опыт работы школы-семинара, было решено просить Президиум АН АрмССР регулярно (с интервалом в 2—3 года) проводить аналогичные семинары по соответствующим проблемам. Ближайший семинар необходимо посвятить специально принципам создания банков лингвистических данных. Было также принято решение ходатайствовать перед Президиумом АН АрмССР об издании материалов работы школы-семинара.

Белоусова А. С., Китайгородская М. В.,
Шмелева Е. Я., Шварцкопф Б. С.
(Москва)

16 сентября 1986 г. в Киеве состоялся научный семинар «Киевское Полесье», организованный Институтом языковедения им. А. А. Потебни АН УССР. Его целью было изучение небольшой территории методами различных гуманитарных наук. Открывая семинар, акад. АН УССР В. М. Русановский подчеркнул своевременность и актуальность исследования полесского края совместными усилиями представителей смежных наук. Накопленный значительный материал по археологии, истории, фольклору, языку и материальной культуре украинского Полесья требует цельного осмысления той исторической роли, которая отведена была этому региону в славянском этногенезе и этнокультурном развитии. На семинаре было заслушано 12 докладов, посвященных конкретным вопросам изучения Киевского Полесья, что является чрезвычайно важным не только для определения локальных антропологических, мифологиче-

ских, лингвистических особенностей, но и открывает перспективу широкого общеславянского сравнительного изучения и сопоставления славянских и неславянских древностей.

В докладе «Археологические культуры и вопросы этнической преемственности Киевского Полесья» С. С. Березанский (Киев) отражена сложная картина этнических сдвигов в пределах заданного региона с IV — нач. III тыс. до н. э. по VII—XI вв. н. э. Исследуя определенные археологические культуры, их территориальное размещение во взаимосвязи и взаимодействии с другими культурами, автор приходит к заключению, что археологическая культура является только одним из инструментов для изучения древности. На основании анализа археологических культур С. С. Березанская убедительно показала, что в Киевском Полесье фокусируются те культуры, которые тяготеют к славянскому этносу. Наряду со славянским к основным функ-

циональным этническим группам Киевского Полесья принадлежат балты и иранцы. Интересные и глубокие исследования на области антропологического анализа были представлены в докладе В. Д. Дяченко (Киев) «Антропологическая характеристика Киевского Полесья». Докладчик не только выделил и охарактеризовал зафиксированные в Киевском Полесье антропологические типы, но и наметил их локализационные границы. Объемный материал исследования, сравнительные характеристики антропологических признаков вывели автора далеко за узкие рамки Киевского Полесья, расширив тем самым выводы об этногенетической ситуации исторического в донисторического времени.

Доклад Л. А. Пономаренко (Киев) «Картографические источники для изучения Киевского Полесья» посвящен результатам поисков исторических источников для исследования территории Киевского Полесья. Большой интерес к живое обсуждение участников семинара вызвал доклад Н. К. Гаврилюк (Киев) «Традиционные обряды и верования населения Киевского Полесья», в котором рассматривался все еще малоизученный в современном славяноведении вопрос о характерных локальных особенностях древнейших славянских обрядов, верований, восходящих главным образом к языческой мифологии. Рассматривая локальные обычаи и обрядность в общеславянском плане, автор отмечает, что ареал Киевского Полесья входит в общеполесский регион, но в то же время он имеет, по свидетельству фольклорных фактов, свои уникальные явления, не прослеживающиеся в смежных районах, но встречающиеся в других славянских землях.

Большая часть заслушанных на семинаре докладов касалась вопросов исторической лексикологии, ономастики и диалектологии. Тематически связан со славянским язычеством доклад Т. Б. Лукиной (Киев) «Из наблюдений над архаической лексикой Киевского Полесья». К одному этимологическому гнезду отнесены аелятивные *чура* с и.-е. **keu-* «резать» и *черт*, причем целый ряд лингвистических, фольклорных, этнографических данных свидетельствует о семантической связи праслав. **čьrъ* «черт» и **čьrta* «линия», которая в свою очередь сводится к идее начертания магического круга. Т. Б. Лукина также проанализировала топонимические названия Киевского Полесья, выделив среди них архаические пласты. С новым лексическим материалом оговоров Киевского Полесья и его семантической интерпретацией познакомил участников

семинара Н. В. Никольчук (Житомир) в докладе «Лексические раритеты в говорах Киевского Полесья».

Малоизученные вопросы этимологии топонимов и локализации племен и народов изучаемого ареала были рассмотрены в докладе А. С. Стрыжак (Киев) «Этимология Киевского Полесья: от неводов к полешукам». Автор пришел к выводу, что несмотря на сложную этническую ситуацию в результате многочисленных вторжений кельтских, германских, славянских и др. племенных объединений в архаической зоне Киевского Полесья в историческое время никогда не прерывалось славянское заселение, о чем свидетельствуют древние полесские ономы. В докладе А. Н. Залесского (Киев) «Порубежные говоры Киевского Полесья» сделана попытка обобщить данные лингвогеографического исследования говоров Киевского Полесья в I томе Атласа украинского языка и в региональном атласе Нижней Припяти Т. В. Назаровой и установить структурную и генетическую специфику порубежных говоров на севере и востоке Киевского Полесья, уточнить некоторые критерии классификации украинских говоров. В докладе И. М. Железняк «Гидронимикон Киевского Полесья и центральноевропейский топонимный ареал» показана идентичность отдельных гидронимов Киевского Полесья с названиями рек Западной и Центральной Европы, что свидетельствует об общности языковых процессов. С этимологическими наблюдениями над гидронимией Нижнего Ужа ознакомила слушателей семинара О. П. Карпенко (Киев), выделив архаические балтийские и балто-славянские потамонимы. В докладе М. М. Пещак «Микротопонимия Киевского Полесья по данным Румянцевской описи» особое внимание обращалось на принципы наименования микротопонимов, обусловленные внутренним и внешним способом наименования одного и того же объекта, что в свою очередь вело к обогащению локального микротопонимикона. Богатая историческая антропонимия Киевского Полесья была проанализирована в докладе И. Д. Сухомлина (Днепропетровск).

Бысканые участниками семинара предложения и пожелания по дальнейшему изучению Полесья нашли отражение и закрепление в принятой на заседании резолюция, которая направлена на дальнейшее развитие координации исследований институтами Секции общественных наук АН УССР и кафедрами Минвуза УССР.

Карпенко О. П. (Киев)

ЖОРЖ ДЮМЕЗИЛЬ

Французская и мировая наука понесли невосполнимую утрату. 11 октября 1986 г. в Париже в возрасте 88 лет скончался профессор Collège de France, член Французской Академии Наук Жорж Дюмезиль. Научная деятельность Дюмезиля столь обширна и многогранна, что дать ей оценку в рамках нескольких журнальных страниц невозможно. В некрологе, написанном Жан-Пьером Леонардином и помещенном в газете «Юманите» 13 октября 1986 г., между прочим говорится: «Был ли он историк, филолог, мифолог, лингвист, грамматист, антрополог? Он знал примерно тридцать языков, от галльского до санскрита, от осетинского до кечуа. В сравнительной мифологии мы обязаны ему открытием той решающей роли, какую играли при формировании индоевропейских цивилизаций жрец, вои и земледелец. Это был исследователь, не укладывающийся ни в какие классификации (inclassable). Он перекинул мосты между многими дисциплинами. Как определить этого непоколебимого гуманиста, этого бесстрашного искателя, этот универсальный ум, которому мы обязаны бессловными открытиями на поприще человеческой мысли? Он был одной из самых крупных интеллектуальных фигур нашего века».

В речи, произнесенной при вступлении Дюмезиля в Академию наук, Клод Левистрасс говорил: «Дюмезиль воскрешает в памяти те прошлые времена, когда творцы (les créateurs) были такого формата, какой теперь кажется за пределами достижимого».

Жорж Дюмезиль (Georges Edmond Raoul Dumézil) родился в Париже 4 марта 1898 г. Окончил Ecole Normale Supérieure в 1916 г. С 1919 г. — адъюнкт-профессор; с 1924 г. — доктор наук. В 1925 г. приезжает в Стамбул и до 1931 г. состоит профессором Стамбульского университета по специальности истории религий. В 1931—1933 гг. — лектор университета в Упсале (Швеция). Вернувшись в Париж, он с 1935 г. возглавляет кафедру сравнительного изучения религий индоевропейских народов в Ecole pratique des Hautes Etudes. Ведет курс армянского языка в Ecole Nationale des Langues Vivantes (1937—1948). Заведует ка-

федрой индоевропейской цивилизации в Collège de France (1949—1968). В 1968 г. уходит на пенсию со званием почетного профессора Collège de France. В 1976 г. становится действительным членом Французской Академии наук (Académie des Inscriptions et Belles-lettres).

Мировую известность привнесли Дюмезилю его исследования по сравнительному изучению религий и мифологий индоевропейских народов. Он является создателем широко известной теперь трифункциональной теории. Суть этой теории очень проста. Дюмезиль исходит из того, что структура религиозно-мифологических представлений индоевропейских народов не могла не отражать структуру их социального строя и социальных отношений: «Мифы нельзя понять, если оторвать их от жизни людей, которые их создали» [1]. О социальной же структуре индоевропейских народов у нас имеются во многих случаях совершенно надежные свидетельства. С глубокой древности у этих народов определялись три социальные функции: культовая, военная и хозяйственная. Первую представляли жрецы, вторую — военные вожди, третью — земледельцы и ремесленники. Свою концепцию Дюмезиль особенно детально разработал на материале древнеримской, скандинавской, индоарийской, древнеиранской и скифоосетинской мифологии и эпоса¹. Осетинская тема неизменно присутствует в работах Дюмезиля, начиная с 1930 г., когда появилась его великолепная книга о Нартовских сказаниях [2], и до последних дней. Вспоминая о встречах со своим не менее знаменитым соотечественником лин-

¹ Славянская мифология и эпос не попали в орбиту научного интереса Дюмезиля, если не считать ранней заметки о Сухмантии Одыхмантычеве. Но думается, что он и здесь нашел бы благодарный материал в подтверждение трифункциональности. Так, триада «старших» богатырей — Святогор, Вольга, Микула — без малейшей натяжки укладывается в концепцию трех функций: Святогор олицетворяет первую, религиозную, Вольга — вторую, военную, а Микула Селянинович — третью, земледельческую.

гвистом Эмилем Бенвенистом, он, между прочим, говорит: «Мы были единодушны, признавая важность для индоевропейской науки народа осетин, последних потомков скифов» [3, с. 24]. Начало его интереса к осетинам восходит к 1926 г., когда в *Ecole des Langues Orientales* он смотрел выставку книг и журналов на языках советских республик. «Я папал, — пишет он, — на несколько страниц осетинских сказаний в русском переводе. Я провел часть моего отпуска за чтением этих текстов, восхищенный их содержанием. Осетинский вошел в мою индоевропейские занятия. Чтение статьи Туганова „Кто такие Нарты?“ убедило меня, что осетины сохранили в своих сказаниях память о социальной системе, близкой к древнеиндийской» [3, с. 27].

Трифункциональная теория Дюмезиля нашла широкий резонанс в гуманитарной науке всего мира. Основные его труды были переведены на немецкий, шведский, датский, английский, испанский, итальянский, японский языки. Две его книги стали доступны и русскому читателю [4, 5]. Третья книга находится в печати. Полную квалифицированную библиографию книг и статей Дюмезиля можно найти в посвященном ему сборнике 1981 г. [3, с. 339—349].

Индоевропейский мир в его идеологических манифестациях был предметом многолетнего напряженного исследования ученого. Но этим не ограничивалась его научная активность. Второй его привязанностью на протяжении десятилетий был Кавказ, народы Кавказа, их языки, их мифология и фольклор. Мы говорили выше, что в течение примерно 20 лет Дюмезиль возглавлял в *Collège de France* кафедру индоевропейской цивилизации. Но если бы в *Collège* существовала кафедра кавказской цивилизации, не было бы ученого более достойного возглавить эту кафедру, чем Жорж Дюмезиль.

Его интерес с самого начала привлекали армяне и осетины, два народа, в языке и культуре которых индоевропейский мир скрестился с кавказским. Он изучил армянский и осетинский языки настолько, что мог свободно читать на них любые тексты. Дюмезиль принадлежит несколько статей об армянских говорах, а также ряд армянских этимологий (см., например [6]). Осетинские «Нартские» сказания переводились на многие языки. Но лучшим переводом был и остается французский перевод Дюмезиля [7]. И не только потому, что Дюмезиль был наделен литературным даром, но и потому, что один он переводил текст прямо с осетинского оригинала, а не через русский подстрочник.

Из восточнокавказских языков Дюмезиль занимался специально ингушским

и аварским [8, 9]; из южнокавказских — лазским (чагским) [10, 11].

Но особенно велик — можно сказать неограничен — вклад Дюмезиля в изучение западнокавказской, абхазо-адыгской группы языков. Ему принадлежит первый опыт создания сравнительной грамматики языков этой группы [12].

Один из них, убыхский, Дюмезиль пришлось изучать... в Турции. Дело в том, что после окончания Кавказской войны в 1864 г. убыхы почти полностью переселились в единственную Турцию. Изучать их язык можно было теперь только в Турции, где в нескольких селениях он еще доживал свой век в устах старшего поколения. И вот с 1954 по 1971 г. Дюмезиль регулярно каждый год отправлялся в Турцию для изучения этого языка. Результатом его неутомимого труда явились многочисленные публикации убыхских текстов и лексико-грамматических этюдов в таких изданиях, как «Bibliothèque de l'Institut français de Léningrad», «Travaux et mémoires de l'Institut d'ethnologie de l'Université de Paris», «Journal Asiatique», «Anthropos», «Bedi Kartlısa» и др.

В 1975 г. выходит в свет важная обобщающая работа, посвященная убыхскому глаголу [13].

Ряд публикаций Дюмезиля посвящен другим языкам западнокавказской группы: абхазскому, черкесскому, шапсугскому, бесленеевскому (см. [3, с. 346—347]).

В 50-е годы культурно-лингвистические интересы Дюмезиля перекинулись через океан в Южную Америку. Он опубликовал ряд работ по языку и культуре кечуа, крупнейшего индейского народа Южной Америки, расселенного в Перу, Боливии, Эквадоре, Аргентине и Чили [3, с. 348—349].

Дюмезиль был искусный полемист, острый и темпераментный. Когда его трифункциональная теория религий и мифологии индоевропейских народов стала предметом дискуссии, его оппоненты полагали, что спорить с таким ученым можно, только обладая столь же огромным объемом знаний, а это было нелегко. Один из оппонентов с почтительным изумлением говорил о «*érudition formidable*» Дюмезиля.

Полемические страницы Дюмезиля создали у меня образ сердитого и неприступного олимпийца. Но когда я лично познакомился с ним — это было в 1966 г. в Париже, в *Collège de France*, куда я был приглашен для чтения лекций, — я узнал исключительно скромного, приветливого и доброжелательного человека из тех, которым доставляет радость оказывать услуги другим.

В наших беседах мы касались не толь-

ко специальных научных, но также общечеловеческих тем. Центральной для Дюмезиля была проблема гуманизма. Исгорию человечества, как и историю отдельных народов, Дюмезиль представлял себе как волнистую линию, где периоды торжества гуманизма сменяются периодами его трагического опустошения. Двадцатый век, по мнению Дюмезиля, один из самых антигуманистических и жестоких за всю историю человечества. В беседе с Жаком Бонна и Дидье Пралоном он, между прочим, сказал: «Наблюдение того, что происходило в мире в первые три четверти нашего столетия, не дает оснований для оптимизма, ни на краткий, ни на средний срок, идет ли речь о свободе, или о гуманизме, или об ореоле Франции. Но зачем впадать в отчаяние? Рано или поздно, не знаю где, наступит „Ренессанс“, как после каждого „средневековья“. В сущности для этого Ренессанса мы и работаем» [3, с. 41].

Абаев В. Н.

ЛИТЕРАТУРА

1. Dumézil G. Mythe et épopée. L'idéologie des trois fonctions dans les épopées des peuples indo-européens. P., 1968. P. 10.
2. Dumézil G. Légendes sur les Nartes. P., 1930.
3. Dumézil G. Cahiers pour un temps. P., 1981.
4. Дюмезиль Ж. Верховные боги индоевропейцев. М., 1986.
5. Дюмезиль Ж. Осетинский эпос и мифология. М., 1976.
6. Dumézil G. Le parler arménien de Vakith // Revue des études arméniennes. 1968. N 5. 1970. N 7.
7. Le Livre des Héros. Légendes sur les Nartes. Traduit de l'ossete par Dumézil G. // Collection UNESCO d'œuvres représentatives. P., 1965.
8. Dumézil G. Textes populaires ingouches, recueillis, commentés et précédés d'une introduction grammaticale, en collaboration avec M. Djabogui. P., 1935.
9. Dumézil G. Textes avars // JA. 1933. 216.
10. Dumézil G. Contes Lazes // Travaux et mémoires de l'Institut d'ethnologie. XXVII. P., 1937.
11. Dumézil G. Recits Lazes. Documents Anatoliens sur les langues et les traditions du Caucase. IV. P., 1967.
12. Dumézil G. Études comparatives sur les langues caucasiennes du Nord-Ouest. Morphologie. P., 1932.
13. Dumézil G. Le verbe oubykh, études descriptives et comparatives, en collaboration avec Tefik Eseng // Mémoires de l'Académie des Inscriptions et Belles-lettres. NS. T. I. P., 1975.

ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ

В редакцию журнала поступили несколько откликов на опубликованную в № 6 за 1986 г. дискуссионную статью А. Т. Кривоносова «Лингвистика текста и исследование взаимоотношения языка и мышления». Среди них — письма, подписанные чл.-корр. АН СССР В. Н. Ярцевой, коллективом ученых из МГПИИЯ им. М. Тореца (профессорами И. И. Чернышевой, М. Д. Степановой, Е. И. Шевдельс, Г. В. Черновыми, А. В. Куниным, В. Н. Комиссаровым), зав. кафедрой Калининского гос. университета проф. Е. В. Розен, зав. кафедрой Ивановского гос. пед. института проф. Н. А. Тороповой, протокол заседания кафедры иностранных языков Одесского политехнического института, подписанный проф. С. Д. Бересневым, а также письмо зав. кафедрой философии Киевского пед. института иностранных языков проф. Б. П. Шубняка.

Авторы трех первых писем решительно не согласны с содержащейся в статье оценкой лингвистики текста как несостоявшейся лингвистической дисциплины (указывая, в частности, на достойное место, отведенное ей в повестке для XIV Международного конгресса лингвистов в Берлине), отмечают необъективность статьи и подчеркивают, что труды критикуемых А. Т. Кривоносовым недавно скончавшихся советских ученых (Г. В. Колшанского, О. И. Москальской, И. Р. Гальперина) получили не только общесоюзное, но и международное признание. В этих откликах особо отмечается этическая некорректность статьи; полемика ее автора направлена против работ ученых, которые уже не могут ему ответить (в то же время работы ныне здравствующих ученых в ней не затрагиваются). В письме Н. А. Тороповой, напротив, отмечается правильная оценка в статье состояния «лингвистики текста» и указывается, что лишь массовая обработка языкового материала, с учетом структурно-семантических характеристик языковых единиц, может послужить основой для дальнейшего развития теории текста. В примыкающем к нему в оценке статьи протоколе, подписанном С. Д. Бересневым, говорится, что она может послужить импульсом для дальнейшего исследования текста как лингвистического феномена. Наконец, Б. П. Шубняков, воздерживающийся от обсуждения лингвистических тонкостей проблематики, высказывает поддержку автору статьи по ряду вопросов, в трактовке которых последний умело опирается, по его мнению, на марксистско-ленинскую методологию.

Редколлегия журнала довела до сведения А. Т. Кривоносова поступившие на его статью отклики и приглашает их авторов, а также других языковедов принять участие в обсуждении затронутой в статье проблематики.

УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В ЖУРНАЛЕ
«ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ» в 1987 Г.

К семидесятилетию советского языкознания 5

СТАТЬИ

Арутюнова Н. Д. Аномалии в языке (К проблеме языковой «картины мира»)	3
Бондарко А. В. К системным основаниям концепции «Русской грамматики»	4
Гак В. Г. Лингвистические словари в экстралингвистическая информация (в связи с выходом в свет второго издания словаря «Большой Робер»)	2
Данелия К. Д., Сарджвеладзе З. А. О лингвистической концепции А. Г. Шавидзе	1
Десницкая А. В. К истокам сравнительного изучения Балканских языков	1
Домашнев А. И. Проблемы социальной диалектологии в трудах В. М. Жирмунского	6
Зарифьян И. А., Рождественский Ю. В., Щербакова О. М. Вопросы общей и прикладной филологии в свете реформы школы	4
Леман В. Ф. Индоевропейстика сегодня	2
Швейцер А. Д. Советская теория перевода за 70 лет	5

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

Алексеев А. А. Пути стабилизации языковой нормы в России XI—XVI вв.	2
Асиновский А. С., Володин А. П., Головкин Е. В. О соотношении экспонента морфемы и ее позиции в словоформе (К постановке вопроса)	5
Вейхман Г. А. Дериваты вопросно-ответных единств	3
Гамкрелидзе Т. В. Глотальная теория: новая парадигма в индоевропейском сравнительном языкознании	4
Голованевский А. Л. Социальная и идеологическая дифференциация и оценочность общественно-политической лексики русского языка	4
Гусейнов Р. И. О взаимодействии ономастологии и грамматики	6
Дегтярев В. И. Плюрализация имен собирательных в истории славянских языков	5
Дешерев Т. И. О соотношении модальности и предикативности	1
Евдошенко А. П. О типологической основе русской грамматики для нерусских	2
Елисеева А. Г., Селиверстова О. Н. Семантическая структура местоименного значения	1
Живов В. М. Проблемы формирования русской редакции церковнославянского языка на начальном этапе (По поводу книги И. Тота «Русская редакция древнеболгарского языка в конце XI — начале XII вв.»)	1
Жукова Т. В. К вопросу об определении в парадигматическом аспекте слов с наиболее общими лексическими значениями	2
Журавлев А. П. Содержательность синтаксической формы	3
Кацнельсон С. Д. К понятию типов валентности	3
Кияк Т. Р. О «внутренней форме» лексических единиц	3
Кобрин Р. Ю. Языковые отношения и базовые единицы языка	5
Красухин К. Г. К вопросу о соотношении индоевропейского активного и среднего залогов	6
Лукин М. Ф. К вопросу о лексико-грамматическом статусе числительных в современном русском языке	6
Матвеев А. К. Архангелская русская топонимия на северо-востоке европейской части СССР	2
Миллер Е. Н. К определению языка	3
Морковкин В. В. Об объеме и содержании понятия «теоретическая лексикография»	6

Мурысов Р. З. Грамматика производного слова	5
Мухин А. М. Валентность и сочетаемость глаголов	6
Перельмутер И. А. Семантическое определение залога	6
Пиотровский Р. Г. Лингвистические автоматы и Машинный фонд русского языка	4
Поленова Г. Т. Вопросы генезиса некоторых формантов кетского глагола	4
Скляревская Г. Н. Языковая метафора в словаре. Опыт системного описания	2
Спивак Д. Л. Лингвистика измененных состояний сознания: проблема теста	2
Топурия Г. В. Вопросы морфологии склонения в дагестанских языках	1
Хабургаев Г. А. К вопросу о терминологическом обозначении объекта палеославистики	4
Цейтлин Р. М. О содержании термина «старославянский язык»	4
Шаховский В. И. Соотносится ли эмотивное значение слова с понятием?	5

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

Алвре П. Ю. О синтаксическом эквивале	4
Загиров В. М. О задачах и методах исторической лексикологии языков лезгинской группы	2
Исасев М. И. Международный вспомогательный язык эсперанто: вопросы теории и практики (К столетию создания и развития)	4
Исаченко-Исцова Т. А. Номоканон с толкованиями Вальсамона в переводе Евфимия Чудовского (конец XVII в.). Особенности языка и стиля	3
Калиущенко В. Д. Типология локативных, посессивных и атрибутивных отглагольных глаголов	1
Каидеки Т. Л. Основные группировки терминологических единиц упорядоченных терминологий	6
Кибрик А. А. Фокусирование внимания и местоименно-анафорическая номинация	3
Коваль А. И. О субстантивизации и прономиниализации в свете данных языка с многоклассной системой	2
Кормановская Т. И. О коммуникативной организации сложноподчиненного предложения (На материале английского языка)	3
Котов А. М. Стилистический статус эвфемизмов в современном китайском литературном языке	5
Крейдлин Г. Е., Поливанова А. К. О лексикографическом описании служебных слов русского языка	1
Кумахов М. А. К проблеме ономастической лексики нартского эпоса	4
Молчанова Е. К. Анафора и притяжательность (На материале таджикской разговорной речи)	1
Мусаев М.-С. М. К истории грамматических падежей даргинского языка	5
Нитив Д. П. Местоимения в системе частей речи латышского языка	6
Озерова Н. Г. Многозначность существительного и его грамматическая характеристика	5
Пюрбеев Г. Ц. Синтаксические явления в памятниках монгольского феодального права XVII—XVIII вв.	4
Силин В. Л. К проблеме синонимии	4
Соколова Г. Г. К проблеме фразообразования во французском языке	3
Солищев А. В. Виды номинативных единиц	2
Сущинский И. И. Коммуникативно-прагматическая категория акцентирования и ее роль в вербальной коммуникации (На материале немецкого языка)	6
Тестелец Я. Г. Эргативообразные построения в нахско-дагестанских языках	2
Циткина Ф. А. Сопоставительное терминоведение: теоретические вопросы и приложения	4
Цкитшвили Т. К. Об историческом словаре грузинского языка	1
Чактуришвили Д. С. Об одном типе обучающего парадигматического словаря русского языка для нерусских	5
Чеснокова Л. Д. Процесс счета и способы его выражения в современном русском языке	6
Шульга М. В. К истории восточнославянского генитива	6
Юдакин А. П. Цикличность языковых процессов: роль генитива и наречия в становлении имени прилагательного	3

О б з о р ы

Дэже Л. Универсальная грамматика и школа А. А. Холодовича	5
Николаева М. А. О логико-семантических работах современных французских лингвистов	6
Слюсарева Н. А. Об английском функционализме М. А. К. Халлидея	5
Скребнев Ю. М. Исследование русской разговорной речи	1

Р е ц е н з и я

Алпатов В. М. Гондза хэн. А. И. Богуда: нофу сидо: Син-сурав. нихонго-дзитэн (Новый лексикон славено-японский)	1
Биренбаум Я. Г., Рассадин В. И., Шагдаров Л. Д. Предикативное склонение причастий в алтайских языках	4
Бромлей С. В. Атлас украинской мови. Т. 1.	4
Будаев Ц. В., Лейчик В. М., Нурбеев Г. Ц. Современная монгольская терминология	5
Буланин Л. Л., Дмитриенко С. И. Фонемы русского языка. Их сочетаемость и функциональная нагрузка	4
Гейгер Р. М., Улукханов И. С. Памятники деловой письменности XVII века. Владимирский край	3
Голованевский А. Л. Соотношение интернационального и национального в общественно-политической терминологии восточнославянских языков	1
Головин В. А., Жлуктенко Ю. А., Держилов А. В. Фризский язык	2
Дзендзелевский И. А., Сухачев Н. Л. Лингвистические атласы. Аннотированный библиографический указатель	5
Добродомов И. Г., Гарипов Г. М., Татаринцев Б. И. Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. Фонетика	2
Журавлев В. К. <i>Viel M. La notion de «marque» chez Troubetzkoy et Jakobson. Un epusode de l'histoire de la pensée structurale</i>	5
Заботкина В. И., Александрова О. В. Проблемы экспрессивного синтаксиса Золотова Г. А. <i>Guiraud-Weber M. Les propositions sans nominatif en russe modern</i>	2
Кайдаров А. Т., Копыленко М. М., Мусаев Р. М. Лексикология тюркских языков	1
Карпенко Ю. А., Калакуцкая Л. П. Склонение фамилий и личных имен в русском литературном языке	1
Касевич В. Б., Антипова А. М. Ритмическая система английской речи	6
Кокорев Д. Н., Чкадуа Л. Н., Куматов М. А. Очерки общего и кавказского языкознания	1
Копыленко М. М., Саина С. Т., Михальченко В. Ю. Проблемы функционирования и взаимодействия литовского и русского языков	3
Крысин Л. П. Функциональная стратификация языка	3
Губрякова Е. С., Бондарко А. В. Функциональная грамматика	2
Кунина А. В., Маковский М. М. Английская этимология	5
Максимов В. И., Кузнецова О. Д. Актуальные процессы в говорах русского языка (Лексикализация фонетических явлений)	6
Ониани А. Л., Климов Г. А., Сарджеладзе З. А. Введение в историю грузинского литературного языка	5
Пнотровский Р. Г., Будагов Р. А. Сходства и несходства между родственными языками. Романский лингвистический материал	3
Сафаев А. С. Русско-узбекский словарь	2
Стулова Н. Г. <i>Studia Russica. VI</i>	1
Хузангай А. П., Корнилов Г. Е. Имитативы в чувашском языке	6
Чариков С. Л. Монгольский лингвистический сборник	4
Чокаев К. З., Сукунов Х. Х. Структурно-типологический анализ развития национально-русского двуязычия	6
Шавхелишвили Б. А. Цова-тушинско-грузинско-русский словарь	6
Шелихова Н. Т., Азарх Ю. С. Словообразование и формобразование существительных в русском языке	6
Шмальштинг У. Р., Топоров В. Н. Прусский язык	3

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Хроникальные заметки	1-8
Георгий Владимирович Степанов	1
Академик А. Н. Коновов	2
Абаев В. И., Жорж Дюмезиль	6

CONTENTS

Articles Domashev A I (Leningrad) Problems of social dialectology in the works of V M Zirmunskij, Discussions Perel'muter I A (Leningrad) Semantic definition of the voice category, Krasuxin K G (Moscow) On the correlation of Indo-European active and medium voice, Morkovkin V V (Moscow) On the limits and content of the notion (theoretical lexicography), Lukin M F (Donetsk) On the lexico-grammatical status of numerals in modern Russian, Muxin A M (Leningrad) Valency and combinability of verbs, Guseinov R I (Makhatchkala) Interaction of onomasiology and grammar, Materials and notes Sul'ga M V (Moscow) The history of the East-Slavonic genitive, Kandelaki T L The main groupings of terminological units in ordered terminologies, Nitin D P (Liepaja) Pronouns and their role in the system of parts of speech of the Lettish language, Cesnokova L D (Taganrog) Process of counting and means of its expression in modern Russian, Suschinskij I I (Moscow) Stressing as a communicative-pragmatic category and its role in verbal communication (based on the materials of the German language), Surveys Nikolaeva M A (Moscow) Concerning logico-semantic works of modern French linguists, Reviews, Scientific life

SOMMAIRE

Articles Domashev A I Problemes de dialectologie sociale dans l'oeuvre de V M Zirmunskij, Discussions Perel'muter I A (Leningrad) Definition semantique de la categorie de la voix, Krasuxin K G (Moscow) Correlation de la voix active et du medium en indo-europeen, Morkovkin V V (Moscow) Limites et contenu de la notion «lexicographie theorique», Lukin M F (Donetsk) Statut lexico-grammatical des noms de nombre en russe contemporain, Muxin A M (Leningrad) Valence et capacites combinatoires des verbes Guseinov R I (Makhatchkala) Interaction de l'onomasiologie et de la grammaire, Materials et notes: Sul'ga M V (Moscow) L'histoire du genitif dans les langues slaves orientales Kandelaki T L Groupements principaux des unites terminologiques dans les terminologies ordonnees, Nitin D F (Liepaja) Pronoms et leur role dans le systeme des parties de discours de la langue lettonne, Cesnokova L D (Taganrog) Action de compter et moyens de son expression en russe contemporain, Suschinskij I I (Moscow) Mise en relief en tant que categorie communicative et pragmatique et son role dans la communication verbale (etudiee en allemand contemporain), Revues Nikolaeva M A (Moscow) Travaux logico-semanticques des linguistes francais contemporains Comptes rendus, Vie scientifique.

Технический редактор Т. И. Радина

Сдано в набор 8 08 57	Подписано к печати 28 10 57	А 11610	Формат бумаги 70 100
Высокая печать	Уст. печ. л. 13 0	Усл. кр.-отг. 78 2 тыс	Уч.-изд. т. 15 0
		Тираж 3045 экз.	Зал. 794

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Наука»,
103717 ГСП Москва, К 62, Подсосенский пер., 21

2-я типография издательства «Наука» 121099 Москва Г 99, Шубинский пер. 6